

Хана Косман



Царица иудейская

Нина Косман

Царица иудейская
Роман

перевел с английского А. Милитарев



РИПОД
КЛАССИК

Москва

2019

Пролог

Александр

Теперь, когда все в прошлом — не только сама драка, но и все остальное, — я думаю, что было бы, если бы я в тот вечер просто повернулся и ушел, предоставив ее самой себе? Что бы ни случилось с ней в тот вечер, это было бы ее дело, не мое. Но я сам сделал это своим делом, и вот я здесь. Стоило оно того? Ответ всегда один и тот же — нет. Моего времени оно не стоило. Я имею в виду не какой-то краткий и незначительный промежуток времени. Я имею в виду содержание под стражей, без солнечного света, без свободы идти куда хочешь, в любое время суток.

Свобода. Это не просто слово. «Содержание под стражей» — это стены, охрана, это когда тебе указывают, когда надо сесть, встать, ходить. Единственная разница между стенами и палачом в том, что стены имеют глаза и уши, а палачи нет. В палачах нет ничего человеческого, в стенах есть. В худшем смысле этого понятия. Тем не менее я учусь любить стены моей камеры. Кроме стен, в ней еще есть стол, стул и кровать. Я сижу на стуле. Я гляжу на стены. Я стал настоящим мастером дзена: могу глядеть на стены весь день. Когда охранник выкрикивает «обед!» и отпирает мою камеру и я вижу целую шеренгу бодолаг, марширующих в место кормежки, я не двигаюсь с места. Я могу обойтись без обеда. Мне достаточно есть раз в день. Мне достаточно спать три часа в сутки. Я хочу понять, почему я здесь. Мне кажется, что у моей стены есть ответы на все вопросы. Чем дольше я на нее смотрю, тем лучше понимаю то, что мне не да-

но было понять прежде, когда я слушался Профессора и жил ради мести. Теперь у меня остался только один друг, который мне больше чем друг, и, когда меня депортируют, я этого больше-чем-друга потеряю. Я знаю это, и тем не менее мечтаю о депортации, потому что небо лучше, чем стена. Я смотрю на свою стену целый день и говорю себе, что мне больше ничего не надо, потому что здесь не на что больше смотреть, кроме этой стены. Меня пока не известили о дате депортации, но мой адвокат говорит, что ждать осталось недолго. Я говорю ему, что мне все равно, в какую страну меня вышлют, главное, чтобы там было небо. У меня одна цель в жизни, одна миссия, одна задача: увидеть небо. Мой адвокат кивает, смеется, недоверчиво качает головой. «Вы мне только дату назовите, — спокойно говорю я. — Больше мне ничего не надо». На это он снова улыбается. Он всего-навсего адвокат. Я не настолько глуп, чтобы ожидать от него понимания.

Двумя годами ранее

Галя

Дом, в котором я еще недавно жила, лежал в руинах. Я, конечно, понимала, что созиданию должно предшествовать некоторое разрушение, как выразился этот тип, архитектор, дабы я знала, что меня ожидает. Я и была готова к *некоторому* разрушению, но мне в голову не приходило, что оно будет тотальным. Мне было заявлено, что, если это вызывает у меня такие отрицательные эмоции, может быть, мне лучше сократить свои визиты на стройку? А как я могла их сократить, даже если бы у меня не было сил на все это смотреть, когда на время строительства я перебралась в квартиру через два дома от моего, которую я сняла у дамы, умотавшей в Филадельфию со своими двумя отпрысками, как будто подгадав, что мне нужно будет именно сейчас снять ее жилье? Правда, сначала я даже собиралась пересидеть эти полгода в своем цокольном этаже — выживу как-нибудь без горячей воды и электричества, уговаривала я себя, уж слишком мы избалованы современной цивилизацией, — но я и представить не могла, что так называемые внутренние стены, то бишь перегородки, когда их снесут, будут выглядеть как развалины Помпеи, а путь к ванной, из которой эти герои стройки вынесли унитаз, оставив зияющую дыру в полу, придется преодолевать, карабкаясь по горам строительного мусора.

Итак, каждый день мне приходилось проходить мимо этого кошмарного места — утром по дороге на работу и вечером по дороге с работы, а уж по выходным я там болталась с утра до вечера по

собственной воле. А если бы я туда и близко не подходила, я все равно была бы в курсе дела, ибо обитатели соседних домов не упускали возможности сообщить мне, что я не только разрушаю свой дом, до чего им, собственно, нет никакого дела, но заодно разрушаю и их, обитателей, жизнь, до чего им очень даже есть дело, и именно потому, что им есть до этого дело, было бы интересно узнать, сколько я плачу подрядчику и не забыла ли я включить в договор подряда пункт о том, что строительство не должно нарушать мир и покой, которыми они, обитатели соседних домов, наслаждались, пока не началось это безобразное строительство, а ежели таковая статья договором не предусмотрена, то мне следует иметь в виду, что им ничего не остается, как подать иск в соответствующую инстанцию, и в случае его удовлетворения теперь уже мне ничего не останется, кроме вечной горы строительного мусора на месте дома и съемной квартиры и оплачивать по гроб жизни и аренду, и развалины бывшего дома. Бедная девочка, качали они головами, что с ней станет, если мы выиграем иск? Так они говорили, соболезнуя мне, но подать иск в суд так и не собрались. Сами разговоры об этом иске уже приносили им столько удовольствия, что переводить дело в реальную плоскость было недосуг.

Я уехала на две недели подзарядить свой писательский аккумулятор. Вернувшись, сразу пошла на то место, что было когда-то моим домом, и была приятно удивлена, увидев выросшие за это время перегородки и даже новую ванную. Оказалось, что эту новую ванную надо еще облицовывать плиткой, и Том, мой подрядчик, сказал, что выбрать плитку должна я, чтобы потом не портить ему кровь нытьем про переделку. Он повез меня в плиточный магазин, и там я ткнула пальцем в темно-синюю плитку — точно такую, что украшала стены ванной комнаты моего гостиничного номера в Мехикосити. Он говорит:

— На ценник-то могли б посмотреть. В договоре есть стоимость плитки, а эта дороже на порядок. Так что уж выберите, что попроще.

Видов этой плитки было не счесть, раньше мне ничем таким заниматься не приходилось, Том торопился и дергался, поэтому

я махнула рукой на это дело, и он подвел меня к уныло бежевой плитке, как бы специально неряшливо покрашенной.

— Вот эту все расхватывают, — сообщил он.

— Я не все, — проворчала я.

Но сделать выбор так и не смогла, а он его уже сделал, поэтому я решила больше ему кровь не портить. На следующее утро, когда я заглянула на стройку, штабеля плитки уже громоздились на полу ванной комнаты. Тут из угла возник всклокоченный мужик со шпателем в одной руке и кистью в другой и спросил презрительно:

— Вы, что ль, эту плитку выбрали?

— Нет, — сказала я. — Это Том выбрал. Мне она совершенно ни к чему.

— Так какого черта вы согласились? Чей дом, ваш или Тома?

Вопрос прозвучал так свирепо, что меня это даже тронуло. В таком тоне общаются русские, когда выпьют, но даже они стараются от него избавиться, когда вступают на путь превращения в американцев. А услышать такое от мексиканца... Или от того, кого я приняла за мексиканца, зная, что Томова команда вся состояла из мексиканцев и поляков, а этот парень явно на поляка похож не был. И дело не в том, что я считаю, что все поляки должны быть голубоглазыми блондинами — любой отдельно взятый поляк может по случаю оказаться брюнетом, — а в том, что восточного европейца я чую за километр (ну, в Америке правильно — за милю), а этот не только был чернявым, но явно не выглядел как выходец из Европы, даже Восточной. Но что-то в нем было... я это сразу почувствовала.

Может быть, именно на эту резкость, всплеск эмоций, неожиданный для здорового мужика с детскими чертами лица — не мексиканскими и не польскими, а какими-то своими, — я и попалась как муха на мед. Я не знала, что попалась, до тех пор пока через несколько недель, когда мы оба стояли перед некрашеной стеной с малярными валиками и кистями в руках, я не почувствовала, что изо всех сил стараюсь не обращать внимание на какое-то как бы слабое мерцание, от него исходившее. Я сказала, что не хочу красить стену в один цвет, а хочу, чтобы она была разноцветной, как картина. Он сказал, что готов попробовать накладывать разные

краски, смешивать их, используя необычную технику чистовой обработки — комбинируя побелку, нанесение краски тряпкой, торцевание, зернение и штрихование. Голый пол вокруг нас был уставлен банками с краской от Бенджамина Мура. Алехандро, так его звали, смял полиэтиленовый пакет, окунул его в краску под названием «тигриный рассвет» и приложил к стене. Подержал полминуты и пакет со стены убрал.

— Красота, — сказала я.

Он смял другой пакет, повторив манипуляцию с краской другого желтоватого оттенка.

А мне так хорошо было от того, что он согласился остаться после работы и показывать мне, что можно сделать с простой малярной краской. Я спросила:

— Вы в Мексике художником работали?

— Что? — удивился он.

— Ну, в Мексике вы чем занимались? Картины рисовали? Вы художник?

Я хотела ему комплимент сделать. Но он отреагировал так, как будто я задела его самолюбие. Он прямо задохнулся, пытаясь сформулировать ответ, но его английского хватило только на яростное «нет!».

— Почему?! — взревел он. — Мисс! В Мексике! Я — доктор!

— Вы работали врачом? Какого профиля?

— Доктор... рыбы! — воскликнул он с такой же яростью.

Ага, он был ветеринарным врачом, решила я, специализирующимся по рыбам. Который лечит не собак и кошек, не коров и козлов, а рыб! Я понятия не имела, что такое бывает. Ну да ладно, мне нравится все, о чем я не имею понятия. Я спросила:

— Так вы ветеринаром работали?

— Нет! — закричал он в отчаянии, что не в состоянии объяснить, и стал махать руками, пытаясь изобразить морские волны. — Нет, мисс! Не ветеринар! Доктор! Маге!¹ Вода! Море! Доктор... рыбы!

— А, у вас докторская степень по морской океанологии?

¹ Маге — итал. «море». — Прим. переводчика.

— Да!

— То есть по ихтиологии?

— Да!

Мне хотелось спросить: «Так вы занимались в Мексике ихтиологией, а потом приехали в Америку стены красить?»

Но не спросила. Сознание того, что этот дикого вида, плохо одетый мужчина, которого наняли красить стены, занимался в Мексике наукой — да не какой-нибудь, а ихтиологией! — постепенно проникло в меня настолько, что через несколько недель, когда я уже была по уши влюблена и узнала про него правду, мне уже было в сущности все равно.

Увидев Тома в следующий раз, я спросила:

— А вы в курсе, что у одного из ваших ребят пи-эйч-ди¹ по ихтиологии?

Том спросил:

— Че?

— Ну, пи-эйч-ди... докторская степень... это, знаете, такая научная степень...

Том спросил:

— Кто?

— Маляр ваш, Алехандро.

Да, Том вспомнил, что Алехандро ему говорил, что раньше работал на судне, которое было как огромная фабрика.

— А что за фабрика? — поинтересовалась я.

Том ответил, что тоже спрашивал у Алехандро, что за фабрика, и тот сказал, что они «ловили рыбу, резали рыбу», но я больше не колебалась между доверием и недоверием. Я окончательно выбрала доверие и сказала:

— Естественно, он на судне работал. Где, по вашему мнению, ихтиолог может проводить свои исследования?

Мне и в голову не приходило, что, известив Тома о славном прошлом Алехандро, я его только подвела. Томовым «ребятам» не по-

¹ Пи-эйч-ди (Philosophiæ Doctor, Ph.D., PhD) — докторская степень, присуждаемая во многих странах Запада за особые заслуги. — *Прим. ред.*

лагалось чесать языком с клиентами. Раз я что-то знала про прошлое Алехандро, значило, что одно из его железных правил было нарушено. Том платил деньги своим рабочим за работу, а не за треп с клиентами, и каждую минуту этого трепа он оплачивал из своего кармана.

— Еще раз услышу про его научные подвиги, уволю его к... этакой матери. Чтoб он больше не вздумал рта раскрывать на работе!

Как-то раз, когда мой роман про жизнь во втором веке до н. э. зашел в тупик, я болталась на стройке, изобретая предлоги, которые бы позволили мне побыть пару минут с Алехандро, красящим стены на втором этаже. Каждые полчаса я притаскивала ему то кофе, то стаканчик грейпфрутового сока, то сэндвич с салатом из русского магазина. Мои приношения он принимал с таким видом, как будто делал мне одолжение, но, правда, и не отказывался. Я ставила их на недоделанный пол и стояла рядом, без умолку болтая о моем уникальном методе заварки кофе или о пользе для здоровья грейпфрутового сока. Я перечисляла все виды салата, которые есть в русском магазине, — оливье, грибной, свекольный, из баклажанов — и объясняла про то, что салат с французским названием, который все считают собственно *русским* салатом, мало чем отличается от американского картофельного салата.

— Алехандро, вам нравится картофельный салат?

— Да, Галия, мне нравится картофельный салат.

После чего он продолжал молча красить стену.

— Ваш кофе остывает. Пейте.

— А, да, — ответил он небрежно, словно думая о чем-то другом.

Но все-таки оторвался от работы на мгновение, поднял чашку с пола и опустошил ее одним глотком.

— Вкусно? — спросила я с надеждой.

В ответ он что-то неразборчиво пробормотал, как будто опасаясь, что, если он похвалит мой кофе, я подумаю, что он подает мне какой-то знак, надежду.

Где-то зазвонил телефон, и он попросил принести его, жестом указав мне на свои руки в рукавицах, заляпанных краской. Я бросилась в направлении звонка, нашла раскладной мобильный телефон

на непокрашенном пока подоконнике, и, когда я открыла крышку, в глаза мне бросилось имя владельца — Аммар Агбарья. В голове мелькнула мысль, что это не его телефон. Я быстро захлопнула крышку и протянула аппарат Алехандро. Он снял одну рукавицу, и, когда протянул голую левую руку за телефоном, она нечаянно коснулась моей, и я помчалась вниз по лестнице вприпрыжку, как дитя. Моя рука горела.

Алехандро

Она все ходит сюда, и мелет языком, и демонстрирует мне покрашенную ею дверь в ванную, и хочет знать мое мнение о ее работе. Это так называемая венецианская штукатурка, и Том ее нахваливает. Я слышу, как он вскрикивает «отлично!», «великолепно!» и «как это вы так сумели?». Это всего-навсего его пиаровский приемчик, который дерьма не стоит. Такой у него метод общения с клиентами — нахваливать их, льстить им, надеясь, что они всему свету разболтают, что он самый лучший подрядчик и — ах! — очаровательный мужик, после чего его завалят заказами. О чем, собственно, мы все должны мечтать. Мы и мечтаем, потому как мы его команда и без заказов фиг заработаем. Я себе работаю, все слыша и помалкивая, так как это именно то, что Тому от меня надо — работать и помалкивать.

Но на этот раз он переигрывает со своим пиаром, и я уже слышу, как он ей говорит: я вас возьму на работу стены красить вместо Алехандро! Тут мне кровь ударяет в голову, и я уже не могу сдерживаться, сбегаю вниз и вижу, как Том изображает восторг: елозит руками по этой чертовой двери, как по вожделенному женскому телу. Я кладу обе руки на края двери, где штукатурка положена неровно, и говорю: «Дерьмо, а не работа». Том бросает на меня злобный взгляд: я ему испортил дело, вся его деятельность по обольщению заказчицы пошла насмарку, и все из-за меня, тупого мазилы, который не умеет держать свой длинный язык за зубами; ну, погоди, останемся одни, я тебе покажу, кто тут босс! Но дама стоит себе, и улыбается во весь рот, и рада пуще прежнего, как будто мое определе-

ние ее работы как дерьма — большой комплимент. Том больше на меня злобно не смотрит: его клиентка довольна, поэтому годится все, что бы я ни сказал про ее никудышнюю работу. Он спускается в подвальный этаж проверить, как там народ работает, а мы остаемся на месте. Она улыбается дурацкой улыбкой и спрашивает меня, почему я считаю ее работу дерьмовой, и что надо сделать, чтобы ее исправить.

Я говорю «края» и дотрагиваюсь до краев двери, чтобы ей стало ясно, где надо подправить штукатурку.

— Вы хотите сказать, что края немножко неровные? — спрашивает она.

Она обещает поработать над краями. Я вижу, как она старается мне угодить, дать мне почувствовать, что я — мастер кисти, а она — мой подмастерье, который всему у меня учится, спрашивает совета. Она оказывает мне слишком много знаков внимания. Для меня это не свой дом, как для нее, а всего лишь рабочее место. Мои напарники начинают все это замечать. Они подкалывают меня в обеденный перерыв и намекают, что им интересно, когда же я воспользуюсь вниманием, которое она изливает на меня, как из душа. Прямо они так не высказываются, но эти намеки мне ясны.

На следующий день она просит меня взглянуть на дверь. Я говорю: — Вы что, не видите, что я занят? Я на работе.

Она говорит «о'кей», уходит и возвращается в мой обеденный перерыв, как обычно, с чашкой кофе для меня и просит опять сходить с ней поглядеть на эту чертову дверь. Мне хочется сказать, что это мой обеденный перерыв, я в своем праве отдохнуть вместо того, чтобы смотреть на твою дверь. Но что-то меня останавливает. Все-таки она дама, да еще и заказчица, недаром Том твердит нам все время, что наше дело — чтобы клиент был доволен.

Она спрашивает:

— А сейчас как?

Я оглядываю дверь и так, и эдак. Пробегаю по поверхности пальцами, словно на ощупь оценю работу лучше, чем глазами, как будто я великий спец по венецианской штукатурке. Хотя, конечно, спец по сравнению с ней.

— Сейчас получше, — выдавливаю я из себя наконец. — Но вот тут... все-таки, вот, гляньте.

Я показываю на пару пятен в верхней части двери.

Она кивает. Она старается показать, что согласна с моими замечаниями. Учится реагировать, как наши женщины: всегда соглашайся с мужчиной.

И тут она начинает вести себя так, как ведут себя только женщины Запада: демонстрировать свою слабость, чтобы привлечь мужчину.

— Ой, мне высоко, — говорит она. — Мне туда не дотянуться. Я ведь небольшого роста.

Что мне на это ответить? Я стараюсь вести себя вежливо, готов помочь, но это уж слишком. Она хочет делать мужскую работу, но не может, потому что она не мужчина. Она рассчитывает на сочувствие: маленькая женщина, большой мужчина. Большой мужчина должен помогать маленькой женщине. Я мог бы ей объяснить, что наша женщина не сует нос в мужские дела. Стройка — мужское дело. Тут требуется физическая сила и рост. Ты маленькая женщина, так и не лезь делать мужскую работу, делай женскую работу по дому. Но она одна из тех западных женщин, которые считают себя равными мужчинам во всем, даже в строительстве, а я знаю, что должен вести себя корректно, поэтому ничего такого сказать ей не могу. Так что я молчу с минуту, обдумывая ситуацию и сдерживаясь, а потом говорю сухо:

— Встаньте на стул.

Поворачиваюсь и иду к выходу.

Она стоит на стуле, а стул шатается. Он чуть-чуть шатается, но достаточно, чтобы мне было ясно, что он может зашататься еще чуть сильнее. Не то чтобы я об этом что-то такое думал. Я думаю только о том, что вижу: молодая женщина стоит на шатающемся стуле. Женщина, которая ведет себя неосторожно. Женщина, которая не понимает, что любой, кому придет в голову шаткость стула увеличить, может поставить ее в смертельно опасное положение. Я не утверждаю, что могу оказаться тем самым любим или что мне хочется поставить ее в смертельно опасное положение. Но у меня

есть задание, и именно о нем я думаю, когда смотрю на эту женщину, стоящую на шатающемся стуле. Это оно внушает мне осознание того, что шатающийся стул может приблизить выполнение этого задания. Женщина может случайно сама упасть со стула. Это может произойти как несчастный случай, к которому я не имею никакого отношения. Никто не виноват, что женщина падает с шатающегося стула. Не будет никаких свидетелей, кроме самого стула и стен. Стены не умеют разговаривать. Если это произойдет в самом конце моего рабочего дня, я уже буду далеко отсюда, когда ее найдут. Как вы думаете: что может случиться с человеком, которому вздумалось красить дверь венецианской краской, которую вообще красить не надо, особенно, если этот человек — женщина без всякого опыта в таком деле, женщина маленького роста, женщина, которой приходится влезть на стул, чтобы дотянуться до верха двери? Никто не слышал, как я сказал «встаньте на стул», и никто не увидит, как я протяну руки к спинке стула и чуть-чуть его еще расшатаю, чтобы, когда женщина со стула упала, она упала бы как следует. Или как я подойду к лежащей на полу женщине и слегка коснусь кончиками пальцев ее шеи. Ее обнаружат не раньше, чем завтра утром, если только кто-то из соседей не придет жаловаться на шум от стройки или на то, что наши строительные машины заняли все места парковки на улице.

* * *

После работы я иду к своему другу Профессору. Я называю его своим другом, потому что он так сам себя называет. «Я твой друг, — говорит он. — Я друг твоего народа». Действительно, он щедр и готов помочь, что делает его скорее благодетелем, чем другом, потому что, хотя друг тоже может быть щедрым, Профессор щедр в определенном смысле: все, что он обещает для меня сделать, например, обеспечить мне правовую защиту, делается с определенной целью, которая является не моей, а его, Профессора, целью, несмотря на то что он любит представлять эту цель как мою или моего народа в большей степени, чем его собственную. Он говорит, что борется за меня. Он, профессор американского колледжа, специалист по араб-

скому, вместо того чтобы заниматься обычными мелкими проблемами академической жизни, борется за меня, никому не нужного палестинца. Он говорит со мной на моем родном языке, и поэтому мне легко с ним объясняться, так как на арабском я могу выразить любую мысль, не то, что на английском, на котором я говорю, как ребенок. Профессор говорит, что он может иметь все, что пожелает, но его больше заботит право моего народа на украденную у нас землю, чем его собственное tenure, т. е. бессрочная должность в колледже. Как это самоотверженно и чутко с вашей стороны, говорю я, и я вам крайне признателен за все, что вы для меня делаете. Но иногда мне в голову приходят мысли, которыми я с ним не делюсь, потому что знаю, что они совершенно не соответствуют тому, что он ждет от меня, своего ручного террориста, как он меня называет, хотя я таковым не являюсь. Как-то я попросил его не называть меня так, потому что таковым не являюсь, на что он улыбнулся и сказал: «О'кей, тогда я буду тебя называть моим отважным боевиком — тебе это больше по душе? Нет? А как насчет “борца за свободу”»? Тоже нет, хотел я сказать, но я видел, что он так держится за свое представление обо мне как о борце за свободу моего народа — представление, являющееся, скорее, плодом его воображения, чем правдой о моей жизни, что я промолчал и только сделал чуть заметное движение головой, как бы полукивок. Мне не хочется обижать моего друга Профессора даже при том, что, как я уже сказал, «друг» — не вполне правильное слово для обозначения того, кем он для меня является, наверное, «благодетель» подходит больше, да и то вряд ли. На данный момент я бы назвал его так: тот-кто-может-быть-моим-благодетелем-если-я-буду-делать-что-он-скажет.

Когда он рассуждает о документе, который даст мне право на жительство, он говорит, что у него есть свои каналы, чтобы его получить, а я не спрашиваю, что за каналы, так как он произносит это с многозначительным видом, намекая на то, что он важная персона, которая прекрасно знает, что делает, и приставать к нему с расспросами о том, какие это каналы и сколько времени все это займет, совершенно неуместно. Один факт того, что он готов помочь, должен сам по себе внушать уважение и даже восхищение. Я киваю, потому

что грин-карта нужна мне больше всего на свете, больше, чем деньги, больше, чем моя малярная работа, даже больше, чем возможность соскочить с крючка тех парней, которых мы оба знаем, — еще одно благодеяние, о котором я собираюсь его просить. А что касается его «каналов», меня все-таки иногда так и подмывает спросить, почему он их так называет и отчего они так медленно работают. Он советует мне не беспокоиться: я должен полностью положиться на него и на его организацию. Я открываю рот, чтобы спросить, о какой организации идет речь, но он говорит:

— Послушай, мой ручной террорист, — хотя я много раз просил его так меня не называть: — Послушай, — снова говорит он.

Он усаживает меня на кушетку в гостиной, пока сам возится на кухне, наливает воду в чайник, открывает и закрывает шкафчики. Я слышу тихий свист чайника, иду на кухню и смотрю, как мой друг и благодетель наливает кипяток в стакан с листиками мяты на дне.

— Такой чай пьют в Марокко, — сообщает он, протягивая мне стакан чая с мятой.

— О'кей, — говорю я своему благодетелю, который все знает про то, какой чай пьют в Марокко, потому что он свободен в летние каникулы и у него достаточно денег, чтобы тратить их на поездки.

Профессор носит шелковые рубашки и темно-синие штаны, а щеки у него гладкие, как у младенца, и манеры у него обаятельные: смесь восточного гостеприимства, которому он, по его словам, научился у моего народа, и западной деловитости, которая свойственна ему от природы, так как он все же человек западный, профессор американского колледжа и убежденный либерал-радикал, как он себя называет с таким видом, словно раскрывает секрет, про который все знают, но мечтают услышать подтверждение. Я молчу про то, что считаю его так называемый радикализм чистой игрой: единственное, до чего ему на самом деле есть дело, — его пожизненная должность в колледже и все блага, из этого вытекающие. Мне не хочется, чтобы он увидел меня таким, каким я на самом деле являюсь: человеком, для которого получить грин-карту важнее, чем воевать с сионистским колониализмом. Если ему хочется видеть во мне борца за свободу, что-то вроде героя-идеалиста, пусть

себе видит: как-никак, он единственный, кому есть хоть какое-то дело до моих иммигрантских проблем и который может мне помочь через свои так называемые каналы, не говоря уже о том, что он находит для меня работу, вроде этой, в бригаде Тома, маляром в доме Галии. Поскольку он стремится мне помочь, постольку я ему принадлежу.

В компаниях, на всяких тусовках Профессор представляется этаким носителем различных шляп. Если сначала я не понимал, что это за выражение, и действительно ожидал увидеть шляпу на его лысеющей макушке, то теперь я знаю, что оно значит, и вижу, что шляпа, которую он носит сегодня, другая, чем те, что я на нем видел до этого. Сегодня Профессор носит шляпу Тайного Организатора, и хотя сперва я не совсем понимаю, тайным организатором чего он сегодня является, он очень скоро мне сам все разъясняет.

Он, как обычно, начинает с моей грин-карты и со своих каналов, а затем, многозначительно кашлянув, добавляет: «Но все это после того, как будет выполнено задание с Галией».

Я знаю по опыту, что нечего и пытаться сбить его с новой роли, поэтому я ему подыгрываю и киваю головой до тех пор, пока не вижу, что кивания уже мало и пора что-то сказать — ну хоть пустяковый вопрос какой-то задать.

— Почему вы хотите устранить именно ее?

Он с минуту обдумывает мой вопрос и отвечает несколько невпопад, что готов предоставить ей еще два месяца жизни, и вместе с двумя месяцами, которые он уже готов был ей предоставить, это составляет в сумме четыре месяца. Бедная девушка понятия не имеет, что некто, о чьем существовании она понятия не имеет, только что удлинил срок ее жизни с двух месяцев до четырех. Профессор дает мне стакан чая с мятой, и мы сидим в мягких креслах в его просторной гостиной, размешивая листики мяты в стаканах, и чувствуем себя друг с другом весьма комфортно, пока я не говорю, что до сих пор так и не понимаю, какое Галия имеет ко всему этому отношение.

— Тебе поручена высокая миссия, — говорит он торжественно, аккуратно ставя стакан на место. Он подносит рот к самому моему

уху и шепчет, что оставляет объекту моей миссии два месяца жизни — он это называет «жизненный дар» — и добавляет: — Дар этот, конечно, временный, но что есть вся жизнь, как не временный дар?

Он так рад моему согласию выполнить задание, что предлагает мне просить его о чем угодно, и я снова напоминаю ему об обещании использовать его связи в Службе иммиграции и натурализации, чтобы выправить мне грин-карту, и он снова говорит: да, конечно, но только после того, как будет закончена работа с Галей.

Он дает мне понять, что в моем случае делает исключение, потому что все, что мне положено знать, это выполнить задание как следует, а не почему и зачем оно мне дано и чем бедная женщина заслужила уготованную ей судьбу и уж, конечно, не подоплеку этого дела. Если он и вводит меня в курс этой подоплеки, я должен понимать это как некий бонус, добавку к тому, что он поможет мне получить грин-карту через свои каналы, как он называет свои связи в Службе иммиграции и натурализации.

— Да, так на чем я остановился? — спрашивает Профессор. Он продолжает рассуждать о моем народе — «твоем народе», как он выражается, о том, как мы владели этой землей с незапамятных времен до середины XX века, когда евреи у нас ее украли, и добавляет, что нет необходимости рассказывать мне о страданиях моего народа, о его борьбе и целях этой борьбы, так как я это все хорошо знаю, не хуже него.

— Да, — отвечаю я. — Я все это хорошо знаю.

— Ну и как вы добьетесь своей цели, если в наше время есть люди, претендующие на то, что они — потомки Хасмонеев? То есть еврейской царской династии!

Я пока понятия не имею, о чем это он. Он спрашивает меня, помню ли я, что он мне как-то сказал. Я понимаю, что он на что-то намекает, но на что? О чем из того, что он мне *как-то* говорил — а он много чего говорил — идет речь? Я вижу, что он колеблется, я вижу это по нервным движениям его рук, по тому, как он сгибает и разгибает ноги, даже по тому, как он раздувает ноздри на вдохе

и выдохе. Я жду. Это его дело — что-то мне объяснить или придержать эту информацию.

— Ты помнишь, я пытался выяснить личность того, кто публиковал в Интернете главы из так называемой «Хасмонеиской хроники»? Первая глава про Иуду Маккавея появилась полгода назад в одном из так называемых писательских форумов. Другие главы появились на разных сайтах, и, кто бы ни были те, кто их выставлял, они очень умело скрывали свои имена.

Я отвечаю, что да, помню, как он мне рассказывал, что часами сидит за компьютером, пытаюсь выяснить, кто автор.

— Ну так вот. Я его нашел, — говорит он уже без всяких следов колебаний, которые я замечал только что по движениям его рук, ног и ноздрей. — Вернее, я ее нашел.

Я слежу за ним взглядом, когда он идет к своему письменному столу в другом конце гостиной, включает лэптоп, ждет, несколько раз жмет на мышшь и подзывает меня жестом правой руки.

— Прочти, и поймешь, в чем дело.

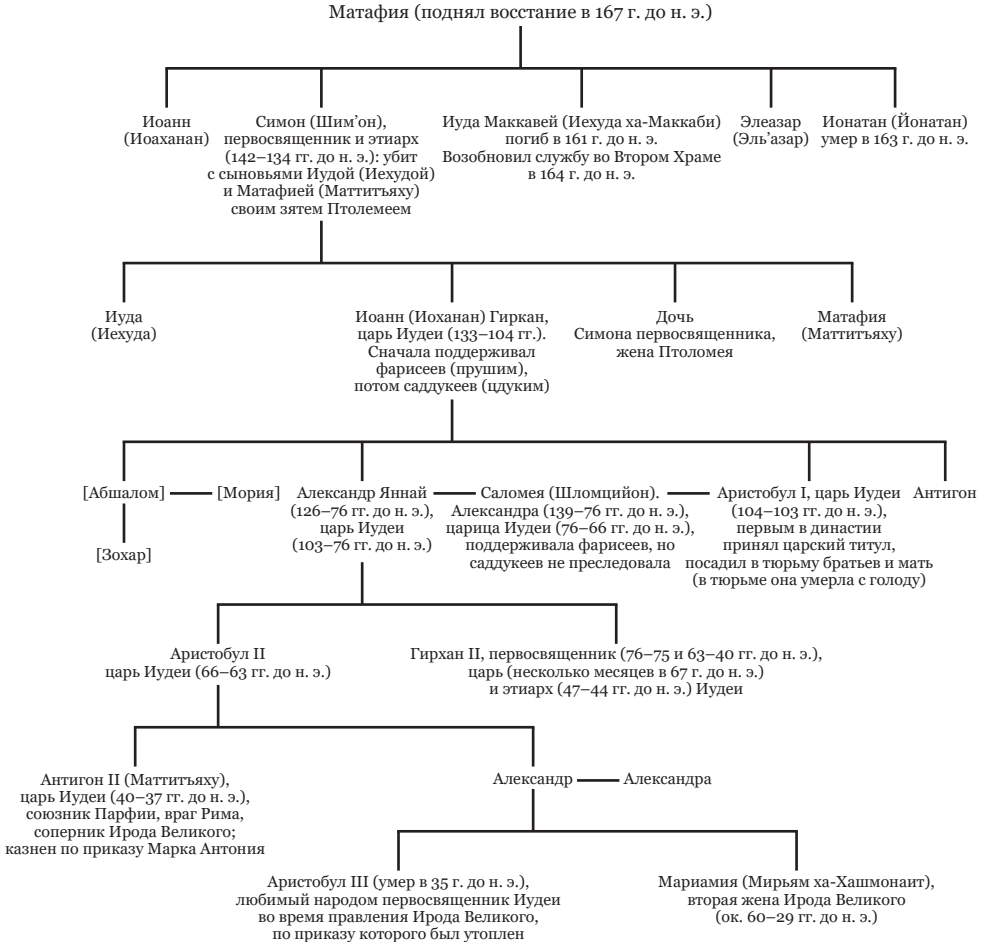
Я подхожу к письменному столу. С явным сарказмом он говорит, что мне наверняка понравится Галин литературный стиль, особенно в машинном переводе на мой родной арабский, и он предоставляет мне возможность насладиться им в одиночестве. Я слышу, как он бродит по кухне, убирает наши грязные стаканы, споласкивает их в мойке. Когда я поднимаю глаза от дисплея, он говорит, что судьба моего народа — «твоего народа», говорит он, делая ударение на первом слове, — в моих руках, и, понятное дело, я не хочу свой народ подводить. Я ничего на это не отвечаю, потому что, с одной стороны, я подобные рассуждения много раз от него слышал, а с другой — я занят чтением. Когда я дохожу до середины первой главы, он говорит:

— Теперь ты знаешь, какая высокая миссия лежит на твоих плечах, мой славный маляр.

Не глядя на него, я молча показываю пальцем на дисплей, а потом на свой лоб, давая ему понять, что мне надо сосредоточиться. Мне надо вникнуть. Для этого мне надо не мешать. Уж пожалуйста.

Хасмонейская хроника

Хасмонеи — дом Хашмона, предка Матафии (Маттитяху)



Условные обозначения:

Горизонтальная линия указывает на брак;
в квадратных скобках даются имена людей,
про которых нет достоверных данных

Глава 1

Хасмонейская хроника. Глава I

В Иерусалим Иехуда бен Маттитьяху, позднее известный миру как Иуда Маккавей, вступил прихрамывая. Раздвоенный палец на ноге он не считал сколько-нибудь значительной жертвой, учитывая величину селевкидского войска и мастерски наточенные мечи его воинов: и то и другое намного превосходило количество его бойцов и качество их мечей. Но, словно этого было мало, его и так мало-численные бойцы ни в какую не соглашались воевать в субботу, в шаббат, а как раз в шаббат царь Антиох, четвертый из Антиохов, приказал атаковать сынов израилевых. Он был неглуп, этот Антиох. Он хорошо понимал, что благочестие евреев — это именно та крепость неодолимая, в которой они сами себя похоронят. Тот шаббат и стал бойней для тысячи из них — детей, женщин и мужчин, без боя подставившихся под греческие мечи. Смерть с Богом лучше, чем жизнь без Бога, считали они, и так и сгорели, как светильники в исходе ночи.

Что при выборе «шаббат или смерть» сыны израилены выберут смерть, знали за пределами земли Израилевой, и эти знающие так и норовили помочь его народу этот выбор поскорей сделать. Однако еще в один шаббат, когда греки были уверены еще в одной легкой победе, они вдруг увидели представшую перед собой толпу оборванцев, вооруженных чем попало, и им сперва почудилось, что это морок, насланный на них их богом Дионисом, накануне осчастливившим войско обильным возлиянием и прочими языческими

удовольствиями. «Морок! Морок!» — вопило, удирая, Антиохово воинство. Особенно ужасало их в этом мороке зрелище самого Иехуды, сына Маттитьяхова, сына Хасмонеева, хромящего впереди всего сброда с мечом в одной руке и дубиной в другой и с рассеченным надвое пальцем ноги, оставляющим за собой кровавый след. Остановился он только тогда, когда они добрались до селения, где его семья нашла временный приют, и там он знаком приказал одному из своих людей, неотступно следующему за ним прямо по кровавому следу, привести жену со словами «пусть Нехора займется», указывая на рассеченный палец.

Когда Нехора появилась, с волосами цвета воронова крыла, волнами спадающими на плечи, в белоснежных одеждах, не способных скрыть прелести ее тела, он вместо приветствия протянул ей ногу. Он знал ее достаточно хорошо, чтобы не усомниться в ее ответе. Она приняла его ногу со свисающим пальцем и, подняв голову, оглядела изможденное войско, вооруженное мечами, дубинами и камнями.

— Тот, кто несет самый большой камень, да выйдет вперед!

Двенадцать страшного вида бойцов, по числу месяцев еврейского года, выступили вперед, и она выбрала среди них того, кто держал в руках самый большой камень. Молча, жестом, приказала положить камень перед ней на землю. Он сделал, что она велела, и отступил назад, влившись в шеренгу воинов, а она опустила мужнину ногу на камень, достала из расшитого тканого мешочка нож (ходили слухи, что нож этот принадлежал когда-то самому царю Соломону Мудрому), взмахнула рукой и резко опустив нож на Иехудин палец, отсекала его от ноги целиком.

И сказала:

— Отрезанное напополам да отрежется целиком, ибо напополам отрезанное — враг здорового.

То, что сказала она тогда, дошло до нас благодаря ее многочисленным ученикам, записавшим все, чему она их учила, в книге, названной «Мудрость Нехоры», но позже она была признана апокрифом власти имеющими и к чтению запрещена.

— Да, инструменты у нас примитивные, — сказала Нехора, возможно, представляя себе медицинский инструментарий будущего.

Она обернула мужнину ступню листом дерева, известным своим свойством останавливать кровотечение. Следует заметить, что после упоминания об исцелении Иехудиной ноги дерево это не удалось обнаружить ни в Иудее, ни в других местах, что должно быть весьма прискорбно с точки зрения как людей, которые в нем нуждались, так и самого дерева.

Иехуда счел эпизод с пальцем ноги законченным: все, был да сплыл. Свидетели отметили, что во время экзекуции, известной в последующие столетия как Отсечение Большого Пальца Ноги, с его губ не сорвалось ни единого стога. Данный как будто бы незначительный факт, на самом деле указывает на то, что Иехуда этим безмолвным мужественным пренебрежением к боли, какой бы сильной она ни была, когда ни один мускул на лице не дрогнет, ни одна мышца не дернется, как бы ввел новую норму, что называется, поднял мировую планку. Недаром о нем говорили, что он по-мужски победил боль — так же, как победил изнеженных греков, исполнив древнее пророчество о воине, лишенном одного пальца ноги, который должен был отвоевать у врагов оскверненный ими храм и наново освятить его.

Искалеченная нога его сама стала чем-то вроде священного предмета, и, куда бы она ни ступала в пространстве храма, святость чудесным образом восстанавливалась, как будто она обитала там всегда, как на самом деле и было, если не считать кратких святотатственных перерывов, самым недавним из которых было водружение в алтаре крашеного Зевса, устроенного Антиохом IV и его приспешниками.

Едва Иехуда ступил в храм, его взгляду открылись свиные головы, валяющиеся повсюду, и свиные хвосты, торчащие в щелях между каменными плитами пола. У него перехватило дыхание. Казалось, выдыхаемый им воздух пытался прорваться сквозь ребра его груди, но застревал между ними, как свиные хвосты в щелях пола.

Он повернул голову в сторону входа и увидел своих воинов, ждущих от него знака.

— Осквернили храм! — только и мог он произнести.

Иехуда потряс кулаком в сторону крашеного Зевса, и воины мгновенно поняли этот жест. Они набросились на Зевса, свалили его

с ног, разбили башку деревянными молотами — словом, обошлись с ним так, как в стране, из которых его принесла нелегкая, не обходились ни с одним из олимпийских богов. Или, скажем прямо, божков. Но здесь ему, Зевсу, была не его страна. Здесь ему была не Иония-Греция, не империя Селевкидов с ее погаными культами в Антиохии все тех же олимпийских божков, не Рим с теми же крашеными идолами, переименованными на римский манер, как будто именно там они уродились и выросли: Юпитер вместо Зевса, Венера вместо Афродиты, Бахус вместо Диониса.

— Да как им только может взбрести в голову, что кто-то поверит в этих идолов! — воскликнул один из командиров Иехудиного воинства, чье греческое имя Зефирий означало «легкий прохладный ветерок», а еврейское, более ему шедшее — Ямин, «правый», — точно отражало его жизненную роль: он был правой рукой Иехуды. И именно ему, своей правой руке, Иехуда доверял как самому себе.

Конечно, Нехоре он доверял тоже, но понимал, что, какой бы великой целительницей она ни была, доверять женщине можно лишь постольку поскольку.

Три года назад, когда он был все еще женат на Мирьям, он ходил пешком от поселка к поселку, выглядывая молодых парней, которые к его приходу уже выстраивались в шеренгу, так как его ординарцы появлялись там раньше него, чтобы приготовить местных и не вынуждать его попусту терять время. В каждом поселении он выступал с кратким воззванием перед ватагой мужчин крепкого телосложения, которые слушали его, отверзнув слух и зрение, ловя каждое слово. И все слова, которые он говорил, были каждому по душе, ибо кто из них не мечтал преподать грекам хороший урок?

— Ну, кто об этом мечтает? — риторически вопрошал Иехуда.

— Мы все! — гремело в ответ. После чего по его призыву они делились на пары и бились друг с другом на пыльной проселочной дороге, а он методично отбирал победителей, тогда как побежденным, хотя и те и другие извалялись в одной и той же грязи и пыли, приходилось убираться восвояси.

В одной деревне он заметил молодую женщину, оказывающую помощь побежденным, и в тот момент, когда она обмывала водой

из глиняного кувшина их покрытые кровоподтеками тела, он увидел ее лицо одновременно как солнце и луну, ее глаза как звезды, а рот как реку, текущую медом, и ему ничего не надо было, кроме того, чтобы смотреть, как она ухаживает за этими бедолагами-слабаками, которые никогда уже не удостоятся чести свести войско селвкидское в ими же придуманную преисподнюю, где им было самое место точно так же, как их Зевсу место было на горе Олимп (Олимп! — никогда не забывал повторить это слово Иехуда — можете себе представить? На горе в Греции — в Греции, понимаете, а не у нас в Иудее, где холмы — да, есть холмы, но не горы!).

Он подошел к ней, протягивая ей руки: омой мои тоже, женщина. Но она молча показала ему пустой кувшин, в котором не осталось ни капли воды, и, когда она опустила кувшин на землю, он продолжал стоять перед ней, как нищий, с протянутыми руками, как будто на них изливалось нечто более ценное, чем простая вода.

«Сила!» — воскликнул он про себя, ибо, умея властвовать над мужчинами, он совсем не имел власти над женщинами. По крайней мере, он так считал, потому-то и восклицание его было немым вместо того, чтобы вырваться наружу и достичь ее ушей, которые, несомненно, были такими же ладными, как и все остальное в ней.

Но дело было не в красоте, а в силе. И то, что он произнес уже вслух, вызвало недоумение у Ямина, его правой руки:

— Лучше бы ты была старой каргой.

Иехуда помолчал, обдумывая то, что сказал, и, как бы додумав, добавил:

— Точно, лучше будь старой каргой.

Прошло еще несколько минут, а она все стояла, не смея поднять глаза. Иехуда, тоже постояв молча, сколько смог выдержать, повернулся, наконец, к Ямину со словами «Пошли дальше» и, не взглянув на Нехору и не сказав ей ни слова на прощание, оставил ее стоять возле пустого кувшина.

Он собрал победителей и обвел их широким жестом, приказывая подойти к толпе других удачливых бойцов, собранных им по другим деревням. Так и шли они от деревни к деревне, везде наблю-

дая новые схватки, и снова отбирали победителей, присоединяя их к быстро растущему воинству, а неудачников оставляли на попечение женщин, льющих из кувшинов воду на их жалкие синяки и царапины.

Однако ни у кого из этих женщин лицо не было как луна, и уж точно не было другой такой с лицом как луна и солнце одновременно, да и не в лице дело, говорил он сам себе в темных глубинах сознания. Он и лица-то больше не помнил, только силу, которая продолжала окутывать его наподобие некоего мерцающего светящегося облака. Он не мог высвободиться из этого облака даже дома, когда любил ночью свою жену, с которой прожил многие годы, свою верную Мириам, дочь Мириам-старшей, которая и сама когда-то была красавицей, не то что теперь, кожа да кости, из которых доносится докучливое ворчание.

Его жена, Мириам-младшая, чувствовала, что происходит что-то необычное: как будто бы это облако, которым другая женщина обволакивала его, было ее рук делом, и ему тоже хотелось верить, что это любовное свечение направлено на нее, его жену и мать его сыновей. Но он чувствовал, что облако оставляет его, как только он прикасается к ее телу. Ему не нравилось это новое ощущение, и он повторял про себя, что любит свою жену — да, любит, любит.

Однако несколько недель спустя он отправился в ту деревню уже один и сказал, что хочет видеть ту женщину с кувшином. Когда старый горбун — он так и не понял, мужского или женского пола — привел ее, и она стояла перед ним с лицом как луна и солнце, он произнес громко, как бы уговаривая сам себя:

— Я не могу тебя любить, потому что люблю свою жену.

Она промолчала, только насмалась на него еще больше этого мерцающего свечения. Облако, которое окутывало его в ее отсутствие, теперь стало настолько осязаемо плотным, что он не мог дышать. Оно наполнило его ноздри и легкие, это облако, исходившее из женщины с кувшином. Нет, кувшина у нее на этот раз не было. У нее ничего не было. Она стояла перед ним, незащитная, если не считать этого свечения, которое, несомненно, было делом рук самого Сатаны. Или Всевышнего?

— Или Всевышнего? — спросил ее он, но она не отвечала. — Говори! — потребовал он. Она молчала. — Я больше не потерплю твоего молчания! — прогремел Иехуда. — Ибо в одном я уверен, если я вообще в чем-то уверен: ты меня приворожила. Но я должен знать, кто дал тебе такую силу — Всевышний? Или все-таки Велиал? И ты мне это скажешь, потому что, кто бы он ни был, ты его орудие, и ты, конечно, знаешь, кто этот злоумышленник!

Но она по-прежнему молчала, и он умерил свое нетерпение, перестал кричать и заговорил тихо и ласково, против чего не могла устоять ни одна женщина, и снова попросил ее назвать имя злоумышленника, как он окрестил силу, которая пересилила его. Его мягкий тон оказался действенной громового голоса, и она ответила просто:

— Не Всевышний и не Велиал, а Эрос. Он сын Афродиты, богини любви.

О, какими проклятиями он разразился, услышав, что тут опять замешаны греки! Оказывается, это греки околдовали его — его! Даже когда он таскался на своих двоих от одной пыльной деревни к другой, собирая самых сильных еврейских бойцов, чтобы сокрушить этих греков, они уже были тут как тут, опережая его, поражая его в обличье своего детообразного божка Эроса, а женщина, стоящая перед ним, была этим Эросом послана, чтобы лишить его мужества!

— Идет война между евреями и греками, — тихо сказал он. — Приняв сторону греков, ты становишься изменницей.

После краткой паузы, которую он едва смог выдержать, так как свечение становилось настолько сильным, что Иехуда едва стоял на ногах, он продолжил:

— А что бывает с изменниками, ты знаешь. Их участи не позабудешь.

Ему приходилось напрячь всю свою легендарную силу воли, чтобы устоять перед свечением, которое толкало его вниз, пытаясь опустить на землю — с ней в объятиях. Если бы она сказала, что этот свет, который проходил через нее и входил в него, послан Всевышним, он бы подчинился, ибо подчинение воле Божьей, как бы непо-

стижима она ни казалась, было мужским долгом и делом чести. Но он не собирался подчиниться греческому божку-сопляку с колчаном игрушечных стрел, которыми, мало того, он еще стрелял наугад, куда попало.

— Ты уверена, что это он? — спросил Иехуда. — Как он выглядел?

— Это был мальчик. Он смеялся и играл своими стрелами, — сказала она и, помолчав, добавила: — Он был с крылышками. Вроде как у бабочек, только побольше.

— Может, ты все-таки обозналась? Как ты могла его узнать, если никогда раньше не видела?

— Я уверена, что это был он, — ответила женщина: — Но я уверена, что он не замышлял ничего дурного. Мерцающее свечение, которое мы оба ощущаем, не что иное, как последствие попадания в нас его стрел. Но из-за этого тебе совсем не обязательно ломать свою жизнь.

— Что еще нам делать?

— Ничего. Оставить все, как есть.

— Оставить, как есть? — снова взревел он, на этот раз сопровождая рев хохотом, настолько сильным, что он почувствовал боль в груди, ибо свечение уже добралось до его легких.

— Я пошел домой, — сказал он. — Я пошел домой к своей жене, и я буду любить ее, как она того заслуживает. Никакие греческие божки-сопляки со своими ничтожными стрелами не могут помешать благочестивому еврею любить свою верную жену.

И он ушел, оставив ее с половиной свечения, в которое она завершилась, как в шаль, так как уже темнело и воздух становился все холодней.

Гая

Я хочу продолжать писать, но не могу сосредоточиться, и вместо этого берусь за корректуру первой главы моей «Хроники» и дохожу до того места, где Иехуда покидает Нехору в надежде избавиться от своей одержимости ею. Читать корректуру мне скучно. Мне необходимо делать что-то творческое — если не писать, то заняться жи-

вописью, моей первой и полузабытой любовью. Вечером в строящемся доме темней, чем на улице, и кучи строительного мусора на полу выглядят довольно жутко. Я пробираюсь вперед с фонарем в руке, спотыкаюсь и пару раз чуть не падаю, пока добираюсь до стены, на которой Алехандро экспериментировал со скомканными пластиковыми пакетами и всякой другой необычной малярной техникой. Я раскрываю пакет и вынимаю банки с темно-красной, оранжевой и желтой малярной краской, две кисточки и пару тряпок. Я пользовалась этими кисточками много лет назад для живописи маслом, и думаю, что они точно так же сойдутся для окраски стен, так как я собираюсь применить ту же технику, которую я применяла, когда писала маслом. Направляю свет фонаря на стену: узор, который Алехандро нанес днем, ночью кажется интересней. Приступаю к работе.

Заканчиваю в 5 утра, ложусь спать в 6, сплю допоздна, и мне снится, как он реагирует на плоды моей ночной работы — тычет пальцем в нарисованные фигуры на стене и спрашивает: «Зачем это, ну зачем?» При мысли о его гневе я в панике просыпаюсь. Я ожидаю от него наяву такой же реакции, как во сне, обвинений в том, что я сделала что-то ужасное, но, когда я встречаю его в подвале, он что-то размещивает в ведре и на мое «привет!» едва поворачивает голову в знак ответного приветствия.

Я спрашиваю его, видел ли он стену, и он отвечает вопросом на вопрос: «Какую стену?»

— Пойдемте, я покажу.

Он недовольно фыркает. Ему надо сначала закончить размещивание. Когда он, наконец, неохотно следует за мной на первый этаж, он двигается так медленно, что я обгоняю его и жду около стены.

— При дневном свете она выглядит по-другому, — говорю я. — Ночью она смотрелась гораздо лучше.

— А это что? — Он указывает пальцем на фигуру в центре: мальчик, посылающий стрелы в верхний правый угол стены, где две фигуры, мужская и женская, стоят на некотором расстоянии друг от друга. — Вы художник, Галия? Для чего вы это рисовали?

— Я думала, вам понравится.

— Но это стена, — говорит он. — Стена, Галия. Не картина.

— Я знаю, что это стена, а не картина, но я хочу, чтобы она выглядела как картина. Если вас интересует, что скажет Том, когда увидит эту стену, не переживайте, я скажу ему правду. Я скажу ему, что это я сделала, он вас не будет обвинять.

— Я не беспокоюсь о Томе. Я беспокоюсь о вас.

— Спасибо, Алехандро. Обо мне не надо беспокоиться.

— Этот мужчина, — он показал на стену. — Вы рисовали этого мужчину?

— Мужчина глядит на женщину... видите там женщину? А женщина глядит на мужчину, потому что — видите стрелы? — мальчик стреляет своими любовными стрелами.

— Неправильно! — в его голосе ярость. — Не стрелами!

Не понимаю, чем вызвана такая бурная реакция. Это просто картинка, нарисованные фигуры. Может быть, он решил, что я намекаю, что мужчина на картине — он, женщина — я, а любовные стрелы, которые Эрос в нас пускает, — то, что с нами произойдет. Прошлой ночью мне и в голову такое не приходило, а сейчас мне ужасно неловко, что он может такое подумать. Надо убедить его, что это не так, что картинка никакого отношения к нам с ним не имеет, что это просто мой стиль живописи, я так пишу красками много лет. Да я могу в доказательство хоть свои холсты ему продемонстрировать.

— Алехандро, это же миф! Это же не по-настоящему! И в любом случае я это все нарисовала, потому что именно такие фигуры я разглядела в узорах, образовавшихся на стене после побелки, покраски и обработки поверхности, которые вы сами для меня сделали. Вы это сделали для меня, а я хотела это сделать для вас.

— Спасибо, — саркастическим тоном говорит он. — Какой приятный сюрприз!

— Вы так это говорите, как будто считаете, что я испортила вашу работу.

Он отходит от стены, скрещивает руки на груди, улыбается одними глазами.

— Ну, признайтесь, Алехандро, вам это ужасно не нравится.

Он продолжает стоять с невозмутимым видом, словно целиком уйдя в себя. Я наблюдаю за ним со своего места на другом краю стены и хочу ему сказать, что впервые за много лет я вижу человека, улыбающегося одними глазами, и что улыбки, которые я постоянно вижу — растянутые губы и ничего не выражающие глаза, — я вообще не считаю улыбками.

— У меня работа, — говорит он резко, с ударением на слово «работа», давая мне понять, что я всего-навсего маловажная женщина, которая от нечего делать пишет дурацкие картины на стенах, портя его *работу*, и которая не желает понять, что он у Тома на почасовой оплате и что каждый час — каждая минута! — для такого, как он, это его *рабочее* время.

Хасмонейская хроника. Глава I. Продолжение

Когда Иехуда вошел в спальню своего дома в надежде задавить в себе непрекращающееся свечение самой сильной любовью к жене, на которую был способен, он ее там не обнаружил. Не нашел он ее и в кухне, где повар сообщил ему, что хозяйка сказала, что неважно себя чувствует и прогулка на свежем воздухе может ей помочь. Он вышел из дома и обошел все свое угодье из конца в конец, но никаких следов жены не нашел. В конце поля он увидел овечку и, подумав, что это новый приплод, быстро повел его в хлев. Овечка последовала за ним неохотно, а у входа в хлев остановилась и устремила на Иехуду взгляд, который как бы напоминал ему о чем-то, но о чем, он не мог вспомнить, ибо был наполнен мерцающим свечением, исходившим из женщины с кувшином.

— Я ишу свою жену, — поделился он с овечкой и, так как животное продолжало смотреть на него, добавил: — Я люблю свою жену, она у меня единственная.

Овечка прижалась к нему, ее запах опять напомнил ему что-то знакомое. Он почти автоматически погладил морду животного, на что овечка отреагировала следующим образом: встала на задние копытца и заблеяла, и в этом блеянии он, казалось, различил звуки, которые почти складывались в слова «твоя жена! твоя жена!». Однако

он навидался мужчин, потерявших рассудок из-за любви к женщине, и он совершенно не собирался следовать их примеру, особенно в данном случае, когда все опять указывало на этих ублюдков, языческих идолов, ибо кто еще мог сыграть с ним такую идиотскую шутку? Это была их тактика, нанести упреждающий удар, потому что они знали, что, когда дело дойдет до настоящих боев, если они проиграют хоть один, они проиграют все.

Вернувшись в дом, он опросил всех домашних и каждого из слуг отдельно, и все они говорили одно и то же: она сказала, что неважно себя чувствует, и вышла подышать свежим воздухом. Он вынужден был признать, что именно так она обычно и поступала. Но в результате вместо верной жены у него был овечий приплод, стоящий на задних копытах, а когда он его поглаживал, блеял человеческими словами. И теперь ему необходимо было выяснить две вещи: во-первых, какие из вражьих божков сотворили с ним это злое дело, и, во-вторых, что ему делать с этим мерцающим свечением и с женщиной, которая была его источником, хотя он понимал, что так думать неправильно, ибо женщина была не источником, а только передатчиком свечения, на него направленного. Олимпийские боги, надо было отдать им должное, славно над ним потешились. Но разве сам факт того, что они уделили ему столько внимания, не свидетельствовал о том, что они отнюдь не уверены в победе? Не говорит ли о слабости греков то, что их боги опускаются до низкопробных трюков типа превращения одной его жены в овцу только для того, чтобы он привел в дом другую? Но он эти трюки разгадал. Ему теперь все ясно. Эти языческие божки вообразили себя военными стратегами, но вся их стратегия свелась к появлению в его жизни этой новой женщины и в результате нарушению порядка как в его семье, так и в его душе, ибо, если был на свете мужчина-однолюб, верный одной женщине, то это Иехуда, сын Матафии, прозванный Маккавеем, основатель династии Хасмонеев, распространившей власть сынов Израилевых на Галилею и Итурею, и Перею, и Идумею, и Самарию, славную многими великими делами.

При всем при том получалось, что в этой славной династии до сих пор не было в рулевых никого равного Иехуде в безупречности

и твердости характера. Ему вспомнился маленький изворотливый человечек, встреченный им в Тире, который представился Гермесом, и Иехуда сперва решил, что это просто имя: греки любили называть своих детей именами своих богов, и их можно было понять при таком обилии и тех и других.

Однако было что-то особенно необычное и странное в этом человечке, настолько странное, что Иехуде пришлось просить его о трехдневной отсрочке, чтобы взвесить все за и против в намечающейся сделке, которая сначала казалась ему чуть ли не сделкой века, а кончилась чистым убытком. Гермес, покровитель торговцев, воров и мошенников всех сортов... Несомненно, история с овечкой — его рук дело. Если бы только сейчас с ним повстречаться, помечтал Иехуда, он бы сокрушил ему челюсть, это уж как минимум, поскольку в такой ситуации уже мало быть мирным семьянином и благочестивым евреем — мужчина должен уметь отомстить: око за око. Особенно когда один из второсортных вражеских богов смеет обратить твою жену, с которой ты прожил целых четырнадцать лет, в овцу, а другой, мальчонка и обличьем, и мозгами, позволяет себе пускать свои дрянные любовные стрелы одновременно в тебя и в совершенно чужую тебе женщину. И все это ради того, чтобы отвлечь его от приближающегося сражения, которое он твердо намеревался выиграть, ибо с чего бы еще им так напрягаться, чтобы сбить его с толку?

Сам он в деревню, где жила Нехора, не пошел, а отправил Ямина, которого там должны были запомнить не хуже, чем самого Иехуду, с письменным приказом доставить к нему женщину, которая ухаживала за проигравшими в борцовых схватках. То есть женщину с кувшином. В приказе он не стал сравнивать ее лицо с небесными телами, поскольку понимал, что такое сравнение субъективно, и независимо от объективной оценки красоты женщины маловероятно, чтобы кто-то, кроме него, углядел сходство ее лица с луной, солнцем, а также звездами. Умолчал он и о том, что должен был поблагодарить за *это* младенцеобразного греческого бога Эроса. Этому *это*, скрытому в мерцающем облаке, чем бы оно ни было, он так и не смог подыскать название: это было нечто большее, чем вождение, и даже большее, чем любовь. В конечном счете ему было наплевать

на то, откуда это шло — от Гермеса, от Эроса... У него был свой Бог. И даже если эта женщина с облаком была послана ему вражескими богами с единственной целью — внести разлад в его жизнь и ослабить его перед очередным сражением, им это не удалось, потому что, когда облако рассеялось, он обнаружил, что у него новая жена, чистая сердцем и богатая разумом. Она обожала его детей. По прошествии некоторого времени, пока они не могли не тосковать по матери, они привыкли к Нехоре и полюбили ее. И Бога единого и единственного она боялась, а уж его, Иехуду, любила страстно и вкладывая в семью всю душу, как вкладывала ее в уход за потерпевшими в борцовских боях.

— Эй, Гермес, — кричал он, — ну и где этот разлад, на который ты так рассчитывал? А тебе, Эрос, я должен выразить свою признательность, прямо-таки низко поклониться тебе, благодарствую, благодарствую и еще раз благодарствую! Хорошо бы только ты последний раз ревелся со своими стрелами в моей земле.

Он хотел сказать «в моей голове» и почти это и произнес, но получилось «в моей земле». И эта обмолвка была правильной, чем то, что он хотел сказать, потому что это на самом деле была его земля. И была она не в его голове. Его земля была в реальном мире. Его плодородная, богатая черноземом и песчаником земля, в которой лежал его отец Матафия, известный как Маттитьяху, и отец его отца Иоханан, сын Шимона сына Асмона — левита и пятого внука Ядаи, сына Йоарива и внука Якина из рода Пинхаса, третьего первосвященника Израиля. Все они в ней лежали вместе с женами своими и матерями своими, и женами сыновей своих, и матерями жен сыновей своих.

Галя

Когда я наконец возвращаюсь в полудостроенный дом, я не могу больше думать о своей книге, потому что я только и делаю, что прислушиваюсь к шагам рабочих над головой, причем его шаги я узнаю безошибочно. Красить стены, класть плитку и вообще вся обработка поверхностей — последняя стадия строительства, и она вся на

Александр. Все остальные работают спустя рукава, один Александр приходит каждое утро ровно в восемь, когда я еще в постели протираю сонные глаза, а уходит в пять, если только я его не задерживаю своей болтовней про Мексику, потому что ничего, кроме Мексики, что может быть интересно этому бессловесному мужчине, придумать я не могу.

Он убирает свои инструменты вниз, в подвале, не глядя на меня, пока я разглагольствую про фильмы Александра Ходоровского «Крот», «Священная гора» и «Радужный вор». Я так уверена, что мой интеллеktуал в облике простого работяги не только видел эти малоизвестные картины, но и может меня просветить своим отзывом о творчестве этого латиноамериканского режиссера, что, когда он ворчит, что в жизни этих фильмов не видел и они ему совершенно неинтересны, я не принимаю его слова всерьез и только думаю: «Конечно, это из скромности. Как он старается выглядеть простым рабочим!» Моя влюбленность строит иллюзии про этого маляра, отказывается смотреть в лицо реальности.

— Я не смотрю такие фильмы, — говорит он.

— А какие фильмы вы смотрите?

— Я вообще в кино не хожу. Я смотрю телевизор.

Это должно меня охладить, но не тут-то было. Наоборот, в голову мне приходит: «Это все тот же маскарад. Он упорно строит из себя работягу, такого непритязательного телезрителя, простака приземленного. Но меня-то не проведешь. Я-то вижу, что не простой он работяга, любитель телевизора. От меня не скроешь подлинную сущность интеллеktуала, витающего в облаках, вернее, погруженного в глубины моря, *mare* — так это по-испански — “доктора рыб”, ихтиолога в робе маляра».

— Я даже не из Мексики, — говорит он, — я там только год жил.

— Откуда же вы тогда?

Я готова к тому, что он назовет сейчас какую-нибудь другую латиноамериканскую страну — Эквадор там или Колумбию, но он опять молчит. Он собирает инструменты, протирает руки разбавителем для краски — я все собираюсь ему сообщить, что это вредно для здоровья — и я понимаю, что сейчас дверь за ним за-

хлопнется, и я с трудом удержусь от того, чтобы за ним побежать. Должен же он мне рассказать, откуда он и почему внушил мне, что он из Мексики.

Дверь за ним захлопывается. Все-таки я за ним не бегу. Бежать за мужчиной — это слишком.

На следующее утро я просыпаюсь от звука его шагов. Наверное, уже восемь: он поднимается по лестнице. Я его распорядок дня знаю лучше, чем свой. Минут пять-десять он будет сидеть на втором этаже, думая о чем-то своем, уставившись в пространство. Потом он спустится в цокольный этаж за своими малярными роликами, скребками — что там ему еще понадобится сегодня? Я срочно одеваюсь и несусь в цоколь, и, когда он туда приходит за инструментами, я уже там.

— Доброе утро, — говорю я ему бодрым голосом, и он в ответ что-то бурчит на смеси языков.

Меня это бурчание не смущает: сегодня у меня есть план. Пока он складывает в пустое ведро свои кисти, я спрашиваю, готов ли он еще кое-какую работу для меня сделать, когда стройка закончится.

— Какую работу? — спрашивает он.

— Это сверх того, что у нас с Томом в договоре, — отвечаю я. — Сарайчик новый построить или, может, забор на заднем дворе. Я пока сама не решила, там видно будет. Я просто хочу заранее знать, что у меня будет кому поручить эту работу.

Он отворачивается от меня так, что я не вижу его лица, и делает вид, что рассматривает стену слева, где на той неделе поставили счетчик для воды. Проходят три-четыре минуты, прежде чем он, наконец, выдавливает из себя:

— Звоните мне в любой день, Галия. У вас есть мой номер.

— Да, Алехандро, у меня есть ваш номер.

Он уходит наверх работать, а я решаю покрасить свою мебель в яркие тона по единственной причине: я влюблена в мужчину, который красит стены. Мне мало быть его клиентом. Мне мало того, что он вдохновляет меня как автора, даже при том, что я понимаю, что он никогда не станет читать мою «Хасмонейскую хронику».

Я хочу большего. Я хочу стать частью его жизни. Я надеваю старые штаны и рубашку, которые не боюсь заляпать краской, и перчатки, в которых занимаюсь живописью, — они куплены в специальном магазине «Бенджамен Мур», где все знают меня по имени не только потому, что я туда через день заглядываю, но и потому, что я из тех покупателей, которые ни на чем не могут остановиться и без конца сравнивают цветовые образцы. Я пристаю к продавцам с вопросами типа «чем этот оттенок от того отличается?», или «в чем разница между глянцем и матовым глянцем?», или «можете мне сделать этот оттенок потемнее? чуть-чуть потемнее?». Я крашу мебель точно так же, как Алехандро красит стены: заливаю краску под первый слой в поднос, опускаю туда валик и провожу им по всем сторонам старого комода. Когда краска высыхает, крашу выдвижные ящики в цвет «небо над Ютой», а стенки комода — в цвет «мистический виноград». Удовольствия от покраски мебели я получаю больше, чем от своей поденной работы учителем в школе и от своей настоящей работы — писательства, и с радостью объявляю об этом всякому, кто готов меня выслушать.

Я так увлечена нанесением второго слоя краски на переднюю спинку кровати, что вздрагиваю, когда кто-то протягивает мне картонный стаканчик с кофе. Это Алехандро, и он улыбается, держа его в руке. Я не могу поверить, что наши роли поменялись: обычно это я приношу ему кофе, а он нехотя его берет.

— Ой, Алехандро, — говорю я. — Ну что вы, я же могу его и дома сварить.

Он садится на пол, попивает кофе из своего картонного стакана и разговаривает со мной. Мне не верится: он со мной разговаривает!

Я не хочу думать о нем плохо; не хочу думать, что он стал со мной разговаривать только из-за того, что я наняла его на ремонтные работы после конца строительства.

Мне достаточно для полного счастья видеть его сидящим на полу. Мне не приходится, как обычно, вытягивать из него слова, он начинает говорить без всякого приставания с моей стороны, как будто ему в самом деле хочется, чтобы я его выслушала.

Он говорит, что помнит вопрос, который я ему вчера задала. Прямо перед уходом. Когда он ответил, что он на самом деле не из Мексики, а совсем из другой страны.

— Да, — подтверждаю я.

— Так вы все еще хотите услышать ответ?

— Хочу, конечно. Но почему вы об этом говорите так, как будто это государственная тайна? Вы случайно не тайный агент? Скрываетесь от ЦРУ или что-нибудь в этом роде?

Он говорит: вы о Палестине слышали? Ну вот, я из Палестины.

Я думаю, что ответить. Может, так: «Ой, как интересно! Знаете, когда мне было двенадцать лет, я эмигрировала из Советского Союза и жила в Израиле, в городе недалеко от границы с Ливаном, а в школе училась в Нетании. Может, мы тогда были соседями — вы и я? Разве это не забавно?» Но не решаюсь это сказать, чтобы он не подумал, что я совсем невежественная дура, которая не в курсе, что быть соседями в той части земного шара значит скорее быть врагами, чем друзьями. А мне так хочется, чтобы мы с ним были друзьями! Мне все равно, откуда он. Я просто хочу быть его другом, мне больше ничего не надо.

Он говорит, что родился недалеко от Хеврона. Большинство соседей бежало в 1948-м, но его родители решили остаться. После средней школы он учился в университете, потом...

— В каком университете? — прерываю я его.

— В Аль-Кудсе в Иерусалиме, — быстро отвечает он.

А потом пошло: работы по специальности нет, он работал на судне, но не простым матросом.

— Понимаете: первый — капитан, а потом я. Порядок команды.

— Табель о рангах, — подсказываю я.

— Да, о рангах. А потом? Потом женился, жена, дети, двое ребенков.

— Двое детей, — поправляю. Не понимаю, почему иногда он говорит по-английски почти без ошибок, а иногда как новоиспеченный иммигрант.

— Да, детей, — повторяет он, как прилежный ученик. — Жена сказала, больше не плавать, помогать с детьми. Остался дома. Опять

работы нет. То да се. Взялся за строительную работу, встретился с Томом. Том сказал: ты хороший парень, образованный парень. Мне нужен такой парень, как ты, чтобы перед клиентом лучше выглядеть.

Думаю спросить его про странное имя, которое прочла в его мобильнике. Я его даже не запомнила. Только помню, как удивилась, когда его увидела. Что это было за имя?

— Мое настоящее имя — Аммар.

— А Алехандро... разве вас не так звать? И при чем тогда Мексика?

— А, да, Мексика. Морьяком был, помощником капитана, плавал в Мексику. Раз десять был в Мексике.

— Но вы по-испански немного говорите, — замечаю я. — Я слышала, как вы говорили с другими рабочими.

— А, да, я учил.

— А ваша жена и дети... я думала, они в Мексике. Вы же сами сказали...

— Нет, семья в Хевроне. Все там — мама, жена, двое детей. В Мексике — это другое.

— Так у вас в Мексике другая жена?

Тут он вдруг встает с пола, отшвыривает свой картонный стакан и широкими шагами с решительным видом уходит из цокольного этажа.

— Алехандро! — кричу я вслед. — Я пошутила! Я не хотела сказать, что у вас две жены.

* * *

Итак, он женат, а это значит, что мне надо скрывать свои чувства и говорить с ним о чем-то другом. О том, что интересно ему. Например, о покраске стен. Когда я не могу выбрать цвет для спальни, он приносит мне дискету с инструкцией по технике искусственной отделки. Я изучаю дискету на своем лэптопе, и у меня появляются темы, на которые я могу с ним разговаривать. Одна из идей — закупить какой-то особый песок, который насыпается в банку с краской

и тщательно размешивается, и, если этой смесью красить поверхность, она получается зернистой и необычайно красивой. Но это только если вы все правильно сделаете. Я ему говорю, что это именно то, что мне надо на стены спальни. Я покупаю этот песок, и мы вместе его размешиваем. Я ему говорю, что хочу покрасить эту комнату в разные оттенки светло-фиолетового — так, чтобы каждая стена чуть-чуть отличалась от других, а значит, нужно быть особенно внимательным, чтобы увидеть разницу между «сахарной сливой», «лиловой сливой» и «виноградным льдом» из магазина «Бенджамен Мур».

Если бы меня спросили, почему он, я бы не знала, что ответить. Было ли это из-за его мальчишеского лица или ломаного английского, порыва ярости в словах «доктор... рыб!» или из-за того, что я просто видела его не так, как других? В Нью-Йорке полно мужчин с ломаным английским, с мальчишескими лицами, со степенью и без степени. Но ни в ком не было ни яростной страсти в голосе, ни энергии, которую я ощущала, находясь с ним рядом. И то, что он от меня бежал, тоже было свойственно только ему, но не из-за этого я в него влюбилась. Из-за этого я страдала. У меня были знакомые интеллигентные поклонники, писатели и художники, которым я не отвечала взаимностью. А влюбилась я в мужчину, который никогда не станет читать то, что я пишу, и которому неаккуратные края штукатурки на двери ванной важнее, чем вести себя, как подобает джентльмену. Что обо мне-то говорит моя влюбленность в такого мужчину? Может быть, ничего не говорит. А может, она говорит о стрелах Эроса, которые летят наугад и разят наугад. Если, конечно, во втором десятилетии XXI века можно с серьезным лицом говорить про Эроса и его стрелы. Если бы я сказала, что, когда они тебя поразят, то это судьба, мне бы ответили, что все это чистой воды наваждение, любовная одержимость, довольно распространенная и слишком опасная, чтобы ей поддаваться. Борись с ней. Не живи в мифах — греческих или еврейских, ведь это всего лишь сказки, а ты знаешь, чем кончается, когда воображаешь, что живешь в сказке. Что мне сказать в ответ? Что его голос трогает меня до слез, что при всем интеллекте моих красноречивых друзей-мужчин я не слы-

шала ничего более чарующего, чем Алехандрово «доктор... рыб!». Что, сколько бы он от меня ни бегал, он и есть тот самый, единственный. И не имеет никакого значения, действительно ли у него докторская степень по ихтиологии или нет никакой степени, даже бакалавра; смешной ли у него английский или, как иногда кажется, странно правильный; неважно, что он никогда не поймет, что для меня самое важное — мое творчество, и почему я им занимаюсь, и что оно для меня значит. Он даже еще понятия не имеет о стреле, торчащей в его груди, как это знаю я про свою стрелу, и не важно, что стрела — это всего лишь метафора. Моя цель — помочь ему осознать, что он поражен этой стрелой. Других целей у меня нет.

Глава 2

Хасмонейская хроника. Глава II

Восстание начал не Иехуда, а его отец Матафия, также известный как Маттитьяху. Неким утром некоего дня — очень значительного дня в истории евреев, которая в тот день еще не была историей и не рассказывалась в прошедшем времени — Матафия проснулся с тяжестью на сердце. Тяжесть была сильной и сердце не отпускала, и причиной этой тяжести были не греки, вернее, не только они, ибо греки были для него, скорее, отвлеченным понятием, не стоящим особых переживаний. Причиной тяжести на сердце и кома в горле был его собственный сын Элизэр, плоть от плоти его и кровь от крови, Элизэр, который, в отличие от своих братьев, густобородых красавцев, так и не смог отрастить на подбородке ничего, кроме трех волосков.

— Три волоска у тебя вместо бороды, сын. Если уж ты не можешь отрастить нормальную бороду, так должны быть другие способы выказать уважение к обычаям старшим. Ищи эти способы.

— Конечно, возлюбленный отец, я буду искать эти способы, — ответил Элизэр и тихо добавил, чтобы сказанное не достигло ушей отца: — Не уверен, что ты их одобришь, но искать их, как ты мне советуешь, я буду, ибо я верный сын.

И закончил свою краткую речь смешком.

— Смех непотребный! — воскликнул Матафия, расслышав из уст своего четвертого сына неподобающий мужчине звук.

Но Элизэра уже след простыл, так как он хорошо понимал, что, останься он, наказание не заставит себя ждать, а уж кем-кем, а глупцом он не был, с каким бы глупым выражением лица не делал вид, что ему нравятся обычаи, которые были ему совсем не по душе. Спустя некоторое время он вернулся домой с гладко выбритым подбородком.

— Ты кто, — закричал на него Матафия, — ты грек или мой сын?

Он уже занес правую руку, чтобы ударить по гладкой щеке, но кто-то его руку перехватил. Это оказалась Нехора, женщина, посланная Эросом, она удержала его руку, уже готовую опуститься на физиономию Элизэра. Того самого Элизэра, который насмеялся над ней, называя ее «бабой с сосудом» или, еще хуже, «эросовской шляхой», или, объединяя оба обидных прозвища, «шляхой с сосудом греческого божка Эроса», в то время как она, будучи женщиной, не могла ударить по его поганому рту, чтобы прервать этот поток оскорблений.

Но теперь, когда она удержала руку его отца, уже готовую опуститься на Элизэрову щеку, Нехора рассчитывала на некий отклик от Элизэра и с сожалением констатировала, что ее ожидания опять не оправдались. Она надеялась, что он будет ей благодарен или по крайней мере изменит свой прежний настрой против нее, но, когда из не прячущегося в волосах Элизэрова рта вырвался очередной смешок, она поняла, что недооценила его *хуццу*, иными словами, наглость, ибо он не только не поблагодарил ее, но, напротив, продолжал над ней насмеяться. Ей трудно было в это поверить, она отказывалась признать, что на свете встречается такое отсутствие всяких семейных чувств. Он был единственным «голым ртом» из шести мужчин в их семье: рты его братьев и его отца были настолько же, с мужественной красотой, скрыты под густыми зарослями бород, насколько Элизэров рот был непристойно открыт на всеобщее обозрение.

Матафия вышел, бормоча себе под нос: «Плоть от плоти моей, кровь от моей крови, мой родной сын гладко выбрит, как какой-нибудь поганый язычник-грек! Что же ожидать от чужих сыновей, если мой собственный отпрыск сбился с прямых путей праотцев?»

Иехуда, самый благовоспитанный из братьев, нагнал отца. Глядя на обоих мужчин, прогуливающих по полю уже после того, как прохлада раннего утра сменилась на палящий зной, Нехора подумала, что и им хорошо бы сменить гнев на милость, но они все ходили и беседовали, и, о чем бы эта беседа ни была, в ней не наблюдалось ни тени милости. В этом Нехора была уверена.

Через некоторое время Матафия послал за Элизээром старого слугу Иариха, которого называли Идумеем, хотя он родился от родителей только предположительно идумейского происхождения. Произошло это еще в доме Маттитьяхова отца Йоханнана, и поклонялся Иарих все тому же единому Господу, а отнюдь не старым кенаанским языческим идолам вроде Ваала и Ашеры, как про него иногда сплетничали. Элизээр остановился в дверях, не входя в комнату, хотя отец велел ему подойти поближе, чтобы лучше его видеть.

— Зачем ты меня позвал, отец?

— Хочу удостовериться, остался ли ты евреем в самом укромном месте своего тела, сын, — ответил Матафия.

— Да, оно не зря названо укромным, абба.

— Ходят слухи, что ты принимал участие в играх в гимназиуме, где любой мог его видеть.

— Эти игры называются спортивными, а спорт не является частью обыденной жизни. То, что можно делать и видеть во время спортивных игр, или атлетических упражнений, как мы их называем, — не то, что позволено показывать в отчем доме.

— Не твои дружки по атлетическим упражнениям, а отец твой видел тебя, когда ты вышел из чрева матери твоей, — многозначительно заметил Матафия.

— Истинно так, абба. Но это было давно. Я уже стал взрослым.

— Верно. Но что за взрослым ты стал? Греком? Предателем, пытающимся нарастить свою крайнюю плоть? Разве не этим занимаются в твоём гимназиуме, выстроенном по приказу Ясона? Ясона, который так же не имеет права называться первосвященником, как любой другой отступник от нашей веры? А ведь у него, как и у тебя, есть вполне достойный брат.

— У меня их целых четыре, — мрачно заметил Элиэзэр.

— Да, тебе повезло четырежды.

— Мне от этого четырежды тягостней, абба.

— Добродетель не может быть в тягость. Твои братья обладают верой. А ты как раз их позоришь. Это ты шляешься в гимназиум, чтобы сойти за грека, меча диски, дротики и кто там знает, что еще. Все, чем вы там занимаетесь, вы все делаете нагишом... при том, что твоя обрезанная плоть свидетельствует о твоём еврействе. Ты ведь не хотел бы быть евреем, не так ли? Ты ведь один из тех юнцов, которые хотят смешаться с эллинами, ничем не отличаться от них: выгладеть как эллины, говорить как эллины, чтить их богов... и, только приходя в отчий дом, вы снимаете свою греческую маску. А теперь снимай одежду.

— Абба! — воскликнул Элиэзэр. — Одно дело — не прятать лицо за бородой, но тело... это совсем другое!

— Снимай!

— Нет, абба, не могу.

— Снимай!

— Абба!

— Сын!

— Именем Господним клянусь, не участвовал я в богомерзком этом деле, называемом... даже произнести это не могу. Позволь мне хоть дух перевести прежде, чем назвать его: наращение крайней плоти. Прости мне эти ужасные слова, абба. Я говорю правду. Поэтому мне не надо прохаживаться нагим перед моим отцом, чтобы доказать, что я по-прежнему еврей.

Но душа Матафии уже была объята мраком, и мрак этот было не разогнать никакими словесными ухищрениями его младшего сына. Он все это уже слышал, он был внимательным отцом пяти сыновей. Не станет он сидеть и слушать, как его недостойный сын всуе клянется именем Господним в пустой болтовне, усвоенной им от греков.

— Ты вполне овладел ораторским искусством, сын. Но это искусство греков, искусство слов и речевых красот, а не дело веры. Делу веры не нужны слова, сын. Делу веры нужна только вера.

Ничего не ответил на это Элизээр. Дальнейшие ответы были бы для отца еще одним доказательством того, что он на самом деле превратился в грека, а большей мерзости для Матафии нельзя было представить. Один из его сыновей стал эллинизированным евреем. Эллинизированным ничтожеством. Элизээр был достаточно умен. Он совсем не собирался лишиться сыновства. Куда ему деться? Где ему жить? Он любил свой дом. Никакого другого дома он не знал. Это был дом его отца. Здесь он родился. Здесь прошло его отрочество. Здесь он вырос в неуклюжего подростка, а теперь стал грациозным юношей. Слишком грациозным, на отцовский вкус.

Отец оглядел сына. Он чувствовал себя почти как царь, оглядывающий самого жалкого из своих подданных, только он был не царем, а священником, а ведь священник больше, чем царь, подумалось ему, тем более что все цари, правившие евреями последние четыреста лет, были чужеземцами и язычниками. Намного лучше быть священником, чем царем, черпать силу в духе, ни на один день не теряющим связи со Всевышним. Эта духовная связь проявлялась и на вполне земном уровне: достаточно взглянуть на то, как она помогала ему зреть вглубь вещей. Неудивительно, что мысли, безмолвно текущие в незрелом мозгу его сына, были очевидны для Матафии, как если бы они изрекались вслух.

И тут вспомнилось, как он стоял со своим отцом, Иоханнаном, и смотрел парад греко-сирийцев на улицах Иерусалима: марширующие солдаты, перед ними колесница, сам царь Антиох Третий, отец нынешнего тирана, стоя в колеснице, кричит толпе что-то по-гречески, а еврейская толпа кричит что-то в ответ. Что они кричали? Матафия владел греческим так же, как еврейским, но он не понимал, что они кричат, потому что та часть его личности, которая понимала греческий, отказывалась переводить ненавистные слова для другой его части, для которой родными языками были еврейский и арамейский. Так он и стоял рядом со своим отцом, слыша и не понимая, и, когда кто-то, стоящий около них, выкрикнул что-то по-гречески — какое-то приветствие, полагающееся по этикету, — он набросился на кричащего. Толпа онемела. Дело могло

очень плохо кончиться — не для орущего по-гречески, а для Матафии, которого селевкидские солдаты просто подняли бы на копья, если бы отец не оттащил его от места потасовки и не спрятал бы за своей спиной.

И та же сила, которая заставила его много лет назад наброситься на орущего по-гречески, теперь толкала его наброситься на собственного сына, на его Элизэра. Эта сила заставила его вцепиться в сыновью одежду и содрать ее, чтобы он мог уснуть со спокойным сознанием, что его сын по-прежнему еврей. Хотя Элизэр был и сильней, и ловчей своего стареющего родителя, он не мог ни ударить, ни оттолкнуть, ни прижать его к земле, ибо его тело помнило ту любовь, которую он испытывал к своему аббе в дни детства, когда абба покачивал его на колене или радостно подбрасывал в воздух, покачивая в руках вправо-влево, вправо-влево, а потом считал «раз, два, три!» и бросал в кровать.

И теперь, когда его абба вместо мягкой постели бросил его на голый пол, почтение и любовь, которые Элизэр испытывал к отцу, лишили его способности сопротивляться, и он, как ребенок, дал повалить себя на пол, снять одежду и обследовать свое тело, да так грубо, что у него слезы выступили на глазах.

А отец увидел обрезанный по всем правилам мужской орган сына, и его охватило чувство стыда, и он низко опустил голову, как будто только сейчас осознав, что он наделал. Он набросился на собственного сына — за что? Да ни за что. Элизэр был хорошим сыном. Таким же, как остальные четверо, по крайней мере, ничем не хуже. Его плоть от плоти и тому подобное. Матафия молча вышел из комнаты. Слишком тяжело было у него на сердце, чтобы молвить хоть слово.

В тот же день, во время ежегодного праздника в честь главных богов-олимпийцев, Матафия стоял немного поодаль от празднующей толпы, сознавая, что от него ждут исполнения его священнических обязанностей. Он умышленно уклонялся от них, ибо таковыми обязанностями они были лишь в глазах греков или тех евреев, кто из чувства самосохранения уговорил себя, что нет особой разницы между раскрашенными языческими богами и единым неви-

димым Богом евреев. Ах, как удобно им было делать вид, что никакой разницы нет!

Толпа приблизилась к украшенным венками статуям Зевса, Посейдона, Афины, Деметры и Геры. Люди стояли молча, как будто ожидая от богов, что они заговорят, и в наступившей тишине раздался голос на греческом. Несколько женщин из толпы были на грани истерики от ожидания чуда, их руки уже порхали около волос, чтобы начать вырывать их с корнем и принести в жертву богам, которые, конечно, оценят эту жертву по достоинству. Голос, однако, принадлежал не увешанным гирляндами богам, а плешивому представителю селевкидских властей — резкий скрипучий голос, предписывающий Матафии выступить вперед и исполнить свои священнические обязанности. Два служителя культа уже гнали перед собой свинью, и ее визг смешивался с неистовыми воплями и рукоплесканиями толпы. Только одна группа людей стояла молча. Молчание этой маленькой группы было тем более поразительно, что все знали, какие кары обрушатся на каждого, кто осмелится уклониться от участия в праздновании.

Люди из толпы, знакомые с греческими обычаями больше, чем с верой собственных предков, клялись потом, что Матафию и его сыновей укрыло от взглядов то же облако, которым Артемида укрыла когда-то Ифигению от ожидающей зрелища толпы и от Агамемнона, уже держащего жертвенный нож у горла дочери. Еще раз прозвучал голос греко-сирийского чиновника, приказывающий священнику Матафии выйти вперед и совершить предписанное жертвоприношение. Ноги у животного уже были связаны, и его визг был приглушен с помощью тряпичного кляпа. Матафия не двигался с места. Когда приказ прозвучал в третий раз, из толпы выступил некто и сказал: «Я принесу жертву, ваша честь».

Взгляды толпы обратились к вызвавшемуся. Матафия продолжал молча стоять невдалеке. Толпа затаила дыхание, страхась увидеть одну из двух вспышек ярости — Матафии или селевкидского начальника. Толпа все еще надеялась на то, что, чей бы гнев ни вырвался наружу, все эта сцена останется невинным эпизодом, о котором

не будет доложено царю Антиоху IV. Толпа надеялась лишь на зрелище, а получила войну.

— Ты — еврей, — прогремел голос Матафии. — Не грек. Еврей.

Он шагнул вплотную к вызвавшемуся, и луч солнца сверкнул на лезвии меча в его поднятой для удара руке. Рука с мечом опустилась, вызвавшийся упал, и под его шеей моментально образовалась темная лужа.

— Эта жертва поценней свиньи, — спокойно сказал Матафия. — Разве не этого жаждут ваши крашенные идолы?

Тишина была почти осязаема. Она стусилась, как толпа, ждущая от него еще каких-то слов. Он поискал эти слова в голове, но единственное, что смог добавить, было «ваша честь». Убийственный сарказм, с которым это было сказано, казался излишним после реального убийства.

Лежащий в растекающейся луже собственной крови был всего лишь началом. Сам по себе он был не злом, а всего-навсего изменником; теперь настало время поразить само зло и его многочисленных божков.

Приблизился к чиновнику:

— Ты звал меня выйти вперед и исполнить мой долг, — сказал он, дав тому достаточно времени, чтобы убраться восвояси, словно и медленный взмах его руки, и столь же медленное ее опускание были частью кары. Он отстраненно наблюдал за своей рукой, как если бы она выполняла не его, а чью-то другую волю, и, собственно, так оно и было, ибо он был уверен, что не его рука, а Божья длань покарала чиновника. Теперь она принялась за его богов. Боги рушились, один за другим, крашенные носы и щеки отламывались от крашенных голов, крашенные руки — от крашенных торсов, и теперь они все грудой валялись на земле, и уже нельзя было определить, какая часть тела принадлежала Афине, а какая — Зевсу или Гере. Тело чиновника лежало в одной куче с богами.

— Разве он не был верен вам до последнего вдоха? — спросил Матафия, пиная ногой одну их крашенных голов. — Если вы не в силах защитить своих, не значит ли это, что вы разбиты, что с вами покончено, что вас больше нет?

И именно тогда он произнес свои знаменитые слова, записанные в Первой Книге Маккавеев; они вырвались из его уст помимо воли. Хотя эти слова приписывались ему и хотя поколение за поколением в течение двух последующих тысячелетий будут полагать, что они действительно принадлежали именно ему, сам он был абсолютно уверен, что у него не было иного выбора, как послушаться Того, кто на самом деле был автором этих слов — так же, как Он был автором-творцом его, Матафии. И даже те, кто до этого готов был поклоняться раскрашенным греческим статуям, отказались от своего безумия, когда услышали, как он прокричал:

— Пусть всякий, кто готов всем сердцем стоять за Закон и исполнять Завет, следует за мной!

Ордер на его арест был выписан. Матафия с пятью сыновьями укрылся в пустыне, где их убежище походило скорее на военный лагерь, чем на семейный приют. Каждый день его лагерь пополнялся новыми добровольцами, старыми и молодыми, но пока это была безоружная армия, что было большой головной болью для Матафии и его сыновей, ибо они прекрасно понимали, что на чистой отваге им не одолеть Селевкидов — только отвага плюс множество бойцов и необходимое оружие давали им шанс на победу.

И тут Иехуде, самому способному из сыновей Матафии, пришла в голову одна идея. Она пришла к нему, как только он проснулся однажды утром, но он уверял, что произошло это не во сне.

— К истине ведет более, чем один путь. Найти оружие, чтобы сокрушить захватчика, и есть один из путей к истине, — сказал он отцу и четверым братьям.

Через пять дней на территории лагеря выросли груды оружия и доспехов, словно подаренные армией, отказавшейся от войны. Что это могла быть за армия, которой больше не нужно было ни оружия, ни доспехов? Вероятно, говорили люди, это армия, которая знавала и победы, и поражения, а теперь стала армией не воинов, а миротворцев.

В один прекрасный день и евреи станут миротворцами, но день этот пока не настал: позволить себе наслаждаться миром могут только сильные народы. Поэтому гора оружия, подаренная неведо-

мой армией, была как бы даром свыше... и обещанием победы. Женны и дети сумели так быстро разнести весть о неведомо откуда взявшемся вооружении, что внезапно еврейское войско разрослось настолько, что население лагеря казалось теперь многочисленней населения самого Иерусалима. И даже, если быть точным и не утверждать, что лагерь перерос древнейший из городов, в нем ощущалось больше надежды, чем на улицах этой их столицы, захваченной эллинизированными евреями, которые поклонялись Зевсу, голыми состязались в гимназиях и с пылом обсуждали тончайшие детали трудов греческих философов на языке этих философов. Их греческий язык был столь изыскан, а еврейский и арамейский — столь убоги, что они казались большими греками, чем сами греки.

Элиэзер, который привел за собой много друзей, стал душой лагеря. Кто-то из его друзей сказал, что привела их сюда рука Матафии, убившая греческого начальника и сразившая языческих богов. На что Матафия возразил:

— Это была не моя рука, это была длань сам знаешь Кого.

Некий стоявший рядом сказал:

— Помните, что, когда Господь дал нам эту землю, он ждал от нас чего-то взамен, и мы знаем, мы очень хорошо знаем, что именно от нас требовалось превыше всего остального... мы должны нести всем народам свет Господень. Это значит, что, даже если они поступают мерзко по отношению к нам из-за своей недоразвитости, мы не должны опускаться до них и отвечать им тем же. Мы должны быть выше них, если хотим оставаться на этой земле, ибо, если мы призваны нести всем народам свет Господень, мы должны научиться защищать себя, не отнимая жизнь у тех, кто хочет отнять ее у нас. Мы должны быть лучше их, мы должны отказаться от принципа «око за око» и найти новые пути, которые не ведут к пролитию крови — ни их, ни нашей. Мы должны оставаться светочем для других народов, сколько бы зла они нам ни причиняли.

Едва незнакомец закончил свою речь, как прозвучал яростный ответ Матафии:

— Ах, так должны мы отказаться от «ока за око»? Какой выбор у того, над чьей головой занесен топор палача? Выбор один — поко-

риться или поразить палача, используя любые средства, которые есть под рукой. Если мы выбираем второй путь, то только потому, что по первому мы уже пробовали идти, и это не дало нам оснований для гордости. А гордость кое-что значит. Да, уважаемый, она много чего значит. И разве не достаточно долго мы были ее лишены? Четыреста лет — большой срок, а вот теперь вместо того, чтобы привычно покоряться, мы впервые готовимся сражаться, собираемся с силами, движимые одной отвагой — отвагой и молитвой, что в конечном счете одно и то же, ибо молитва к Господу, запрещенная завоевателями, подразумевает отвагу. Поэтому подойди, встань передо мной и скажи мне, что я не служу Господу так праведно, как надежит ему служить. Что мне ответить тебе: я следую Его воле, как она мне открывается? Мало-помалу, с каждым днем, с каждым часом мне что-то открывается — не настолько, чтобы называть это откровением, но, накапливаясь, это что-то вырисовывается в способ действия, придающий смысл всему, что я делаю. А ты толкуешь мне, что наше предназначение — не давать сдачи, а покоряться, и пусть они ничтоже сумняшеся проливают нашу кровь, мы не должны опускаться на их уровень, мы должны быть лучше их и не должны проливать их кровь в ответ. Если мир устроен так, что еврею позволено выжить только с согнутой спиной и опущенными долу глазами, весь свет его уйдет в землю, и светочем он останется только для давно похороненных в ней народов.

Вызвавший эту длинную тираду, исчез, не дослушав ее до конца, ибо так сверкали глаза Матафии и таким рыком переменялись его слова, что нетрудно было вообразить, что бы случилось с незнакомцем, если бы он остался.

Народ, который, по мнению миролюбца, расплачивался за данные Богу обязательства служить светочем другим народам, сейчас набрался достаточно мужества, чтобы сразиться со своими врагами, однако кто может достойно сражаться на пустой желудок? Миролюбцев становилось все больше и больше, и они организовались в некие группы под названием «Истинное слово Господне» и «Свет другим народам», а потом обе небольшие группы слились в одну большую и стали призывать к ненасильственному противостоянию

как грекам, так и евреям, предводительствуемым Маккавеями. А тем временем Маккавейское войско, одержав множество побед над греками, голодало по той простой причине, что лагерь непротивленцев насилью нашел отличный способ лишить их продовольствия. Миротлюбцы посчитали, что, раз они отказались от оружия как орудия борьбы, каким еще орудием они могут бороться, кроме как провизией? Провизию они и выбрали.

Оружие было плодом рук человеческих и поэтому злом. Фрукты, овощи, зерно были плодом земли и поэтому добром. А если еды на всех не хватает, миротлюбцы почему-то решили, что им позволительно ее воровать у Маккавеев. То, что они называли «войнолюбием» Маккавеевского лагеря, настолько, по их мнению, шло против воли Всевышнего и Его ожиданий от избранного Им народа, что они были уверены: их тайные набеги на Маккавейский провиант заслужат высшее прощение, если не одобрение. В разработку тактики этих набегов было вложено столько изобретательности, что она оказалась исключительно эффективной и при этом не замеченной пострадавшей стороной, которая тем временем продолжала одерживать победы над греками, питаясь скорее воздухом, чем осязаемой пищей, и несмотря на то, что бойцы все более походили на скелетов — или на ангелов, как утверждали их доброжелатели.

«Наше учение о ненасильственном сопротивлении, — заявил предводитель миротлюбцев — тот самый миротворец, который впервые изложил Матафии свою идею о евреях как светоче народам мира перед тем первым, и, кстати, выигранным, сражением с греками, — позволяет нам прибегать к нестандартным методам».

Таким образом, именно благодаря этим нестандартным методам миротворческого лагеря бойцы маккавеевского войска выглядели как ангелы, а бесплотность, вызванная худобой, в сочетании с выражением на лицах беззаветной преданности своему делу создавала ощущение как бы некоего нимбообразного сияния. Ходили слухи среди как деревенского люда, так и горожан, что греков обращало в бегство не столько военное искусство маккавеевских бойцов, сколько это сияние над их истощенными лицами.

— Чтобы их победить, надо их накормить! — вскрикивала жена предводителя миротворческого лагеря в ходе особенно бурного соития со своим супругом, который намеренно довел это супружеское соитие до экстаза, зная по опыту, что ей приходит в голову выход из самых трудных ситуаций именно в момент получения наибольшего удовольствия, который она постфактум называла «высоким восхождением и видом на мир с вершины Горней Мудрости».

— Накорми их! Накорми их! — повторяла она уже с меньшим возбуждением, но еще с закрытыми глазами. — Ибо их нимбс-голодухи исчезнет только тогда, когда они будут сыты. И только когда маккавейские желудки наполнятся, греки перестанут бежать от них с поля боя, и тогда только восторжествует дело тех праведных евреев, которые ходят путем Господним и помнят, что к Его избранному народу требования у Него выше, чем к другим.

— Ты, как всегда, права, — сказал вождь миролюбцев, скатываясь с жениного тела.

— Мы можем добиться большего, если не будем держаться принципа «око за око», что бы враг ни делал нам. А вот если мы будем уподобляться им, нам будет уготована их судьба, — продолжала женщина вещать как одержимая.

— Чья судьба? — осторожно спросил вождь.

— Греков, конечно, — ответила жена, — кого ж еще?

— Но наш враг — не греки. Наш враг — Маккавеи.

— Маккавеи — заблудшие братья наши, — вымолвила жена с закрытыми глазами, поскольку ее устами продолжала глаголить высшая сила.

Предводитель миролюбцев рекомендацию Голоса принял безоговорочно, как если бы Он действительно являл Себя в содроганиях их супружеской жизни. Глава миролюбцев ясно видел, что чем более страстно он занимался с женой любовью, тем более авторитетно звучал глаголивший ее устами Голос. По этой причине он постепенно превратился в высококлассного любовника, несмотря даже на то, что до женитьбы ему, смиренно исполняющему Закон, по природе это было чуждо, и только в результате женитьбы на этой женщине, через которую говорили голоса, когда она достигала пика наслажде-

ния, он превратился в неистового любовника из того, кем был прежде: слушающего, но не слышащего, заблудившейся душой и духом, ветрами носимым.

— Да, наши заблудшие братья, — повторила жена, и по легкому дрожанию ее век он понял, что время откровений подходит к концу. Если он хотел еще что-то выяснить, ему надо было спешить.

— Должны ли мы допустить поражение Маккавеев? — спросил он Бога, и Бог, никогда его раньше не подводивший, устами жены отозвался низким хриплым голосом пьяницы с похмелья:

— Поражение...

После чего главный миротворец лежал на спине так долго, что, когда жена сказала своим обычным голосом, стоя над ним с полной кадкой воды «Омой руки, муж, прежде чем приступить к утренней трапезе», он уставился на нее, ничего не говоря и даже не пытаясь сесть. Когда она, повинувшись супружескому долгу, повторила свою просьбу, он бросился на нее как дикий зверь, так что вода из кадки расплескалась по всему супружескому ложу, и потребовал: «Я хочу еще слышать Бога!» И хотя в его голосе было больше страсти, чем она когда бы то ни было слышала от своего мужа, супруга отказала ему.

— Ты не можешь вызвать через меня Бога, если ты только Бога и хочешь, — закричала она. — Только если ты хочешь меня, меня одну и то, что только я одна могу тебе дать, тогда только Бог станет говорить с тобой моими устами.

— Тогда я хочу тебя! — крикнул он, в то время как страстно хотел Бога.

— Нет, ты Его хочешь! — ответила она. — Ты все еще хочешь Его! Он знает, когда говорить и когда молчать. Он приходит только тогда, когда тебе нужна я, только я!

— Тогда мне нужна ты! — и он сжал ее лицо в ладонях с такой силой, что она воскликнула: «Ты сокрушишь мои кости!»

Он уронил голову на подушку и сказал беспомощно:

— Но если Маккавеи — наши заблудшие братья, почему мы должны допустить их поражение от греков? Брата не бросают врагу на растерзание.

— Не могу вспомнить, что Он про это сказал, — сказала жена, виновато улыбаясь.

— Поэтому-то мне и надо послушать Его еще раз, — сказал миролюбец, раздвинув ее белые ноги так резко, что она не успела воспротивиться. — Я хочу знать, как... Я хочу знать, почему.

Он не успел договорить, что именно он хотел знать, потому что она уже трепетала под его пальцами, глаза ее были закрыты, а из слегка приоткрытого рта донеслось: «Накорми их и увидишь». Затем последовала пауза, во время которой его пальцы яростно доводили ее до экстаза, и ее верхние губы чуть приоткрылись:

— Накорми их и увидишь! Больше ничего ты не услышишь, пока вся украденная провизия не будет им возвращена!

Предводитель миролюбцев приказал доставить мешки с провизией в лагерь Маккавеев.

Сперва повстанцы смотрели на доставленные мешки подозрительно, словно опасались, что там может быть какая-то отравка или свинина, или подобная гадость, которая может заставить их преждевременно покинуть этот мир, не дождавшись всех вождельных побед. Миролюбцы, видя нерешительность Маккавеев, совершили кульбит, который никто, включая их самих, от них не ожидал: они снова завладели несколькими мешками и, чтобы доказать их абсолютную безвредность, устроили пиршество, на которое пригласили всех пятерых братьев Маккавеев с женами и детьми. Маккавеев-отца, конечно, пригласили тоже, но он не смог прийти, так как слишком ослабел и готовился к встрече со своим Создателем, которого он все больше одолевал вопросами о предстоящих боях. В нем еще оставалось достаточно внутренней силы, чтобы формулировать вопросы, и терпения, чтобы дожидаться ответов, и, когда он наконец получил ответ на свой вопрос относительно исхода битвы при Нахаль-эль-Харамия, он позвал к себе своего сына Иехуду.

— Извлеки меч из тела Аполлония, — прошептал он.

Аполлоний, правитель Самарии, был первым, кому суждено было пасть в еще не состоявшейся битве, и ответ, который получил Матафия от Создателя, преопределил его конец.

— Владей этим мечом, пока твоя смерть не придет за тобой, — повелел он и добавил: — Владей им достойно, и удача будет сопутствовать тебе.

— Да, отец, — сказал Иехуда, поднося к губам край отцовского одеяния.

Эти слова были последними, которые слышал Матафия из рода Хасмонеев. Хотя в начале битвы его тело еще было живо, дух уже покинул его.

Александрo

Он ведь Профессор и поэтому знает то, что мне, с моим ограниченным умом ручного террориста, знать не полагается. Да не террорист я! — так и подмывает меня сказать, но я держу язык за зубами, так как не хочу, чтобы Профессор подумал, что мой ум ограничен настолько, насколько он считает, и еще я не хочу отказываться от своей мечты о грин-карте, хотя понятия не имею, как он ее для меня добудет по своим так называемым каналам. И что это за каналы? Я хочу задать ему вопрос, но это запретный вопрос, потому что он может прозвучать так, как если бы я в нем сомневался, а сомнение тоже под запретом. Мой Профессор не просто какой-нибудь профессор из тех, что в любом американском колледже пруд пруди. Номинально его специализацией является арабский язык и литература, но на самом деле он профессор в области, которую именует «Сопредельными Идеями», так как, по его словам, все — литература, искусство, политика — смыкается в одно и к одному ведет. «К одному чему?» — хочется мне спросить на моем родном языке, который он так хорошо понимает, но я не решаюсь прервать мыслительный процесс Профессора не только потому, что заранее знаю, что он скажет — все то же самое про незначительную личность вроде меня, неспособную оценить то, что он называет мощью своего интеллекта, — но больше потому, что я опасаясь его гнева, который может выйти за рамки обычного всплеска раздражения без последствий для жалкого бедолаги, его вызвавшего, и который, как он считает, свидетельствует о том, что он гораздо больше, чем просто уче-

ный. На самом деле, по его словам, он — один из тех вершителей судеб и событий, которые стоят за сценой в неприязнительном обличье, но без ведома или прямого участия в принятии решений которых не обходится ни одно событие в мире, достаточно важное, чтобы быть известным человеку с улицы. Вот оно. Опять это определение. Человек с улицы. Ручной террорист. Несчастный изгой, изъясняющийся, несмотря на все свое образование, на ломаном английском, мечтающий о бумажке, известной всем как грин-карта. У него для меня много определений, и он называет меня то так, то этак, и, хотя, насколько я себя знаю, ни одно из этих определений мне не подходит, я не мешаю ему считать, что он знает меня лучше, чем кто бы то ни было. Лучше, чем я сам себя знаю. Но я не хочу раздражать Профессора. Не хочу, чтобы у него возникло подозрение, что меня не переполняет радость, когда меня называют ручным террористом или бравым боевиком, или человеком с улицы. И дело не только в том, что моя грин-карта зависит от его так называемых каналов, но и в том, что бывают моменты, когда он действительно вызывает у меня чувство уважения. Но иногда он говорит о своих коллегах по работе так, что мне начинает казаться, что он сам просто мелкая завистливая сошка. Он называет их кафедральными крысами, мышами на бессрочном контракте, научными ничтожествами и еще как-то, уже не помню. Они крадут его идеи, говорит он, но никогда не дадут ему этот самый бессрочный контракт, потому что в глубине своих мелких душ и куций мозгов знают, чего он стоит, и что для него думать — значит действовать, а не заниматься академической болтовней. Вот отчего они меня боятся, говорит он с таким видом, которого и я бы испугался, если бы не знал, что нужен ему не меньше, чем он мне.

— Ну, теперь, когда ты почитал ее «Хасмонейскую хронику», ты хоть понял, почему ты не должен обмануть ожидания своего народа?

— Но какое отношение все это имеет к моему народу? Эта история не про нас. Это все про *них*.

Профессор потирает свои гладкие щеки и отвечает, что это только кажется, что эта история про них.

Он говорит, что, хотя неискушенный читатель может подумать, что эта так называемая хроника — просто история одной из еврейских царских династий, надо быть уж совсем простаком, чтобы поверить, что больше там ничего нет. Почти все в этом якобы историческом повествовании, продолжает он, является закодированным изложением основных вех конфликта между твоим народом и евреями, и сам факт того, что эта «Хасмоне́йская хроника» уже существует, является большим подарком для твоих врагов, а для меня и всех, кто сочувствует бедственному положению твоего народа... что это значит для нас? Для нас это призыв к действию.

— К какому действию?

— Уж тебе-то не пристало этот вопрос задавать. Я делаю свою часть дела — расшифровываю этот код. А ты должен делать свою, а именно...

Профессор теперь носит свою шляпу Тайного Организатора. Он так к ней привык, что забывает, что это — всего-навсего роль, что он не тот, кем он представляет себя, — Тайный Организатор борьбы с сионистским колониализмом, и я не могу ему сказать, что борьба эта начинается в его голове и там же заканчивается — какая-то игра, в которую он играет сам с собой, со мной, да разве что еще с какими-то добровольными участниками. Когда он играет эту роль Тайного Организатора, я не могу сказать ничего такого, что не укладывается в роль, на которую он меня назначил. Я — его Ручной Террорист, и, если я заартачусь и скажу «нет, никакой я не террорист, я никогда никого не убивал и эту нелепую и опасную роль играть не собираюсь», он найдет кого-нибудь мне на замену — и прощай грин-карта! Я быстро соображаю, что бы ответил опытный террорист, как он закончил бы это повисшее в воздухе предложение моего профессора, и я произношу то слово, которое, как мне кажется, он от меня ждет:

— Убийство.

Он кивает. Я попал в точку. Я только надеюсь, что этот спектакль дальше разговоров не пойдет.

— Я приложил все усилия, чтобы заслать тебя в дом объекта. Ты вошел с ней в ежедневный контакт. У тебя больше опыта, чем

у любого из наших ребят в Нью-Йорке, а значит, ты не попадешь под подозрение, когда найдут тело.

Объект. Тело. Наши ребята. Подозрение. Именно от этих слов я бежал в эту страну.

Профессор говорит, что прекрасно знает, о чем я думаю:

— Ты, конечно, думаешь, что этот закодированный ключ к тому, что они делают с твоим народом, существует только в моем воображении. Я был бы счастлив, если бы ты оказался прав. Милый маляр, — говорит он торжественно, — чтобы убедить тебя, что это не плод моего воображения, я представляю тебе доказательства.

Он раскрывает новый файл под названием «Дешифровка Хасмонейской хроники», и я вижу список пунктов, каждый длиной в две или три строки.

Читаю пункт первый, как и раньше, в машинном переводе на мой родной арабский. Он гласит: «Нехора отсекает у Иехуды большой палец ноги». «Отсекает» — то есть отделяет большой палец от ноги. Имеемся ли в виду *мы* под «большим пальцем», а *они* — под «ногой», или наоборот, смысла не меняет: как большой палец отсекается от ноги, так нас сокрушит вражеская пята, нога или ее большой палец».

Меня неприятно укололо это *мы*. Каким образом он стал одним из нас, хочется мне спросить, и насколько всерьез, он думает, я восприму этот балаган, и зачем ему надо втягивать в это дело Галию?

Я не успеваю дочитать все пункты, так как он быстро сворачивает окно с файлом.

— Ну и как? — спрашивает он, глядя мне в глаза в ожидании восхищения его дешифровальным мастерством.

— Не знаю, — мямлю я, — может, вы и правы, но я не совсем...

— Конечно, ты ничего не увидел! — В его голосе прямо-таки звенит сожаление по поводу полного отсутствия у меня дара литературного сыщика. — Надо хорошо разбираться в литературных приемах, чтобы суметь их обнаружить и правильно интерпретировать.

Он спрашивает меня, не считаю ли я, что он зря проработал много лет литературным редактором одного из крупнейших нью-йоркских издательств, и, когда я ничего не отвечаю, он спрашивает,

хочу ли я читать дальше. Прежде, чем я успеваю ответить «да» или «нет», он снова разворачивает файл, и мне ничего не остается, как прочесть пункт два.

«“Хасмонейская хроника”, глава 2. Сын Матафии Элизээр и Миролюбцы (“эллинизированные евреи”). Закодированное название так называемого израильского лагеря мира, который якобы соглашается вернуть нашу землю; их “миролюбие” и провозглашаемое ими отстаивание наших прав ни в коем случае не следует принимать за чистую монету. Их подлинные намерения следует раскодировать. “Хасмонейская хроника” должна быть прочитана как ключ к их намерениям».

Он говорит: «Ну, что?» — и я опять чувствую, что он хочет, чтобы я сделал комплимент плоду его дешифровального искусства, и это вызывает во мне еще большее чувство неловкости, потому что мне опять нечего сказать. Я не хочу говорить, что мне тоже удалось углядеть некие параллели с конфликтом — например, в речи миролюбца перед Матафией и в ответной речи Матафии, но эта параллель была очевидна, и мне в голову не пришло, что что-то там может быть закодировано.

Он ждет, пока я прочту следующий пункт. «“Хасмонейская хроника”. Главы 1 и 3. Иехудина жена-овца — символ нашего народа и наших стад. Наши овцы паслись там, где сейчас находятся их поселения».

Он следит за тем, как я читаю. Я не знаю, что ему надо, но опять думаю, что он ожидает от меня восторгов, поэтому я говорю «mmm!». Но ему этого мало. Он ждет большего, чем «mmm!», он ждет хвалебных слов, и я понимаю, что, мешкая их произнести, я так же жестоко обманываю его ожидания, как если бы я замешкался с выполнением задания.

— Ну я же не литературный критик, я не могу оценить как профессионал, насколько вы этот код раскрыли.

— Я и не жду от тебя похвалы, мой дорогой маляр. Мой мощный интеллект не нуждается в твоих неквалифицированных комплиментах. Все, что мне от тебя надо, это чтобы ты осознал значительность стоящей перед тобой задачи. Если ты будешь и дальше тянуть,

стройка закончится, а с ней и твоя работа в ее доме. Задание останется невыполненным.

Я собираюсь уходить, и, когда я натягиваю куртку, он говорит:

— Будь готов выполнить свое задание, мой борец за свободу.

Я рад, что он не назвал меня своим ручным террористом. Дверь за мной закрывается, но я успеваю услышать его прощальные слова:

— И помни, это не задание, это миссия.

Галя

Когда он спросил «Галя, зачем писать эту историю и ставить ее онлайн?», я сначала даже не поняла, о чем это он.

— Какую историю?

— Про ваших предков историю, как они давно жили в Палестине.

— Я не пишу про Палестину, Алехандро. Я пишу про Иудею. Палестиной эту землю называли римляне, когда они ее завоевали во II веке нашей эры. История, о которой я пишу, произошла до этого.

— Это показывает ваши намерения.

— Что?

— Что вы пишете. Показывает ваши намерения.

— О чем вы?

— О ваших намерениях.

— Чьи намерения? Мои? Алехандро, я понятия не имею, о чем вы говорите.

— Вы должны иметь понятие. Раз вы это написали. Про женщину, которая отрезала палец ноги Иехуды. Отрезала... отделила палец от ноги. Наш народ — палец, ваш народ — нога. Или мы — нога, а вы — палец. Это одно и то же.

— Откуда вы это взяли? Чушь какая-то.

— Так это правда? Правда, что это значит палец?

— Слушайте, Алехандро, это просто глупость какая-то. Если честно, я не подозревала, что вы способны на такую глупость.

— Но зачем вы про это написали?

— Я про это написала, потому что... ну... это творчество. Понимаете, о чем я?

— Нет, — отвечает он твердо, и мне нравится прямота, с которой он это говорит. И мне становится ясно, почему я его люблю: вот за эту прямоту и люблю. Мне хочется его обнять и громко чмокнуть в щеку.

— О'кей, попробую объяснить. Я даже не знаю, как это сказать, Алехандро. Ну это вроде мне кто-то диктует, а я просто записываю. Как механическая запись под диктовку. Это не то чтобы я решила или задумала что-то писать, это за меня решили. Каждое слово — неожиданность или откровение.

— У вас есть откровение, значит, вы пророк? Пророк Галия?

— Да нет, конечно. Я просто пытаюсь вам объяснить... Я слышу слова, их мне как будто диктуют. За раз по чуть-чуть. То, что мне диктуют, я записываю. Ну, например. Представьте себе, что я пишу... скажем, тот текст про династию древних царей, который навел вас на эти дикие идеи. Представьте себе, что диктовать мне перестали бы на минуту или, может быть, я перестала бы слушать. В результате я бы не знала, как зовут младшего брата Иехуды, который правил после его смерти. Я бы тогда сидела и терпеливо ждала, и вдруг мне было бы продиктовано имя Ионатан. Вот и скажите мне: откуда я все это могла знать до того, как поискала в источниках? Кто мне диктует?

— Это для меня бессмыслица. Бес-смыслица. — Он с напряжением повторил трудное слово, сделав ударение на обеих его частях. — Без смысла, вот так. — И добавил со значением: — Я знаю что-то, чего вы не знаете.

Мне хочется сказать, что он похож на мальчишку, когда говорит это, но я молчу, потому что знаю, что мужчине, который не хочет, чтобы его считали мальчишкой, нужно одно — уважение. Ну, не считая, конечно, того, что мужчинам обычно нужно от женщин.

— Я что-то знаю, — повторяет он угрюмо. — Я стараюсь вас от этого защитить.

Я не спрашиваю его, от чего он старается меня защитить. Мальчишки, мечтающие быть мужчинами, любят выдумывать таин-

ственные истории, в которых они отводят себе роль героя, спасающего девицу от опасности. Но какие бы опасности ни поджидали меня в фантазиях Алехандро, я предпочитаю, чтобы они оттуда не исчезли, потому что, если я отговорю его от роли моего спасителя, он может совсем потерять ко мне интерес. А это совершенно новый интерес, недавно возникший и такой хрупкий, что я боюсь неловким словом его разрушить.

— Если вы прекратите писать про своих предков и выставлять это в Сети, может быть, я смогу помочь вам остаться в живых, — говорит он мрачно.

— Звучит зловеще, Алехандро. Вы знаете такое слово — «зловеще»?

— Нет, Галия, я не знаю слова «зловеще». Я не очень хорошо знаю английский язык. Вы думаете, жизнь — это слова? Жизнь может превратиться в смерть без всяких слов. И вы даже не узнаете, что это сделал я.

— Сделал что?

— Превратил жизнь в смерть.

— Алехандро, если вы хотите меня напугать, попробуйте это сделать как-нибудь пояснее. В любом случае, я не пишу про моих предков. Я вам уже говорила, что именно я пишу. Это вымысел, литература.

— Литература, — отзывается он презрительно. Мгновение размышляет, потом повторяет: — Литература, — и громко фыркает.

* * *

Он отказывается от моих бутербродов и других моих непритязательных угощений. Сидит на ступеньке лестницы со своим кофе, обхватив картонный стакан обеими руками — как бы грея о него руки.

— Вы что, замерзли?— спрашиваю я.

— Нет.

— Вы так стакан держите. Как будто пальцы греете.

Он говорит: «Сейчас сентябрь», словно объясняя мне, как глупо предполагать, что в такую погоду можно хотеть согреться. Я настолько привыкла читать его слова между строк, что, когда он говорит «сентябрь», я пытаюсь догадаться, что он хочет сказать названи-

ем этого месяца. Я уже так запуталась с его молчанием, что, если это молчание продлится еще полминуты, оно меня затянет в себя.

— Чем вы обычно занимались в сентябре в юности? — ничего, кроме этого дурацкого вопроса, мне в голову не приходит.

— Я ухаживал за Марьям, — отвечает он после долгой паузы.

Я ждала, что он ответит «с друзьями гулял», или «в мяч играл», или еще что-нибудь вполне невинное. Мне неприятно слышать это «Марьям»: это наверняка жена. Ранние браки — норма в той части света, откуда он родом.

— Марьям — это кто? — спрашиваю с подозрением.

— Моя овца.

Уф... полетчало. Это не жена. Какая же я дура — ревновать к овце. Я не хочу больше его спрашивать, но он сам нарушает молчание.

— У отца была ферма, — говорит он. — Много овец. Мой брат весь день был с ними.

— Овец, — мягко поправляю его я. — Овца — женского рода. Мужской — баран.

— Овец, да. Сначала я был маленький, потом вырос, и у меня было свое... как это по-вашему?

— Стадо?

— Да, стадо. Десять овец.

— Овец.

— Ну, овец, баранов, это одно и то же. Десять было, и я за ними ухаживал. Один год, два года, все хорошо, каждый баран здоров. Потом одна девочка-баран больная.

— Баран-женщина — это и есть овца.

— То есть как вы — женщина, — улыбается он. — Да, верно. Моя любимая вы-баран, значит овца. Марьям звали. Я ее из рук кормил. Когда я в школе был, мои братья перед ней еду ставили, как перед другими овцами, те ели, а Марьям нет, отворачивалась. Она меня ждала. Прихожу из школы, к Марьям бегу, она ко мне бежит, я ей есть из рук даю. — Он мгновение молчит, потом продолжает: — Даже когда болеет, ко мне бежит. Ей бежать трудно, но она бежит. Раз я из школы пришел, мама говорит: пропала Марьям. Я иду к Марьям, ее нет. Мы всюду искали — в траве везде, в полях везде. Нет Марьям. Потом слы-

шим, сын соседа нашу овцу взял, зарубил и продал мясо и шерсть, чтобы курицу и все такое купить. Мне сосед говорит: хочешь, я за тебя его убью? Я говорю: нет, мою Марьям все равно не вернуть.

— Это было хорошо с вашей стороны — сказать ему, чтобы сына не убивал, — замечаю я.

Александро говорит «угу», и я боюсь, что он мог услышать в моих словах иронию. Мне надо быстро это впечатление исправить и показать ему, что я совершенно не собиралась над ним смеяться.

— Вы эту овцу и вправду любили, — говорю я и, еще не договорив, понимаю, как фальшиво это звучит.

Он отбрасывает в сторону свой картонный стакан, и я спрашиваю его, почему все рабочие бросают эти стаканы прямо на пол в гостиной. Он отвечает, что это неважно, что все уберут, когда будут стелить пол. «Сейчас это все мусор», — говорит он твердо, сопровождая свои слова решительным взмахом рук, затем поворачивается и идет наверх красить стены ванной на втором этаже.

* * *

Я купила не тот строительный раствор, и теперь Александро помогает мне донести три мешка до машины — мне надо опять съездить в магазин стройтоваров, чтобы поменять этот раствор на нужный. Я сообщаю ему, что понятия не имела, что раствор для пола — не то, что для стен. Моя наивность вызывает у него снисходительную улыбку, и я в который раз очарована прямо-таки детской гордостью, с которой он демонстрирует свое превосходство надо мной в строительных материях. Еще мне приходит в голову, что причина его сегодняшнего джентльменского поступка — того, что он помогает мне нести тяжелые мешки — объясняется его готовностью признать, что я для него что-то значу. Я так тронута этим редким проявлением внимания, что, когда я возвращаюсь из магазина и он помогает мне выгрузить новые мешки из машины, я решаюсь попросить его взглянуть на комод, который я крашу, и оценить, как я покрасила верх. Я привожу его к комоду и жду реакции.

— Надо было его сперва отшкурить, — говорит он. — Потому что видите, вот тут? — Он проводит пальцем по покрашенной по-

верхности, чтобы я могла видеть, насколько неровно положена краска. Я замечаю ворсинки от кисти, застрявшие в краске. — Кисть дешевая, — произносит он, презрительно оглядывая мою коллекцию кистей. — Я вам свою дам. О'кей? Я для вас отмою.

Он бежит на задний двор отмывать свою хорошую кисть в корыте с дождевой водой. Я сижу на корточках рядом с ним и макаю мои дешевые кисти в воду. Он полощет свою кисть в воде и рассуждает по поводу белесых кругов, расходящихся от нее: «Акриловая краска на воде. Без растворителя». Я производжу такие же белесые круги.

— Это как яйца для омлета взбалтывать, — говорю я весело, рассчитывая, что он на это улыбнется, но он продолжает полоскать кисть с задумчивым видом.

Я делаю еще один заход:

— *Tina de lavar*, — произношу я испанские слова, которые запомнила с колледжа. Опять никакой реакции. — Это значит «корыто для стирки» по-испански, — просвещаю я его, достаточно долго, по его рассказам, жившего в Мексике, чтобы знать любое слово, которое я судорожно пытаюсь вспомнить со студенческих лет.

— Да, Галия. *Tina de lavar*.

Еще несколько минут этого задумчивого размешивания краски по воде, и я так в нем растворяюсь, что не смогу встать.

— Алехандро, о чем вы думаете?

Он бросает на меня быстрый удивленный взгляд, словно никто прежде не проявлял интереса к его мыслям, и словно сам факт того, что я его об этом спросила, кажется ему выходящим за рамки приличия. Он встает с корточек и трясет кистью с такой силой, что брызги воды разлетаются в разные стороны. Как старательная ученица, я делаю то же самое с моими дешевыми кистями.

— Я вам рассказывал про моего соседа. Знаете, я вас, как это повашему... разыгрывал.

Я не понимаю, про какого соседа он говорит. Может, это он про моего соседа Брэда, которому настолько дома нечего делать, что он считает вправе войти в мой дом в любое время и быть тут часами, делая критические замечания по поводу любой стадии строитель-

ства и отдавая распоряжения рабочим? Когда я как-то раз попросила Брэда удалиться, Том сказал: «Галя, правило номер один: когда идет стройка на такой улице, как ваша, не мешайте маленьким соседским радостям. Лучше иметь тут соседа, который ведет себя как босс, чем иметь его в качестве жалобщика на нарушения, понятно?» Я спрашиваю Алехандро, не Брэда ли он имеет в виду, но он реагирует так, как если бы я его оскорбила, и я извиняюсь, что не поняла, что он говорит про соседа из своего детства, того, что убил Марьям — овцу, которая ела из его, Алехандровых, рук. Но ему мои извинения неинтересны. Он хочет убедиться, что я поняла: история с соседом была розыгрышем. Он повторяет:

— Я просто вас разыгрывал с Ахмедом.

— А Ахмед — это кто?

— Я это рассказал, чтобы увидеть, верите ли вы, как это у вас называется... стереотипам. Которые у вашего народа есть про нас. Вроде того, что мы все пасем скот и выращиваем оливы и ничего не понимаем про такие вещи, как наука и самодисциплина. Или что отец может убить сына ни за что.

— Так у вас и овцы по имени Марьям тоже не было? И соседский сын ее не убивал?

— Марьям была. — Он хмурится, как будто ему до сих пор больно думать об овце. — Но мой сосед Ахмед не говорил, что он за нее сына убьет.

Я хочу спросить: «Ну и как? Прошла я испытание? Вы хотели проверить, разделяю ли я стереотипы, которые “у вашего народа есть про нас”? Так как, подтвердила я ваши ожидания?» Но, стоя рядом с ним во дворе, глядя на белые завитки краски и грязи в *tin de lavar* — стиральном корыте, я теряю дар речи. Я хочу ему и про это сказать, про то, как я теряю дар речи в его присутствии и как я ощущаю в себе поток его мыслей, и как это больно, потому что, хотя я эти мысли ощущаю, я не знаю, о чем они.

— Алехандро, — спрашиваю я тихо, — зачем вы меня смотрели в Сети?

Он стоит, не шевелясь, держа кисть в замершей в воздухе руке, и вид у него такой, будто я застала его на месте преступления. И тут

я понимаю, что все эти пустяки, которые я ему говорила последние несколько дней, неотвратно вели к этому вопросу.

— Я не смотрел, — отвечает он, помолчав.

— Тогда откуда вы узнали, что я пишу про этих еврейских царей?

Он снова стоит молча. Пожимает плечами. Опускает руку с кистью. Открывает рот, хочет что-то сказать, но передумывает. Бежит к дому, сбегает по ступеням в подвал. Я хочу бежать за ним вслед, крикнуть ему: «Я знаю, зачем вы искали меня в Сети!» Но он уже вбежал внутрь. Если я за ним побегу, это будет выглядеть как приставание. Я заставляю себя остаться на месте. Подожду другого раза, чтобы задать ему этот вопрос, и, если он опять убежит, мне придется сделать вывод, что за простым маляром Алехандро таится больше сюрпризов, чем докторская степень по ихтиологии, детство палестинского пастушка и неопределенное количество жен, разбросанных по разным континентам. Мне придется сделать вывод, что этот маляр, который меня игнорирует, удирает от моих вопросов, завидует моим успехам в росписи дверей венецианской штукатуркой и не соблюдает элементарной вежливости, когда я приношу ему кофе и бутерброды, — что этот маляр-ихтиолог-бывший-палестинский-пастушок стал испытывать ко мне жгучий интерес! Именно этот интерес заставляет его думать обо мне, когда он возвращается домой после целого дня игнорирования меня на работе, и именно этот интерес побуждает его не просто найти меня в Интернете — нет, он на самом деле читает многостраничный текст, который я пишу на писательском форуме. Тот факт, что он неправильно понимает характер и цель моих писаний и из-за недостаточного знания английского языка, возможно, не понимает значения многих слов, гораздо менее важен, чем сам факт его интереса ко мне.

Алехандро

Она показывает мне свои кисти, и я говорю ей, что это дерьмо, а не кисти, самая дешевка, а она хохочет на слово «дерьмо», как будто мое произношение так смешно, что нельзя удержаться от смеха. Точно как в тот раз, когда я ей сказал про венецианскую краску, ко-

торой она покрасила дверь ванной, а она побежала всем радостно рассказывать, как я сказал «дерьмо, а не работа». Сегодня я попытался быть с ней любезным. Я сказал: «Я разрешаю вам пользоваться моей кистью». У Тома кисти высшего качества, не то что это барахло, которое она покупает, потому что ничего лучшего не знает. Она согласилась попробовать мою кисть для покраски своей мебели — еще одно дурацкое занятие. Я ей не сказал, что никто не красит мебель красной или фиолетовой краской для стен. Это то, что нормальные люди просто не делают, и я даже обсуждать это не хочу, точка. Я ей показал на неровности в поверхности и сказал: вы должны были сначала ее отшкурить. Но она женщина. Что она может знать про ошкуривание? Я бы это за нее сам сделал, но я работаю на Тома, а он мне не заплатит сверхурочные за ошкуривание ее дурацкого комода. Я ей показал на ворсинки от кисти под слоем краски и сказал: «Вот, возьмите мою качественную кисть», а потом еще подумал и решился на еще более широкий жест. Я сказал: «Ладно, я вам сам ее еще и отмою». Она пошла за мной на задний двор со своими дешевыми кистями и села возле меня. Когда я макал свою кисть в воду, она макала в воду свои. И вот мы так сидим, и я думаю про себя о том, что она все время за мной ходит, и о том, как это мне мешает выполнить задание, потому что, хоть я и не питаю к ней тех чувств, в которых Профессор меня подозревает, я что-то к ней все-таки испытываю, и, что бы это ни было, это мне сильно мешает выполнить мое задание. А выполнить я его обязан. Она что-то говорит по-испански и, когда я не отзываюсь, делает удивленный вид, как будто считает, что я знаю все слова по-испански только потому, что сначала она решила, что я мексиканец, и теперь она насчет меня в полном замешательстве. Она не знает, что я достаточно долго жил в Мексике, чтобы немного выучить испанский, хотя это совсем не значит, что я должен знать все слова этого языка. Например, как будет по-испански «стиральное корыто». Она с гордостью произносит «tina de lavar» так, словно знает что-то, что я не знаю. Такого плохого произношения, как у нее, я давно не слышал. Пока она сидит возле меня на корточках около этого стирального корыта, я думаю о том, как просто было бы ее окунуть головой в воду. Быстро так,

чтобы она даже не страдала. Я как бы слышу голос Профессора: «Не уппусти этот шанс!» Но тут я слышу голос Тома: «Почему мою клиентку нашли мертвой на заднем дворе ее собственного дома и кто окунул ее головой в воду, когда, кроме тебя, там никого не было?» Профессор — мой босс, и Том — мой босс, и эти два босса тянут меня в противоположные стороны. А тут еще и сама Галия. Она встает, когда встаю я, и стряхивает свои кисти, когда я стряхиваю свою, и вообще ведет себя, как доверчивый щенок, который повторяет каждое движение хозяина. Это доверие еще больше затрудняет дело. Я стал похож на тех расслабленных западных мужчин, которые вечно заняты пережевыванием своих переживаний, а когда приходит время действовать, они уже так в этих переживаниях запутываются, что ни на какое действие не способны. Никогда не думал, что такое может случиться со мной. Я уже начинаю жалеть, что рассказал ей про мое детство и про то, как я любил Марьям. Не понимаю даже, как ей удалось это из меня выудить, как она заставила меня все это ей рассказать. Правда, одного я ей не сказал: как эта история с Марьям меня изменила. Она меня сделала жестким, и только много лет спустя я понял: именно после того, что Ахмедов сын сделал с Марьям, и когда я увидел ее шерсть в его руках, я из мальчишки, которым был до тех пор, превратился в того, кто я теперь. С другой стороны, когда я сижу рядом с Галией или стою возле нее и упускаю шанс за шансом выполнить свое задание и свой долг перед Профессором, я, возможно, становлюсь кем-то другим, не тем, кто я есть или кем был. Я изменился настолько, что даже не уверен, смогу ли вообще выполнить ЭТО. И как раз когда мне в голову приходит эта мысль, она пристаёт с вопросом, почему я ее смотрел в Сети. Я отвечаю, что не смотрел, и это правда. Ее «Хронику» показал мне Профессор. Сказать ей, что ли, что мне некогда копать в Сети? Что я слишком занят для такой ерунды? Что, когда я прихожу домой после двенадцатичасового рабочего дня и еще часа в дороге, все, что мне надо, это быстро принять душ и завалиться спать?

Глава 3

Хасмонейская хроника. Глава III

Прошло несколько дней после пира с миротворцами, продемонстрировавшими Маккавеям, что зерно и вся остальная провизия, подаренная им по указанию Божьему, высшего качества, и вот уже еврейское воинство разбило небольшую греко-сирийскую армию при Вади-Харамия. Казалось, предсказанная победа томилась в нетерпении — прямо-таки таилась за ближайшим углом — и пришла в самом начале битвы почти без потерь со стороны Маккавеев. Но теперь уже Маккавеями называли не только пятерых братьев — Иехуду, Ионатана, Элизэра, Шимона и Иоханана Гадди, а целое войско благочестивых евреев, которые наплевали на эдикт Антиоха, предписывающий им поклоняться идолам Олимпа, и не простили потерю целой тысячи женщин, детей и младенцев: сотни из них погибли в трехдневной резне или были проданы в рабство — и все это по повелению того же Антиоха, который отдал на разграбление Иерусалим и чей ставленник Аполлоний пал теперь одним из первых в этом победоносном для евреев сражении. Иехуда вынул меч из мертвой руки, до этого правившей Самарией-Шимроном, и уже ночью, когда изнуренное дневным боем войско спало, он довел лезвие меча до немыслимой остроты, от которой оно засветилось светом победы. Утром он объявил жителям Самарии, что отныне они свободны от языческого ига. Говоря с толпой горожан, он держал меч в поднятой руке, и толпе не надо было объяснять, чей это раньше был меч: все они уже знали, что

безжалостно правивший ими, теперь лежал мертвым. В руке Иехуды меч превратился в нечто большее, чем просто оружие, ибо исполнение одного пророчества — а о предсмертных словах, сказанных Матафией Иехуде, уже знали все — обещало исполнение и других пророчеств, хотя и не с такой легкостью, с какой далась победа при Вади-Харамия. Люди помнили первый вход Иехуды в Храм, когда он своими глазами увидел его осквернение, совершенное руками прихлебателей Антиоха. И теперь, когда Иехуда снова вошел в Храм, народ собрался на праздник. Свиньи рыла и хвосты были из Храма вышвырнуты и унесены далеко за пределы Иерусалима, дабы не осквернить никого из находящихся внутри городских стен. Гости валили толпой, выглядывая свободные места на длинных скамьях во внешнем дворе Храма. Это действительно было особенное событие — день возвращения в Иерусалим и нового освящения Храма.

— Сколько тысяч лет нужно прожить от одного чуда до другого, чтобы увидеть оба? — спросил Иехуда присутствующих.

Он обращался ко всем — саддукеям, фарисеям, и ессеям, и к тем простым душам, что не входили ни в одну из ученых школ, хотя с их помощью он одерживал победу за победой. Именно пыл веры этих простых душ более всего ценился им в сражениях, ибо это были не просто сражения между греками и евреями и даже не просто сражения между смертными — нет, это было сражение между богами греков и Богом евреев, и именно поэтому неизмеримо много значила вера. Такова была речь Иехуды. И, начав произносить ее, Иехуда был ведом высшей силой, как в бою. Сила эта знала, что именно ему надо говорить, и ему не надо было выбирать слова, так как слова сами снисходили на него, точно так, как падают с дерева на землю зрелые плоды; все, что от него требовалось, это подчинить свою волю потоку этой силы, а все остальное делала она сама. Уже потом, когда у него было время все обдумать, он стал сомневаться, действительно ли эти и все последующие слова были подсказаны этой силой. Он заметил, что Ямин, его правая рука, уже не стоит возле него, но, как ни казалось странным отсутствие Ямина, еще более странным было увидеть боковым взглядом некоего человека,

такого же роста, что и Ямин, стоящего в противоположном конце двора, позади скамеек в темном углу у задней стены. Иехуда услышал, как шумная разногласица гостей внезапно сменилась ошеломленным молчанием, как будто на самом деле народ был свидетелем происходящего на его глазах чуда. Он ощутил это чудо всем своим существом — до волосинок на затылке, которые встали дыбом, как намагниченные. Он медленно повернулся, стараясь сохранять достоинство на случай, если окажется, что этот человек — или кто бы это ни был за его спиной — властен не только удивить его, но и вызвать в нем благоговейный ужас. Но, когда он повернулся полностью и увидел три стоящие фигуры, ему уже стало не до того, чтобы соблюдать достоинство.

— Ты мне помешал их разглядеть, — упрекнул он Ямина уже потом, когда двор был убран идумейскими служанками, которым под страхом смерти было запрещено даже упоминать о том, что они видели. — Ты, Ямин, когда стоял, повернувшись к той задней стене, или предавался фантазиям, или тебе пригрезилось что-то в полудреме, но, когда зерно сомнения в тебе стало расти и затуманило твой взор, это все передалось от тебя мне. Поэтому все, что я видел и слышал, было окрашено твоими сомнениями, и теперь я уже не знаю, было ли это на самом деле. Что же мне теперь делать, друг мой Ямин?

— Ты просто огорчен тем, что они явились мне, а не тебе, — ответил Ямин. — Никто не отрицает, что ты, Иехуда Маккавей, великий герой и что ты будешь жить в легендах гораздо дольше, чем во плоти, в то время как я, твой товарищ по оружию, во всех битвах стоявший с тобой плечо к плечу, умру в неизвестности и буду предан забвению моими потомками. Если бы наши праотцы явились тебе, ты нес бы ответственность за любую неточность в рассказе об этом явлении. Наши праотцы с таким же успехом могли выбрать любого другого, такого же ничем не примечательного, как я. Но я близок тебе по образу мыслей и по духу, поэтому они из всех обыкновенных людей выбрали именно меня. И именно благодаря моему благочестию и преданности я увидел их в мерцающем свете, подобном тому, который снизошел на тебя, когда ты встретил свою

будущую вторую жену, простую деревенскую девушку, не ставшую еще ничьей женой.

— Слова твои, Ямин, — заметил Иехуда, — кажутся непочтительными, но я нутром чувствую твою правоту. Ты достаточно меня знаешь, и я вынужден признать правдой то, что ты сказал о моих ощущениях, о моей первой встрече с женой. И хотя это мерцание, соединяющее нас, потускнело, бывают моменты, когда оно возвращается в полной силе, как в былые дни, когда греческий мальчишка-бог, чье имя я предпочитаю не помнить, выбрал нас с Нехорой мишенью для своих стрелковых забав.

Ямин ответил так же тихо, как до этого:

— Я слышал голоса в тишине и понимал, что три наших посетителя разговаривают между собой достаточно громко, чтобы их можно было расслышать, но и достаточно тихо, чтобы услышавший их осознавал, что это сугубо личная беседа, как та, что ведется нами во сне с душой ушедшего близкого, и то, что мне было позволено эту беседу подслушать, свидетельствовало о намерении этих посетительниц сделать тайное явным; этот исключительно полезный прием позволяет выйти за пределы тайного, пожелавшего остаться тайным, без этого людям было бы недоступно Его слово.

Я видел строящийся дом. Несколько рабочих, доделав фундамент и большую часть подвала, ставили теперь перегородки между комнатами на первом этаже. И в этот момент один из наших посетителей, до того стоявший вместе с двумя другими слева в стороне от строительной площадки, подошел к главному строителю и спросил, предназначается ли этот строящийся этаж для него. Начальник строительства ответил: «Нет, ты получишь подвал», на что патриарх воскликнул: «Как! Ты поселяешь меня в яме?» Но начальник строительства объяснил ему, что «яма» — неподходящее слово для приятного помещения, построенного для него, и, когда подвал был закончен, он предложил Аврааму пройтись по нему, на что тот неохотно согласился. «Вот это будет твоя комната, — сказал главный строитель, когда они спустились по нескольким только что выстроенным ступеням. — А это, — продолжил он, сопроводив свои слова широким жестом, приглашающим Авраама чувствовать себя как

дома, — будет комната сотворенного с тобой чуда. В качестве первого из главных чудес оно стало фундаментом нашей веры, что объясняет, почему мы поместили тебя в фундамент здания». «О каком чуде идет речь?» — спросил Авраам ворчливо, как подобает старику, которым он и являлся, в ответ на что начальник строительства тут же напомнил ему: «О том чуде, когда твоего возлюбленного сына, лежащего связанным на вершине горы как жертвенный агнец, отец не предал смерти. О том чуде, когда из твоей руки, воздетой над дрожащим телом отрока, выпал нож. О том чуде, которое стало испытанием твоей веры. Разве ты не видишь, как это чудо повторяется снова и снова?» Начальник строительства указал на середину комнаты, где высилась круглая платформа, напоминающая вершину знаменитой горы, но Авраам только пожал плечами и сказал, что жалеет, что тогда неправильно понял Его повеление и уже приготовился принести в жертву собственного сына — поступок, оставивший незаживаемый шрам в душе бедного Исаака. «Неверное толкование было меньшим чудом, — быстро промолвил начальник строительства, — как видишь, мы отодвинули его в угол». Он показал на то место, которое могло бы быть углом комнаты, если бы она не была совершенно круглой формы. Тут наш почтенный гость выразил желание выйти из комнаты, ибо духота в подвале была невыносимой. Строитель послушался и помог старику вскарабкаться по ступеням, при этом Авраам стонал и жаловался на боль в коленях и спине. Когда он воссоединился со своей маленькой компанией и поведал двум остальным о том, что он только что видел, они тоже выразили желание осмотреть помещение.

Теперь настала очередь Моисея взглянуть на первый этаж с его просторной гостиной, которая была разделена, как объяснил строитель, на десять равных помещений, каждое предназначенное для одной из десяти казней египетских. Увидев в глазах Моисея недоумение, наш проводник наскоро перечислил казни, указывая на каждую кабинку: «Кровь в реках. Жабы. Мошки. Песьи мухи. Морозная язва. Нарывы. Град. Саранча. Тьма. Смерть первенцев». «Ну ты прямо расставил чудеса, подобно скоту в хлеву!» — воскликнул Моисей с яростным негодованием, заставившим строителя задрожать

от страха, что следующее чудо обрушится на него самого. В свое оправдание он ответил, что воистину зданию этому предназначается быть домом чудес, и строится оно в строгом соответствии с особыми инструкциями, полученными от сами-знаете-Кого, так как каждое чудо должно быть передано будущим поколениям «в целостности и сохранности», как сказано в инструкции, но, поскольку помещение ограничено в смысле пространства, а чудес, которые надо уместить на первом этаже, много, им пришлось... сами видите... втиснуть их все сюда. «Это что, мой горящий куст? — возмутился Моисей. — Я поговорю с тем, кто за всем этим стоит». Он вышел из дома и рассказал двум своим спутникам, что он видел, после чего третий из них, знаменитый своей мудростью, сказал, что он сказал, что он не пойдет осматривать предоставленный ему второй этаж, и тоном, не терпящим возражений, известил обескураженного строителя, что он также намерен передать свою часть помещения Маккавеям, ввиду того что ими сотворенное чудо призвано зажигать сердца, тогда как сам он обладает всего лишь мудростью.

— Ты помнишь, Иехуда, — сказал Ямин, — после того, как я мысленно передал эти слова тебе и ты произнес их вслух, собрание пришло в движение. Люди все это выслушали и теперь требовали увидеть своими глазами погруженных в свечение патриархов и дом чудес. Скамьи закрипели, когда мужчины стали потягиваться — упражнение для рук и ног, делать которое перед боем ты сам их научил, так как оно помогает удержаться от произвольных движений, например, от того, чтобы бросаться на противника именно тогда, когда он изготовился укоротить вас на голову или насадить на меч; именно это умение вовремя удержаться творило чудеса, ибо давало нашим бойцам возможность не только сохранить свою жизнь или отнять ее у противников, но еще и взять кого-то из них живьем для того, чтобы заставить его развязать язык. Ты ведь сам любишь повторять, что заставить пленного заговорить важней, чем заставить его навсегда замолчать.

— Это так, — подтвердил Иехуда.

— Но на этот раз, — продолжал Ямин, — скрип скамеек и движение руками и ногами не имели ничего общего с особыми движе-

ниями в бою. Они свидетельствовали только о желании увидеть дом чудес и пройти там, где прошли праотцы — по подвальному этажу, по первому этажу, по второму и по всем пристройкам, — и, когда им было сказано, что Светящиеся явились только одному из собравшихся, причем даже не самому великому Иехуде, а Ямину, они почувствовали себя оскорбленными. Особенно оскорблены были они тем, что в такой день, как сегодня, в особенный день, их просто провели, надули, облапошили. То слабое свечение, которое они видели своими глазами, не приобрело никаких очертаний, и, поскольку они не были в состоянии увидеть ни строящийся дом, ни самих патриархов, они ужасно разволновались. Кто-то закричал «самозванцы!», к нему присоединились и другие голоса, и вскоре громовой рев потряс помещение: «Самозванцы! Все трое! Несите сюда воду, мы их сейчас обольем! Будут знать, как душить нас своим сиянием!» И тут ты, Иехуда, бросился в центр двора, где все еще стояли Светящиеся, которые, казалось, не могли поверить, что эта кощунствующая толпа — потомки того самого народа, который они когда-то вывели из плена, оберегали и просвящали терпеливо и мудро. Нет, это, должно быть, какой-то другой народ, если он не узнает своих праотцев, хотя и светящихся и полупрозрачных, тем не менее вполне реальных. Ты бежал, широко расставив руки, как бы защищая их от толпы, но этот твой жест, по-видимому, выглядел в их глазах скорее угрожающим, чем успокаивающим, ибо их свечение стало тускнеть и вскоре совсем погасло. «Нет! — закричал ты. — Мы все равно ваш народ! Мы ваши прапраправнуки, ваши потомки! Но нам надоели старые байки, мы возделаем новых чудес. Я молю вас (тут ты пал на колени) обратиться к собранию — один из вас или все трое, наполните нашу жизнь новым смыслом, поднимите наш боевой дух и вселите в нас надежду. Скажите же эти слова истины, слова, идущие прямо от Господа. Вдохновляющие слова — вот что нам надо, ибо мы народ, который без вдохновения не может жить». — «Какое еще вдохновение вам нужно, кроме чуда с маслом, которое вскоре произойдет в Храме?» — спросил Авраам. — «Нет, — твердо ответил Моисей, — слова — это не то, что нужно нашему народу, чтобы в его истомленном сознании запечат-

делось новое чудо. Мы должны сотворить знамение, настолько мощное, чтобы оно могло возобновляться каждый год в течение тысячелетий. Чудо это будет называться Ханука, и вот как оно произойдет: сперва пусть они увидят маленький сосуд с маслом, но обязательно запечатанный. После этого мы должны внушить им, что масла больше не осталось нигде. Они должны увидеть своими собственными глазами: ни капли, нигде». На что ты ответил, что нам это будет нетрудно, поскольку они сами видели пустые сосуды, валяющиеся по всему Храму среди мусора. Греки открыли их и вылили все масло, просто чтобы нам напакостить. «И все-таки желательно, чтобы в их сознании отпечаталось, как мало там осталось масла или как мало его было до этого. Чтобы было ясно, что его может хватить не больше, чем на день», — сказал Соломон. — «Вот тебе и чудо», — заметил Авраам. — «Вы не хотите сказать, — спросил ты у них, — не хотите ли вы этим сказать, что все чудеса... э... э... вот так просто делаются?» Вначале тебе казалось, что ты хорошо различаешь, кто есть кто из этой троицы, но теперь, глядя, как один из них передает кувшинчик с маслом другому, а тот — третьему, с огромной седой бородой, ты понял, что оказался свидетелем чего-то большего, чем просто видение, даже большего, чем чудо, — ты видел, как сошлись вместе три разные исторические эпохи, и этим слоям, этим разным эпохам нужно было, чтобы ты что-то сделал для них. Только ты мог это сделать, но тогда ты этого еще не знал. «Возьми это, Иехуда», — сказал один из них, протягивая тебе кувшинчик. «Это Авраам», — передал я тебе мысленно. «Нет, Авраам — вот этот, — сказал праотец, — а я Моисей. Который “горящий куст” и “десять казней египетских”. Надеюсь, ты все их помнишь». «Да знаю я все эти истории», — ответил ты обиженно, как ребенок, которого ругает учитель. «Это не истории, — строго сказал Соломон. — Не легенды!» Ты ответил: «Я не это имел в виду. Это те легенды, из которых рождается народ. Нет народа без своих легенд. И эти легенды — наши». «Ты прав, — сказал тот из них, который раньше представился Моисеем, — вы не были бы народом без этих... нелеганд. Они...» — «Откровения свыше? Божественные послания?» — предположил ты. — «В твоём случае и то и другое, но

также и легенды, — внушительно сказал Авраам. — А теперь прими от меня этот кувшин. Надо, чтобы каждый в этой толпе мог убедиться, как мало у вас тут масла. Когда ты вернешься, нас уже здесь не будет. Теперь ступай к ним». Когда Иехуда повернулся лицом к народу, он увидел, что они оценивают на глаз количество масла в кувшине, и ему стало ясно, что они думают: «Ну на день хватит. Да нет, вряд ли даже на день». Никто из них не мог предугадать, что произойдет дальше: что масла хватит на целых восемь дней, и что этот восьмидневный запас будет возобновляться ежегодно в течение следующих двух тысячелетий, и что свечи и светильники любой возможной формы будут зажигаться по свече в день каждый год целую тысячу лет и еще тысячу лет — и сколько лет еще? И сколько еще будет этих менор? И сколько подарков, даже если считать по одному в день, получают дети будущих тысячелетий? Иехуда подошел к двери, осторожно держа сосуд в руках, и народ молча шел вслед за ним, следуя безмолвному призыву масла, которому только еще предстояло превратиться в чудо, и, когда он выходил наружу, думая о том, что вскоре он окажется в Храме и выльет содержимое кувшинчика в первый же светильник, послышалось громкое бляение, и он увидел, как трое его людей гонят животное наружу. «Упрямая какая!» — прокомментировал один из них, выталкивая овечку за дверь. И именно в этот момент Нехора, его жена, та самая милосердная женщина с кувшином воды, вбежала и чуть не натолкнулась на овцу. «Это она!» — воскликнула Нехора. Но Иехуда был не готов к семейным сценам, тем более к таким, в которых участвовала бы его новая жена и старая, которая, по правде говоря, не выглядела такой уж старой и такой уж безобразной, если не обращать внимания на ее слегка потертую шкурку. Он уже раскрыл рот, чтобы крикнуть «пустите ее!», но вместо слов изо рта его извлеклось нечто похожее на бляение, и, пока его люди с ужасом на него глядели, овечка весело прогарцевала к нему и стала тереться об его бок. Он переложил кувшин в левую руку и запустил пальцы правой в шерсть своей первой жены. Это зрелище не слишком подходило для всеобщего обозрения по ряду причин, одной из которых являлась значимость сегодняшнего события, которое можно было бы

назвать творением истории, или, если угодно, ее воссозданием — прошлым, увиденным сквозь призму будущего, вообще-то явлением весьма необычным. Но что ему было делать, если ему довелось жить в начале, а не в конце цепи событий, когда многое, должствующее совершиться, пока еще не совершилось, и это совершение каким-то образом зависело от него, Иехуды? Тут каждый незначительный жест был значим, любое его движение виделось в историческом свете, и кто он был такой — он, живущий в относительном начале этой цепи событий, — чтобы решить, может ли заминка, вызванная погружением его пальцев в шерсть бывшей жены, как-то отразиться на будущем его народа? И разве он не искал эту свою жену везде, где только можно? Независимо от того, была ли она теперь овцой или нет, существенно было то, что она наконец оказалась рядом со своим мужем, и он не имел права ни торопить ее, ни прогонять, какие бы символы веры ему ни предстояло создать — символы, которые сплотили бы его народ, несмотря на неизбежное предстоящее ему рассеяние во все четыре конца земли. Но разве это всего-навсего то, что внушили ему Светящиеся со слов его верного Ямина? И не по этой ли причине они появились здесь и дали ему это масло, которое оказалось больше чем масло, и даже больше чем чудо, ибо чудеса имеют обыкновение с годами утрачивать свою силу, как, например, утратила силу овечья шерсть его жены? А вот обещание сплотить его соплеменников в единый народ и провести его через столетия рассеяния — нет, это не то что овечья шерсть его бывшей жены! Его рука все еще была в эту шерсть погружена, и он шептал ей ласковые слова, поглаживая ее овечью мордочку, прильнувшую к его бедру. Ладно, история подождет. Народ, вера... все это подождет. В конце концов, она мать его сыновей, и в каком бы виде она к нему ни являлась, каковы бы ни были мотивы ее появления именно в этот момент, а не в какой-либо другой в течение всех этих лет, пока он ее искал, она имела право на его время и нежность. А Нехора стояла рядом и глядела, как ее муж гладит овечку с нежностью, которую сама она получала от него днем, но без страсти, так знакомой ей ночью, и она тоже ощутила прилив нежности к этой несчастной. Тогда она приблизилась

к ним и шепнула овечке в ухо: «Давай немного отойдем. Ты еще к нам придешь. Мы хотим, чтобы ты была с нами. Мы тебя любим». И овечка послушно последовала за ней. Иехуда уже собирался налить по несколько капель масла в каждую из семи лампадок, когда заметил, что сосуд в его руке отражает свет, который не мог исходить от меноры, так как она еще не зажглась. Но свет был виден, это был свет из будущего, и, когда он оглядел стоящих вокруг него, он увидел лица, освещенные этим будущим светом, и ему явилось все, что вытекало из этого момента, все ханукальные молитвы на тысячелетия вперед, все унижения, все изгнания и бойни, но позже он не мог вспомнить подробности, потому что все это пронеслось перед ним слишком быстро, и люди, стоявшие по ту сторону от меноры, все еще произносили слова молитвы, когда видение испарилось, и первые капли масла упали в первую лампаду. И лишь позже, после пяти лет войны, когда Иехуда готовил своих бойцов к битве при Элеасе против двадцати тысяч пеших и двух тысяч конных воинов под предводительством Бакхида — не Никанора, селевкидского полководца, чью армию Иехуда разбил в битве при Адасе, — чудо с маслом снова пришло ему на ум. Он был уверен, что оно повторится, на этот раз оно коснется его бойцов. Число солдат у Бакхида, их вооружение и кони настолько превосходили то, чем располагал он сам, что победу принести могло только чудо. Иехуда взывал к Светящимся, и, так как они не отзывались, он решил завлечь их новыми обещаниями. Но они так и не появлялись, и тогда он подумал, что, возможно, он стал слишком деятельным — качество, необходимое военачальнику, но излишнее для провидца. Про себя он решил, что в те несколько дней, что оставались до битвы, он должен снова стать тем, кем он был, когда Светящиеся говорили с ним — сперва через Ямина, его правую руку, а потом уже безо всяких посредников. Поскольку Ямин был убит в бою через два месяца после переосвящения Храма, рассчитывать на его посредничество было невозможно. Он звал их по имени, он твердил старые молитвы и придумывал новые. Он молил их о знамени, о чем-то, что могло если не дать надежду на победу, то хотя бы подсказать, какой следующий шаг предпринять. Но на его мольбы не

было ответа. Может быть, он им надоел? Может быть, он обращался к ним в тоне, который их отталкивал? Если так, то в каком тоне он должен обращаться к ним? Что тогда было в нем такого, чего не было теперь? Как ему установить связь со Светящимися, чтобы они не только услышали его, но и захотели отозваться и предложить свою помощь, если бы он об этом попросил? А что, если дело в его представлении о них как о Светящихся? Когда и почему он стал их так называть? Он вспомнил: это пришло из видения их через Ямина, его товарища и телохранителя. Они светились и в пиршественном дворе, поэтому то, что он назвал их Светящимися, было просто констатацией факта. Но насколько было фактом то, что он видел их через Ямина? Кто-то из толпы сказал, что они тоже видели некое свечение, но оно было не настолько ярким и постоянным, чтобы усмотреть в нем какие-то узнаваемые очертания. Слабое свечение — вот и все, что они видели. Ему не надо было напоминать себе, что он не только ясно видел их силуэты, но и что они действительно с ним разговаривали, и если он говорил о них как о Светящихся, то только, если хотите, из некой скромности, из почтительности, не позволявшей ему называть их именами, настолько всем известными, что все это могло выглядеть как дурная шутка. «Я видел Авраама, Моисея и Соломона! Праотцы со мной беседовали! Авраам сказал то, Моисей — се, а Соломон пытался их примирить своей знаменитой соломоновой мудростью, а один из них, тот, кого я по ошибке принял за Авраама, дал мне кувшинчик с маслом и, видя, что я обозначился, сообщил мне, что он Моисей, “тот самый, который... десять казней египетских”». Иехуда представил себе, как он говорит: «Моисей дал мне этот кувшинчик!» Это выглядело бы несерьезно, почти по-мальчишески. То, что он называл их Светящимися, было не только знаком уважения, это еще и давало возможность не называть их по именам, слишком хорошо знакомым в его окружении. Глядя на своих бойцов, спящих на земле или в импровизированных палатках, он усмехнулся на слово «окружение». Были ли они его окружением — эти изнуренные, оборванные люди, во сне сжимающие в руках свое примитивное оружие? Его окружение. Он вспомнил детство, игры с братьями около отцовского дома. Матафии уже нет

на свете. Его братья, все четверо, были среди этих спящих людей, обнимающих во сне свое оружие вместо жен. А жены... о них лучше было не думать, не вставать на скользкий путь вожделения, ибо это лишает мужчину сил, а он не может себе этого позволить в ночь перед боем. Светящиеся все-таки услышали его, потому что, хотя сами ему не явились, послали своих эмиссаров. Он услышал слабое шуршание, приглушенный голос, потом еще один, шаги, еще какой-то звук, природу которого он не мог определить, и тут они появились — две его женщины, или, точнее, две его жены: женщина и овца. Они пришли пожелать ему удачи в предстоящей битве и попрощаться, не зная, станет ли это прощание последним. Они легли по обе стороны от него, и, пока он гладил волосы одной и шерсть другой, ему казалось, что он видел это сияние далеко вдали, и оно перемещалось, или ему только так казалось, неравномерно посверкивая как бы в сонном воображении, однако он знал, что это ему не снится. Его жены тоже это знали, и пальцы Нехоры ласкали его волосы, а потом так же нежно погружались в овечью шерсть, соединяя, переплетая волосы и шерсть, словно не ощущая, где кончаются волосы, а где начинается шерсть. Наверное, он на мгновение закрыл глаза, потому что сияние вдруг настолько приблизилось, что казалось прямо висящим прямо над ним, и, несмотря на темноту, он легко узнал Соломона. «Опять обознался, — сказала тень. — Да не Соломон я. Моисей я. Тот самый, который десять казней и десять заповедей». — «Ой, прости, опять ошибся... ты тут один... вот я и подумал... надеюсь, остальные двое в порядке». — «Они в порядке, если не считать погоды. Старость, знаешь. Даже в нашем случае она сказывается». — «А я-то думал, что на этом уровне развития все это уже не имеет значения. Я так рад, что ты пришел. Я молил, молил... ждал, ждал. Мне срочно нужен твой совет». — «И ты его наверняка услышишь, — ответил пророк, светящийся над мужчиной, женщиной и овцой, но видимый только мужчине. — Честно говоря, у меня не было никакого желания сегодня сюда приходить, но те двое прислали меня, так как были обеспокоены. Собственно, мы все трое обеспокоены. Поэтому я и пришел к тебе, несмотря на свои обычные болячки и недомога-

ния, и теперь я тебе повелеваю поднять твоих людей и уходить до начала битвы». — «О нет, этого я сделать не могу», — ответил Иехуда, бессознательно прибегнув к своей всегдашней убежденности в том, что позор трусливого бегства страшнее, чем возможность поражения. Моисей, по-видимому, читал его мысли, так как сказал: «Не возможность, Иехуда. Даже не вероятность. Полная определенность». — «Благодарю тебя за то, что ты пришел, — медленно произнес Иехуда. — И спасибо за совет. Но я ему не последую. Не потому, что мне не хочется тебя слушаться, а потому, что не могу. Бегство для меня невозможно. Бегство несовместимо с моим предназначением». — «Делай, как я говорю, Иехуда. Иначе погибнешь». — «Ну что ж, — ответил Иехуда, лежа с полузакрытыми глазами, — значит, погибну. В таком случае это мой последний сон». «Сна не будет», — тихо сказала Нехора, и он был в очередной раз потрясен щедростью ее любви. Овечка сторожила их, стоя слегка в отдалении, отвернув мордочку от лежащей пары, и, когда мужчина и женщина отдыхали от любовных ласк, овечка ласкала лицо мужчины своим языком, и эта безмолвная ласка вызвала у него, лежащего на земле рядом с Нехорой, улыбку.

Когда он проснулся утром, свечение ушло. Обе жены, женщина и овца, лежали рядом, одна справа, другая слева. Он встал и пошел поднимать своих бойцов, переходя от одного к другому, зовя их на бой с той же уверенностью в победе, что была во всех его прежних призывах к битвам — битвам, вновь и вновь приносившим победу. Никто из его людей не знал того, что знал он, — то ли оттого, что он похоронил это знание глубоко в себе, то ли оттого, что просто отвергал неминуемость поражения, предсказанную Моисеем. Его войско уже было готово двигаться вперед, когда что-то остановило бойцов, идущих в первом ряду, потом во втором и так далее, пока все войско не остановилось совсем.

— Что вы там увидели? — спросил он Ионатана, своего брата и второго после него главнокомандующего. — Если вас парализует зрелище облаков, как мы сможем сражаться?

— Дело не в облаках, Иехуда, и сегодня мы сражаться не будем. Нам было приказано повернуться и уйти, и, как бы мы ни уважали

твои приказы, мы подчинимся этой команде, так как она отдана тем, кто сильнее тебя.

— Что бы вы там ни увидели, вы останетесь здесь, и мы одержим очередную победу.

— Мы не только не одержим победу, но наше поражение будет настолько полным, что мы не оправимся от него несколько лет. Уходи вместе с нами, Иехуда.

— Не могу, — твердо ответил Иехуда. — Хотите уходить, уходите. Я остаюсь.

И они ушли, ведомые мерцающим светом, невидимым Иехуде, ибо чудо свечения приходит только к тем, кто хочет его увидеть, а так как он был настроен против следования их советам, Светящиеся покинули его. Поэтому вполне объяснимо, почему его грудь пронзил вражеский меч в самом начале битвы, которая закончилась сразу, едва только началась, полным поражением, как и было предсказано.

Галя

Александр что-то делает за деревянным забором, который строители поставили перед домом, чтобы зеваки не мешали работать. Я захожу за забор и оказываюсь рядом с ним. Стараюсь не поддаваться накотившему на меня влечению, которое кружит мне голову так, что я чуть не падаю. Ищу подходящие слова, но не нахожу их, потому что ощущение счастья, которое охватывает меня в его присутствии, настолько велико, что разум отключается.

— Галя, — произносит он голосом, дрожащим от эмоций. Затаив дыхание, я жду, чтобы он произнес, наконец, слова, которые позволят мне сказать: да, я тоже, да, да... Он продолжает молча работать, явно борясь с собой. Я хочу, чтобы он произнес это. Хочу это слышать. Это единственное, чего я хочу. И оно приходит, наконец, это признание в любви. — Сколько... — спрашивает он, замолкает, мучает меня своим молчанием, потом бросается головой в омут. — Сколько времени у вас заняло покрасить эту дверь?

— Хм, — говорю я, — один день? Полтора? А что?

— А то, — говорит он уже спокойней, — что у меня сегодня вечерняя работа. Вы знаете.

— Да, я знаю. Вы работаете на этой работе по десять часов в день, потом идете работать еще где-то. По-моему, это слишком. Хоть иногда надо отдыхать.

— Нет. Отдыхать — нет. Я люблю работать. Мы делаем венецианскую штукатурку в большой квартире слишком долго. Уже четыре недели.

— Ой, — говорю я, — я могу помочь! Я могу это быстро сделать! Можно мне прийти вам помочь?

Он так долго обдумывает ответ и с таким серьезным видом, как будто я сделала ему предложение жениться на мне или предложила что-то вообще неприличное, нарушить верность жене или женам — там, дома, где бы этот дом ни находился.

— Это только для мужчин, — говорит он угрюмо.

— Ну и что?

— А вы женщина.

— Да, женщина, но какое это имеет значение? Я умею работать с венецианской штукатуркой. Вы мою дверь видели. Я смогу вам помочь.

— Да. Дверь. Там края. — Он показывает руками, как грубо покрашены края двери.

— Но я все поправила. Вы видели, что я исправила края! Разве вы не видели? И вообще, это был мой первый опыт. Второй будет безупречным.

— Нельзя, чтобы женщина работала вместе с мужчинами.

— Ну пожалуйста, — ною я. — Пожалуйста... я помогу. Я никому мешать не буду.

Я готова делать все, что надо: держать банки с краской, стоять в углу со стаканами кофе, пива, водки, да чего угодно — выполнять любую роль «что прикажете», которую только может играть женщина в компании мужчин, работающих с венецианской штукатуркой, только бы ощущать это прилив сил, который дает мне чувство безумной радости. Я никогда такого не испытывала, во всяком случае, в такой крайней степени. Это как наркотическое опьянение.

Как будто мой мозг пронзил удар молнии и осветил каждую частичку моего существа. Но он уже принял решение. Нет, говорит он твердо. Женщина не должна входить в мужской мир строительства, краски стен и венецианской штукатурки. Даже если она сама положила венецианскую штукатурку на свою дверь. Даже если она правильно замазала края. До верхнего края ей было трудно дотянуться, поэтому она забралась на стул и все-таки с этим справилась. Но главное именно в этом — ей было трудно дотянуться. Она всего лишь женщина, и должна это помнить.

На следующий день я спускаюсь в нижний этаж, надеясь, что он там со своими ведрами с краской и кистями. Сперва я его не замечаю в полутьме, поэтому обхожу мешки с известкой, груды гипсокартона, брусов и труб и наконец обнаруживаю его полулежащим-полусидящим на голом полу. Он сидит босой, вытянув правую ногу, пальцы в крови, а один как будто болтается отдельно, и когда я спрашиваю, что случилось, он отвечает «ничего».

— Это, конечно, ответ настоящего мачо, Алехандро, но я же вижу, что вы поранились. Звонить мне в «скорую», чтобы вас отвезли в неотложное отделение?

— Нет! Скорая помощь — нет! — кричит он с яростью, так завожившей меня при первой встрече.

— Но у вас же палец ноги висит отдельно. Наверное, он сломан. Вам сделают рентген и наложат гипс.

— Клейкая лента, — пробормотал он, — есть у вас?

— Какая клейкая лента? Вы имеете в виду лейкопластырь?

— Да, лейкопластырь. И воды. И полотенце. Бумажное полотенце.

— Этого мало, Алехандро. Надо, чтобы вас посмотрел врач.

— Страховки — нет. Доктор — нет.

— Если вы пойдете в неотложное отделение, они вам помогут в любом случае. Бесплатно. А если надо будет заплатить, я заплачу. Ну, хоть один раз!

— Нет! Женщина платить за мужчину не должна! — проревел он. Я заметила, что его английский становится хуже от стресса. —

Нет — неотложному отделению! Сильный мужчина в больницу — нет! Лейкопластырь и воды!

— Да-да, минуточку, — согласилась я кротко и побежала наверх.

Вернувшись, я тщательно промыла его ногу водой, обсушила, осторожно прикладывая к ней бумажное полотенце, и сказала ему, что, когда кровотечение прекратится, а это раньше или позже произойдет, постараюсь сделать для него самодельную шину. Я боялась, что он откажется, как отказался от больницы и врача, но он сразу согласился и даже добавил, что мы изготовим шину вместе: он умеет это хорошо делать. Велел мне принести побольше бумажных полотенец, целый рулон или два, и ведро гипсовой пасты со «склада», как он называет место, расчищенное от строительного мусора, в котором Том хранит столько банок и ведер, что я долго возилась, читая на всех них наклейки. Когда наконец нашла то, что нужно, и сообщила ему, что мне это тяжело поднять и принести, он ответил, что достаточно просто открыть ведро и набрать несколько ложек в банку. Я принесла ему банку гипсовой пасты, он стал макать туда бумажные полотенца, слепил нечто похожее на небольшой лук, подложил эту штуку под больной палец и придал ей нужную форму и размер.

— Смотрите, Галия, мы сделали шину.

— Это даже лучше, чем просто шина, — заметила я. На самом деле я имела в виду, что восхищаюсь его мастерством и что он вполне мог бы работать в неотложном отделении больницы мастером по изготовлению настоящих гипсов вместо того, чтобы красить стены для Томовых клиентов, но побоялась его реакции на слово «неотложное» и промолчала.

* * *

Мне не надо даже прислушиваться к его шагам или выглядывать в окно, чтобы знать, что он выходит из дома или входит, или работает в малой спальне на третьем этаже. Я всегда знаю, где он. Мне не надо смотреть на часы, чтобы удостовериться, что сейчас ровно пять и он уходит из моего дома, который для него всего лишь место работы. Это происходит каждый день, но этому надо положить конец.

Он уже на полпути к станции метро, и пешком или даже бегом мне его не догнать. Поэтому я сажусь в машину и еду за ним, пока не замечаю, как он шагает впереди меня. Он занят разговором по мобильному телефону. Я замедляю ход. Я кричу «Александро!». Он замечает меня, выключает телефон и подходит к машине.

— Я ехала в магазин, — вру я, чтобы сохранить лицо, — и вдруг вас увидела. Как вы идете. И по телефону разговариваете. Ну, я и подумала, может, вас подбросить до сабвея.

Он садится в машину.

— Я сегодня не еду в Манхэттен, — сообщает он. — Я еду домой.

— Значит, сегодня не будет венецианской штукатурки? — спрашиваю я, стараясь звучать как можно небрежней и легкомысленней, делая вид, что ничуть не обижена на него за то, что он не берет меня с собой на эту работу с венецианской штукатуркой, но легкомысленность и небрежность у меня плохо получаются, и вопрос звучит весьма серьезно и иронично, как будто я на самом деле смертельно на него за это обижена.

Он спрашивает, куда я сейчас еду, и я говорю: «Я вас подброшу до дома, у меня есть время, могу вас подвести, чтоб вы на билет в метро сэкономили». Я так нервничаю, что веду машину еще хуже, чем обычно. Машина делает судорожные рывки, как будто собирается вырвать, и я только надеюсь, что она вырвет не нами, когда ей совсем приспичит. Чтобы дать ему почувствовать себя мачо, а не просто пассажиром в дергающемся туда-сюда автомобиле, я говорю ему, что я неопытный водитель и не будет ли он так любезен помочь мне ориентироваться в улочках, по которым надо ехать. Он командует «в правый ряд... в левый ряд», и мои пальцы, вцепившиеся в руль, подрагивают — еще и потому, что дома, за несколько секунд до того, как вскочить в машину, я успела залить в себя стакан красного вина для храбрости, необходимой, чтобы гоняться за этим маляром, убегаящим от меня каждый день ровно в пять часов.

Его указания настолько лишены каких-либо человеческих эмоций, что они с таким же успехом могли бы исходить из навигатора. Я пытаюсь его разговорить. Стараюсь придумать тему, которая мо-

жет его заинтересовать, но все темы, приходящие мне в голову, связаны со строительством, а что я знаю про строительство, кроме того, что вижу в своем доме? Эта мысль оказывается кстати и подает идею для следующего вопроса:

— Как называется то, что вы сегодня делали вместе с Марексом и Эрнесто?

— Что?

— Ну когда вы перегородки ставили, такая зеленая штукавина, по виду как светло-зеленого цвета доска — я забыла название, как она называется?

— Обсерная известь?

— Точно! Только «озерная», — поправляю я. — С «з», как в слове «озеро». Так как вы это произнесли — с «с» — вызывает совсем другие ассоциации.

— А-а, да?

— Ага.

На этом разговор кончается. Я ломаю голову в поисках еще какой-нибудь темы. На его помощь рассчитывать не приходится, но молчание тем временем становится настолько гнетущим, что даже он чувствует необходимость его прервать.

— Вы сегодня дома, — говорит он.

— Да. Сегодня День Колумба.

— День Колумба...

— Да. Американский праздник.

— Вы празднуете День Колумба? — спрашивает он недоверчиво.

— Лично я нет. Но учебные заведения закрыты. Поэтому я осталась дома. День отдыха. Отдыхаю и пишу.

На это он ничего не говорит. Некоторое время от него не исходит указаний типа «в правый ряд, в левый ряд», и тишина опять становится гнетущей. Мне надо придумать, что бы еще сказать, но ничего, кроме старого доброго Колумбова дня, в голову не лезет.

— Интересно, что об этом дне думают индейцы, — говорю я. — Сомневаюсь, что для них это радостный праздник.

Пока приступаю к поискам новой темы, он сам неожиданно прерывает очередную затянувшуюся паузу:

— Может, их школы тоже закрыты и они празднуют, как вы. День их отдыха.

— Может, и так. Я вообще-то это в шутку сказала. Имея в виду, что то, как я к чему-то отношусь, не значит, что и другие к этому так же относятся. Понимаете, приходится считаться с индивидуальными особенностями разных людей. Вас, например.

Я многозначительно умолкаю, надеясь возбудить его интерес.

Но то ли он эти мои трюки видит насквозь, то ли он гораздо более толстокож, чем я о нем думаю. Несколько минут проходят в тишине. Когда мне кажется, что он полностью забыл, что я сказала, он вдруг спрашивает: «Меня?»

— Ну да. Вот вы, например, любите работать. Сами говорите. Поэтому вместо того, чтобы идти домой отдыхать после десятичасового рабочего дня, вы едете на ночную работу. Вам нравится работать по пятнадцать-шестнадцать часов в день.

— Ночная работа кончилась. Рецессия, у людей денег нет, работы для меня нет, — жалуется он.

— О Алехандро, — восклицаю я, движимая чем-то вроде материнской любви, — я вам дам работу!

За всеми этими разговорами стоит что-то еще, и я остро ощущаю этот подтекст, в котором каждое мало что значащее слово приобретает глубокое значение и в котором моя непоколебимая уверенность в его чувствах ко мне делает все свидетельства об обратном совершенно ничего не значащими. Мне хочется сказать ему, что то, что мы чувствуем друг к другу, больше, чем простое влечение. Что мы знаем друг друга всю нашу жизнь и даже дольше, чем всю жизнь. Если он палестинец, разве нельзя себе представить, что когда-то его предки и мои предки были одним народом? А что, если эта наша любовь — зов предков? И пусть сейчас кажется, что этот зов слышен только мне, я уверена, что в какой-то момент он его тоже услышит.

И, когда он говорит «поверните на Стейнвей», я думаю о том, как его безразличная интонация может ввести в заблуждение кого угодно, даже меня, относительно чувств, которые он якобы совсем не питает ко мне.

Мне представляется, как его тень наклонится к моей перед тем, как он выйдет из машины, как его лицо приблизится к моему, и я думаю о том, сколько смысла это внесет в нашу жизнь и вообще в мир.

Я останавливаю машину. Он сидит одно мгновение молча, потом открывает правую дверь, вылезает из машины и уходит, не произнеся ни слова.

Как бы он ни пытался скрыть свои чувства, это пустой номер. От меня ничего не скроешь.

Александро

— Ты не исполнил свой долг, — говорит Профессор. — Великая миссия, которая была возложена на твои плечи, — что с ней произошло?

Она стала обузой, хочу я сказать, но сдерживаюсь, потому что у меня все еще остается какая-то надежда получить грин-карту, и еще потому, что, когда Профессор надевает шляпу Тайного Организатора, ему от меня не нужно слов — ему от меня нужно послушание.

— Она не только ходит целая и невредимая, не только продолжает выставлять в Интернете все новые главы этой истории своих предков и налаживать связи со своими хасмонейскими родственниками с целью восстановления еврейского царства с наилучшими перспективами для евреев и наихудшими для твоего народа... она не только жива-здорова. Она еще и влюблена... и в кого? В тебя!

Я бы хотел оправдаться или тем, что не согласен, что она в меня влюблена, или тем, что если и влюблена, то я тут не при чем. Ну есть такие женщины — они выбирают мужчину, который им нравится, независимо от того, разделяет он их чувства или нет. В моем случае нет. Определенно нет. Я красил у нее стены, и она в меня влюбилась.

— Но почему она выбрала именно тебя? Из всех мужчин, работающих в ее доме во время стройки... почему тебя?

— Я откуда знаю? Женское сердце... — Помню, есть об этом какая-то поговорка, но точных слов не могу вспомнить.

— Возможно, она почувствовала, почему ты там оказался. Что твоя малярная деятельность только прикрытие, а подлинная цель какая-то другая. Она не знает, какая именно, но чувствует, что это как-то касается ее. Она сбита с толку. Она принимает это предчувствие смерти за любовь. Она из тех сбитых с толку женщин, которых так много на Западе. В твоей культуре таких не бывает. Вы оберегаете своих женщин не только для себя, как ошибочно считают на Западе, но и ради их собственного внутреннего покоя. Если бы я был не в курсе насчет ее планов мирового господства посредством ее хасмонейского наследия, я бы даже эту женщину пожалел. Она настолько выбита из колеи, что порой я чувствую, что мне хочется привлечь ее на нашу сторону, чтобы ее защитить. Но в складывающейся ситуации единственный способ ее успокоить в твоих руках. Ты знаешь поговорку: вырви у змеи жало, отрубив ей голову... Как это там дальше насчет змеи с отрубленной головой? Чем эта поговорка кончается? А кончается она, друг мой, хорошо для тех, кто не хочет быть ужаленным. Вот из-за чего она сбита с толку: смерть, любовь. На, почитай. Мы это на прошлой неделе перехватили.

Мне между делом любопытно, кто такие эти «мы». Мне это словечко сильно не нравится. Оно напоминает мне о тех крутых ребятах, с которыми я порвал. Думал, навсегда, но, похоже, был неправ. Может, вообще навсегда от них не отделаешься: раз попал, попал навсегда, обратно ходу нет. Это еще одно одолжение, о котором я хочу его попросить: снять меня с крючка этих ребят, которых мы оба знаем. Это для меня не менее важно, чем грин-карта. Но тут он вручает мне распечатку, и у меня нет возможности ее не взять.

То, что это написала женщина, якобы в меня влюбленная, еще не значит, что мне хочется это читать. Там встречаются слова, которых я не понимаю, вроде «ГУЛАГ» или «Треблинка», хотя, конечно, я могу попросить у Профессора, чтобы он дал мне словарь или сам мне эти слова объяснил. Сегодня он так вошел в эту свою роль, что я уже не понимаю, кто я для него теперь. Похоже, что я сегодня не только маляр и нелегал, которому отчаянно нужна грин-карта, но еще и персонаж, не справившийся со своей ролью киллера и тем самым опозоривший себя в глазах Профессора. Еще больше я опозо-

рился тем, что влюбил в себя объект операции. Тот факт, что я вызвал ее любовный интерес против своей воли, Профессора в его роли Тайного Организатора не интересует; другой факт — что я не воспользовался ее влюбленностью — тоже не является в его глазах достаточным доказательством моей невинности. И раз я предмет ее страсти, я обязан читать все, что она пишет. А обнаружить мою маленькую слабость, про которую он вообще-то давно знает — что я по-английски читаю неважно, хоть когда-то и читал научные работы, но научные работы ведь не обычное чтение, да и давно это было, — значило бы еще больше упасть в его глазах.

Я читаю:

«Я так занята мыслями об Александро, что забываю постить завершенные главы моей “Хроники” на странице писательского форума, и только когда я получила от неизвестного мне адресата взволнованный меня отклик, вспомнила, что люди читают мои тексты и, возможно, кто-то неправильно их понимает, как Александро с его бредовой идеей, что в них закодированы намерения Израиля относительно палестинцев и что моя цель — вернуть себе трон Иудеи, на который у меня не только есть право по рождению, но и конкретные доказательства, это подтверждающие. Но это все не имеет значения, так как я уже сказала ему, что это все бред, что мне никогда в голову не приходило претендовать ни на какой трон и что я пишу “Хасмонейскую хронику” только потому, что некий голос у меня в голове мне ее как бы диктует. То есть некоторым образом не я пишу эту хронику, а она сама себя пишет. А отклик, о котором я упомянула, пришел от какого-то незнакомца под ником Пен+, причем я уверена, что это мужчина, хотя по нику пользователя пол не определишь, если только вы не из тех, кто склонен считать знак + признаком мужественности. Вот что написал этот Пен+: “Я не могу понять, почему отрезанный палец ноги обязательно появляется в каждом поколении. И почему именно палец ноги? Это некая реликвия или это образ? Если вам нужен какой-то символ, чтобы показать преимущество поколений, что-то повторяющееся из века в век, выберите что-нибудь не такое грубое. Что-нибудь более осмысленное. Например, рукопись. Послание, в котором избранный

представитель каждого поколения последовательно записывает главные события его или своей жизни, а затем передает этот манускрипт кому-нибудь в следующем поколении, и так далее — от древности до наших дней. Я не представляю, как вам удастся довести этот номер с отрезанием пальца ноги до хасмонеевского потомка, умирающего от холода и голода в ГУЛАГе или погибающего от кэзэбэшной пули в подвалах Лубянки, либо от нацистской пули в Бабьем Яру, либо в газовой камере в Трешлинке”.

Я ответила “спасибо за отклик” и больше ничего от Пена+ не получила».

— Ну, ты все? — спрашивает Профессор нетерпеливо. Я возвращаю ему распечатку и собираюсь спросить «Ну и что тут такого?». Он машет распечаткой в воздухе, кладет ее на стол и тычет в нее большим пальцем.

— Она сама в этом призналась, — говорит он. — Она настолько уверена в успехе, что даже не удосуживается скрывать свои намерения. Вот, смотри: «в них закодированы намерения Израиля относительно палестинцев и моя цель — вернуть себе трон Иудеи, на который у меня не только есть право по рождению, но и конкретные доказательства, это подтверждающие». Она об этом говорит совершенно прямо: ее цель — вернуть себе трон Иудеи. У нее есть не только право по рождению, но и конкретные доказательства, это подтверждающие. А потом она пишет о голосе в своей голове, который диктует ей ее писания. Ты знаешь, что значит такое слышание голосов: это значит, что от нее можно ожидать чего угодно. Пока ты тратил драгоценное время на то, чтобы ее в себя влюбить, она разрабатывала план взятия Иерусалима. Ты не должен больше тянуть время, друг мой. Да, я все еще считаю тебя своим другом, даже после того, как ты не выполнил свой долг перед твоим народом и перед мной. Учти: вступая в связь с этой женщиной, ты теряешь шанс на ее ликвидацию. Ты даешь ей возможность продолжать осуществлять ее план, а мы не можем этого допустить.

Ни в какой я с ней не в связи, хочу я сказать. Я успешно противостояю ее обаянию, кстати сказать, немало. Я намеревался выполнить свое задание, но долг перед Профессором вошел в конфликт

с моим долгом по отношению к моему боссу. Вряд ли Том будет рад узнать, что я угрожал его клиентку, которая исправно выписывала ему чеки за каждую стадию строительства, и вместо того чтобы красить ей стены в матовый глянец или в бледно-желтый цвет, забрызгал эти стены ее кровью. Но я хорошо знаю, что бывает, когда Профессор надевает шляпу Тайного Организатора, и что могу ему сказать, а что должен держать при себе.

Он хочет, чтобы я что-нибудь сказал. Он хочет, чтобы я назвал ему точную дату и время.

Мне необходимо моментально выдать ответ.

— В начале нашего разговора вы сказали интересную вещь. Вы сказали: «порой я чувствую, что мне хочется привлечь ее на нашу сторону, чтобы ее защитить». Вы что имели в виду? Что значит «привлечь ее на нашу сторону»? Вы имели в виду, что, если она откажется от своих хасмонейских амбиций и обратится в ислам, вы ее примете?

— Этого никогда не будет, — говорит он уверенно.

— То есть никогда не будет, что вы ее примете?

— Этого никогда не будет потому, что потомку еврейских царей даже в голову не придет обратиться в ислам. Поэтому это совершенно пустой разговор, бессмысленная болтовня, а я жду от тебя действия.

— Но что, если она все-таки... если она согласится перейти... стать одной из нас, если она произнесет шахаду... вы освободите меня от этого задания? Вы сможете ее вычеркнуть из списка целевых объектов?

— Повторяю, это совершенно бессмысленный разговор. Объект никогда не пойдет на переход в ислам, да хоть через тысячу лет. И уж точно не царица Израиля.

— Ну а вдруг? А что, если перейдет?

— Тогда она будет прощена, — милостиво соглашается Профессор. — Тогда я вычеркну ее из списка целевых объектов и освобожу тебя от этого задания.

Глава 4

Хасмонейская хроника. Глава IV

Вот что произошло после смерти Иехуды: грек Бакхид, селевкидский военачальник, ранее разбивший армию Иехуды при Эласе, был сам разбит Ионатаном, Иехудиным братом, после осады Бетбаси, города, укрепленного Маккавеями по последнему слову военного искусства, вследствие чего осада эта, ничего не прибавив грекам, принесла еще одну победу евреям. Мало того, что Бакхид дал клятву никогда больше не выступать против Маккавеев, пообещав вывести свою армию из земли Израиля, он еще и свою клятву удивительным образом сдержал, после чего «меч войны покинул Израиль», как гласит Первая Книга Маккавеев.

Сам Ионатан не был рожден воином. Он хотел мира, причем не только с Бакхидом, который охотно принял Ионатаново предложение, но и со своей возлюбленной женой, которая, вопреки всем ожиданиям и несмотря на свое антиэллинское воспитание, решила отдаться одному из эллинских богов, причем не любому, а Аполлону. Ионатан жену свою знал достаточно, чтобы понимать, что ей нужно больше всего на свете: поэтесса она была, и больше всего на свете ей нужно было вдохновение, а снизить оно на нее могло только через мужчину, который бы ее любил; но хотя Ионатан ее любил, с вдохновением он был незнаком, и потому оно не могло на нее снизить через него; а у Аполлона его было вдоволь, и он обещал ей дать его в обмен за любовь.

Ионатан отказывался даже думать об этом. Все его существо противилось полусознательным попыткам вообразить свою Едиду в объятиях грека. Для него он был греком, даже если он был богом. Принадлежность его к грекам умаляла его в глазах Ионатана, а представление о нем как о божестве означало бы признание за Аполлоном некой силы, которой сам Ионатан не обладал. Нет, богом он его назвать не мог. Бог был только один-единственный — Бог Авраама, Исаака и Иакова. Где были эти Светящиеся, которые являлись его брату Иехуде? Если они явились Иехуде, не могли ли бы они явиться и ему, Ионатану? Разве он не заслужил их участия? Или, быть может, страдания, причиненные женщиной, они и за страдания не считали?

А Едида, его жена, ничего нового на самом деле не изобретала. Она всего-навсего следовала путем, по которому другие уже прошли, и среди этих других была Нехора, Иехудина вдова, женщина с кувшином — та самая Нехора, кого Иехуда, который мог иметь любую молодую женщину, какую ни пожелает, выбрал в качестве своей второй жены, ибо его первая... ну, мы знаем, что с ней произошло, и не будем больше о грустном. По кривой дорожке Нехора пошла как раз на похоронах Иехуды, и в то время, как остальные Маккавеи, собравшиеся вокруг семейной усыпальницы в Модине, молча наблюдали, как Иехудино тело укладывали в предназначенную ему нишу, а покров над ним поправляли заботливые руки Ионатана, Нехора слегка повернула голову налево. Это легкое движение никто не заметил. Никто не обратил внимание на то, что ее взгляд более не был прикован к Иехудиному телу, а следовал за некой тенью вдали, и эта тень не была похожа на человеческую. Нехора сделала шаг в направлении движущейся тени, потом еще шаг и еще, и никто этого не замечал. Они были так сосредоточены на том, что происходит с Иехудой, что она подумала: неужели только я понимаю, что не происходит ничего? Ведь все уже произошло — Иехуда умер, и их любовь, какой бы великой она ни была, осталась в прошлом, кончилась, а тень, движущаяся вдали, была живой. Тень продолжала перемещаться, все более удаляясь, и Нехора тоже стала двигаться вслед за ней, по направлению к ней, дальше в сторону от

людей, все ближе и ближе к этой тени — тени животного. В какой-то момент Едида, жена Ионатана и подруга Нехоры, резко повернулась в сторону удаляющейся фигуры, но она была не в состоянии поверить, что Нехора на самом деле способна на такое — уйти в разгар погребения мужа, поэтому она только изумленно моргнула, подумав, что это кто-то другой, наверное, даже не женщина, вероятно, мужчина, кто-то из Иехудиных бойцов, так как ничего особенно женского в этом далеком силуэте не было. Когда Нехора отошла на достаточное расстояние, тень остановилась. Нехора теперь ясно разглядела отбрасывающего тень. Осел. Но не просто осел. В этом осле была какая-то особая грация. В том, как он двигался. В том, как поворачивал голову, раздувая и снова сдувая ноздри. Он не был похож на животное. Он стоял как принц. Вот слово, которое она искала. Теперь, когда она это слово нашла, она не даст ему уйти. Принц. Юноша. Будущий царь. Самый прекрасный мужчина, которого она когда-либо видела, хотя всего-навсего осел. Ее словно околдовали. Она была ошеломлена, ослеплена, зачарована. Когда осел двинулся дальше, она последовала за ним. Наконец животное остановилось пощипать траву, и, по своему опыту со скотиной, она знала, сколько времени это займет. Осел наклонил голову, отщипнул пучок травы, пожевал, поднял голову, опять наклонился и опять пожевал траву. Она стояла и смотрела, затаив дыхание. Она была не просто зачарована — прикована к месту. Осел сделал несколько шагов по направлению к ней, и она позвала его ласково, как обычно это делала с домашней скотиной. Животные хорошо понимали, что значат эти звуки: подойди поближе, не бойся, я к тебе хорошо отношусь, не причиню тебе вреда, только хочу тебя погладить.

К тому моменту, когда Нехора возложила руки на животное, она уже потеряла чувство реальности: она сидела на осле верхом, и он быстро удалялся вместе с ней, и чем дальше она сидела у него на спине, тем сильнее становилось ощущение комфорта и радости, как будто это был не хребет домашней скотины, а роскошное кресло, ножки которого имели форму копыт, вроде того, в котором Иехуда, ее покойный муж, сиживал, отдыхая после побед над греками в Бет-Хороне и Эммаусе, как бы награждая себя за тяжелый труд войны.

Осел остановился. Она продолжала сидеть на нем верхом. Она не понимала, что он от нее ждет. Что она останется сидеть? Спрыгнет с него? Она чувствовала, что животное обладает не только разумом, но и волей. И именно его волю, в большей степени, чем разум, она ощутила в самой глубине своего естества — там, куда даже Иехуда не смог проникнуть за многие проведенные вместе ночи. Это уже был никакой не осел, это был бог, и он шептал ей в ухо свое имя, тихо овладевая ею на траве, там, где он только что стоял в виде животного. Не это ли она предчувствовала с того самого момента, когда краем глаза заметила ослиную тень вдаль и сделала первый роковой шаг в сторону от Иехудиной могилы? Она, не осознавая, уже тогда предчувствовала, что это произойдет именно так: она будет лежать на траве с мужчиной — с богом, как он себя представил, хотя она все-таки думала о нем как о мужчине, — раскрытая ему до самой глубины своего естества, с такой готовностью, которой у нее никогда не было для Иехуды, а ведь Иехуду она любила, а этого мужчину нет. Когда она попыталась найти название для того чувства, которое он у нее вызывал, ей пришло на ум только «послушание его воле», а потом она уже не могла ни о чем думать, потому что он продолжал овладевать ею, и она на время потеряла не только дар речи, но и способность думать.

Когда все было кончено, ей вспомнились истории, в которых Зевс овладевал смертными женщинами. Особенно одна такая история про деву и быка, про то, как эта дева оказалась на спине животного и переплыла с ним море... а потом произошло то же, что с ней, Нехорой: конечно, об этой истории, как и обо всех подобных историях о похотливых богах, было запрещено упоминать в ее семье, отвергающей все, связанное с греками. А зря, подумалось ей, ибо если бы она лучше знала эти истории, в ней бы могла развиться сопротивляемость, она смогла бы распознать Зевса в ослиной тени и найти в себе силы не последовать за ним... А теперь он лежал рядом, глядя на нее из-под ниспадающих на глаза волос, — хотя, кто знает, волосы это были или шерсть.

Пора было возвращаться, но она не могла заставить себя подняться. Пора было пойти и слушать, как Ионатан и все остальное се-

мейство объявят ее изменницей или, еще хуже, шлюхой, а если и этого им покажется мало, то и храмовой проституткой — разве не так назывались эти непристойные женщины, которые совокуплялись с языческими богами? Но она ведь ничего такого не сделала. Он совокупился с ней, а не она с ним. Возможно, именно это они и имели в виду, произнося эти ужасные слова — «храмовая проститутка», и, может быть, она именно ею и стала, несмотря на то что никакого храма в пределах видимости не было, ничего, кроме травы, цветов и маленьких одиноких кустиков. И тут новая мысль посетила ее, еще более странная, чем все предыдущие, что приходили ей в голову, и даже более странная, чем все, что с ней произошло за последние полчаса: а что, если это и был его храм? Под этим она подразумевала поле, траву, цветы и разбросанные по полю одинокие кустики, едва подымающиеся над травой, — то, что все это были владения осла. Нет, не осла, а Зевса. Что за мерзкая мысль пришла в голову! Еще более мерзкая, чем все остальные, а видит Всевышний, и те уже были достаточно отталкивающими. Не та мысль, что осел может оказаться Зевсом, а то, что все это поле со всем, что на нем есть, — его храм, так же, как все творение — храм Божий, храм Того, кто и есть истинный Бог, а не какой-то осел, принявший человеческий облик только для того, чтобы совершить акт насилия.

Был даже некий знак отличия в том, чтобы попасть в избранный круг женщин, подвергнувшихся насилию со стороны царя языческих богов, который в свободное от этого занятия время обретается, как говорят, на вершине то ли Олимпы, то ли Олимпа, она не могла вспомнить точное название этой горы в Греции.

Он полулежал рядом с ней, мужчина в расцвете сил, лет около сорока пяти, точнее она не могла сказать, хотя славилась своим умением угадывать возраст мужчин, приводя в смущение тех из них, кто хотел выглядеть моложе и кого она своим безжалостным чутьем возвращала в их действительный возраст, вынуждая этим гостей Иехудиного дома объявлять свой возраст прямо с порога (я, такой-то, сорока двух лет!), опасаясь, что, если они его скроют, то будут заклеены как обманщики. Угадывание возраста был ее особый дар.

— Твой муж, — сказал Зевс, поудобнее устраиваясь на траве возле нее, — войдет в историю как правитель, скинувший иго Селевкидов, и за это его свершение дети, рожденные через две тысячи лет от теперешнего времени, будут знать его имя и его дела, а это значит, что ты была замужем за великим смертным.

— Ты говоришь о моем муже Иехуде?

— А разве у тебя еще какие-то мужья есть?

— Нет, других мужей не было.

Был один, и этого достаточно. Один, один. Это слово «один» было не пустым звуком. Оно имело смысл. Он был тот самый «один». Но тогда что она делает тут, распутничая с другим мужчиной, кем бы он ни был, — человеком, ослом, богом? В этот момент он казался ей еще более похожим на человека. И тут ее пронзила мысль, что в это самое время хоронят Иехуду — а что она делает здесь с этим... как он себя назвал? Зевсом, царем богов по религии эллинов, из-за которых все это и началось. Под «всем этим» она имела в виду и войну, и сопротивление, ибо война и была сопротивлением им.

— Он меня убьет, — сказала Нехора.

— Кто? Тот, которого сейчас опускают в могилу, или тот, кто из нее встает?

— Кто из нее встает?

— Ладно, неважно, — сказал Зевс. — Совсем запутался. Пугаю будущее и настоящее. Провалы в памяти, как у всякого смертного, с той лишь разницей, что моя память вмещает и то, что было, и то, что будет.

— Что будет? — повторила она за ним.

— Ничего, кроме того, что ты уже чувствуешь. Чувство вины. Муки совести. Внутренний голос, повелевающий тебе искупить вину за блуд.

— Так это называется — блуд?

— Еще это называется прелюбодеянием. Ты слышала это слово?

— Слово-то я слышала...

— Ну раньше слышала, а теперь содеяла, — сказал он самодовольно.

— Но это ты... заставил меня сюда прийти. Ты соблазнил меня! — воскликнула она.

— Ты увидела осла и решила следовать за ним. Как можно перекаладывать на глупое животное вину за совершенный тобою грех — лечь с другим мужчиной, когда твоего мужа опускают в могилу?

— Это ты... другой мужчина? — спросила она.

— Ну а как мне еще себя называть?

— Как угодно, только не мужчиной, — ответила она упрямо.

— Это звучит как явное оскорбление. Никто из моих женщин еще не жаловался на меня как на мужчину. А их было столько! И каждую женщину я осчастливил.

— Ха! «Каждую женщину я осчастливил!» Ха-ха!

— Не смей смеяться над моей мужской силой, — сказал Зевс. — Мое мастерство таково, что ни одна смертная женщина никогда...

— Я была бы не прочь побеседовать с кем-нибудь из этих женщин с глазу на глаз, как женщина с женщиной, просто чтобы обменяться впечатлениями, — насмешливо заметила она. — Расскажи мне, пожалуйста, в каком обличи ты их соблазнял.

— Это были смертные женщины. Их уже давно нет.

— А, вот как ты их любил. Так любил, что все они умерли.

— Всех их разделяют столетия. Я не такой распутник, каким меня изображают.

— Пожалуй, раз в несколько столетий — не так часто! — сказав это, она с любопытством и страхом посмотрела на него. — А я почему удостоилась этого?

— Как и все они! Как средство доставки, — объяснил он грубо. — Оно требуется раз в пару сотен лет.

— Средство доставки? Это еще что?

— Средство доставки — это женщина, которая несет в себе семя бессмертия. Речь идет о заранее запланированном соитии, и не со случайной женщиной, а с тщательно выбранной, цель которого — сформировать династию будущих царей...

— И цариц? — перебила она.

— Царей, — невозмутимо продолжал он, — которые будут достаточно способны и дальше пускать стрелу изначальной веры в генофонд будущих поколений.

— Генофонд?

— Ну, иными словами, будут творить историю.

— Не понимаю, о чем ты.

— Я могу назвать имена, но ты их все равно не удержишь в памяти. Ну ладно: ессеи, Иоанн Креститель, Ирод, Иешуа, он же Иисус, Савл, он же Павел, Веспасиан, Цезарь, Адриан. Не имеет смысла перечислять всех. Будущее не удерживается в памяти мертвых.

— Ты хочешь сказать, что соблазном увел меня с похорон моего мужа, чтобы запустить династию маленьких зевсиков, отложив здесь свое семя? — она указала на свой живот, и ее указательный палец застыл в воздухе, словно обвиняя в дурном поведении живот, а не собеседника.

— Это предназначение твоей родословной, — сухо заметил он, — перерасти в родословную царской династии эллинизированных евреев с именами типа Александр, Аристокл и Гиркан в двух следующих поколениях. Таким образом, судьба твоих сыновей, внуков и правнуков — носить греческие имена, оставаясь евреями так же, как управляемый ими народ. Твоя династия еврейских царей — последняя. С приходом Иродов она развалится. Теперь ты понимаешь, почему я выбрал именно тебя?

Нехора ответила, что ничего не понимает и не будет ли он так добр, чтобы повторить сказанное так, чтобы она поняла его. Она ведь просто женщина, а не богиня.

— Я о будущем говорю, — вскричал он с таким раздражением, что она сжалась от страха перед ударом, и среди мыслей, пронесшихся в ее голове, одна была особенно ясной: «Мой Иехуда никогда бы ни за что...» Но и Зевс не стал бы поднимать на нее руку. Все-таки он был Зевсом! Он говорил о сложном и не ожидал, что она его сразу поймет, но, если он вообще что-то ожидал от женщины, так это терпение и уважительное внимание к мыслям и словам мужчины. Хотя бы терпение и уважение, повторил он, не говоря уже о подлинном интересе и понимании... Неужели это так сложно?

Она сказала, что вполне понимает правило «женщина должна уважать мужчину». Замешательство у нее вызвали только его слова о будущем, особенно та часть, где он говорил, что оно складывается в настоящее, как кусок материи — пополам, еще раз и еще, чтобы края совпали.

Он сказал, что речь идет об ассимиляции.

— Что такое ассимиляция? — спросила она.

— Это когда еврей пытается не быть евреем.

Она сказала «да?» и, немного подумав, добавила, что не верит, что еврей может не быть евреем, потому что тут ничего не поделаешь: перестать быть евреем невозможно. Родился евреем — евреем и останешься навсегда, ведь что внутри, то и снаружи, внутреннее неразрывно связано с внешним, и как бы ты ни пытался скрыть свою сущность, она проявится несмотря ни на что. «Несмотря ни на что!» — повторила она с силой, и в этот момент она снова была Нехорой, женой Иехуды Маккавея, так яростно отстаивающей свое мнение, что Иехуда был бы горд за нее. Она хорошо знала это его выражение лица, означающее молчаливое одобрение, но знала она и то, что происшедшее здесь между ней и этим ослом, оказавшимся мужчиной, оказавшимся богом, должно быть скрыто от ее знаменитого супруга. Вернее, теперь, когда его не стало, от легенды о нем, которая войдет в века.

— Начатая тобой династия закончится не хлопком, а хныканьем, — сказал Зевс, — из-за мелких ссор между твоими потомками. Они настолько утомят Помпея своими спорами и жалобами друг на друга, что он своим железным сапогом даст Хасмонейскому царству под зад.

Она поинтересовалась, как это можно дать царству сапогом под зад, и он объяснил, что это метафора, неужели она не понимает, и, заметив ее выражение лица, добавил, что понятие «метафоры» — это еще один из многочисленных греческих вкладов в мировую культуру. Ей не мешает знать, продолжил он, что вклад, который его народ уже внес и будет и дальше вносить в культуру, больше, чем вклад любого другого народа, и что в грядущие столетия именно греческий идеал красоты будет образцом в скульптуре, поэзии, дра-

ме, философии и методах правления, тогда как евреи, единственный народ, чей вклад может соперничать с греческим, будут настолько пропитаны теплыми струями эллинизма, что они станут и говорить и выглядеть, как греки. Но сколько бы они ни пытались походить на греков, насколько бы ни ассимилировались, как бы ни лезли вон из кожи, чтобы говорить по-гречески и усвоить культуру эллинов, всем всегда будет очевидно, что они не греки.

— Вот это я и имела в виду, — сказала она, — когда говорила про еврея внутри и снаружи... сущность проявится несмотря ни на что.

— Главное не в сущности, женщина! — вскричал он в нетерпении. — Кто-то из них захочет быть как мы и по своей сущности; они попытаются присвоить нашу сущность и приспособить ее к себе, но мы все равно не признаем их греками. Мы все равно будем называть их евреями, да и не мы одни — и римляне, и все европейские народы, которые появятся позже, все они будут говорить евреям: ассимилируйтесь, станьте как мы! И сколько бы некоторые из вас ни прыгали выше головы, чтобы откликнуться на этот призыв, все равно вас будут называть евреями и смотреть на вас как на евреев. И расплачиваться за это вы будете своими жизнями!

— Так в чем тогда главное? — спросила она. — Я не понимаю.

Он объяснил, что ей нечего стыдиться того, чем она тут с ним занималась. Напротив, она должна быть горда и счастлива, что из всех женщин он выбрал именно ее, совершив с ней соитие, что он мог сделать, только приняв человеческий вид, этим он добавил свою капелку в ее внутриутробную жидкость, чтобы таким способом... защитить евреев в будущем от обвинений со стороны народов тех стран, где они будут пришельцами, в том, что они «только евреи» и тем самым не такие, как все. Теперь и впредь они могут на законном основании утверждать, что быть евреем и быть греком почти одно и то же.

— Ты бросил семя в женщину, которая не проживет и часа, — прервал его знакомый голос, — а значит, мы, евреи, останемся евреями и по сущности, и по внешности, и мы будем бороться с ассимиляцией и душой и телом тысячи грядущих лет, которые мы-то переживем, а от вас не останется и следа. Выживем и без

подаренного тобой семени в утробе моей невестки. Так что благодарствую, не надо.

Эта речь принадлежала Симону, брат Иехуды, и он уже занес меч над Нехорой, но она воздела правую руку как бы в знак приветствия и произнесла слова, которые заставили остановиться меч Симона. Она напомнила ему, что она жена его брата, и спросила, не гласит ли шестая заповедь «не убий» и не сказано ли в десятой заповеди нечто существенное относительно жены твоего брата.

На это Симон ответил, что в десятой говорится не о жене брата, а о ближнем, и вообще она не об убийстве, а о том, чтобы не возжелать жены ближнего. А он, Симон, уж точно ее не возжелает. Это даже ей должно быть ясно как божий день. Ему придется покончить с ней, сказал он, не из каких-то личных соображений по поводу возжелания или невозжелания, возжелание он готов оставить нашим приятелям грекам — тут он кивнул в сторону ослобога. Да, сказал Симон, тяжело вздохнув, как человек, которому выпало исполнить Божью волю. Ему придется сделать это, он вынужден это сделать, чтобы очистить династию будущих царей иудейских — очистить, повторил он громко — от греческого семени. И в любом случае, сказал он, даже хотя шестая заповедь действительно гласит «не убий», разве это относится к убийству в бою? Не относится. А кто сказал, что это не бой?.. Пусть не такой, как обычно, но все-таки бой?

— Сохрани мне жизнь, Симон, — сказала Нехора. — Я не хочу, чтобы он поразил тебя громом. Или чем-нибудь похуже.

И в этот момент они услышали то, что ни один смертный или смертная не слышали до этого: бога, бормочущего с самим собой.

Нехора и Симон различили в этом бормотании бога следующие слова: «Это мне первому пришло в голову. Я мог бы дать заповеди своему народу. Ну и что, что не пошел через пустыню? Олимп не хуже Синая! Можно и с него вещать свою волю! Это воля не моя и твоя, она наша! Я не упоминал о том, что мы братья, Эл. Кстати, это “мы” относится к нам как к царям, а не как к братьям... Ты о братстве? Для чего оно, твое братство?.. Нет уж, благодарствую, у меня предостаточно братьев! Да, признаю, что идея с заповедями твоя. Прекрасно! Твоя! Повторяю, согласен. Ну и что с того? Мне до-

сталось другое. Право блудить! С кем захочу! Ты давно запретил себе это право. Но и для тебя наступит момент, когда тебе захочется создать семью, потому что даже тебе одиночество станет в тягость. И когда ты заведешь свое маленькое семейство, ты отринешь женщину, ты не дашь ей войти в него, там будут только сын, святой дух и ты — все трое то ли мужского, то ли иного пола. Не знаю! Не мое это дело! А Марии будет не видно и не слышно, пока через двадцать столетий ты не позволишь ей стать членом семьи: Отец, Сын, Дух Святой и Она. Когда говоришь о семье, то твою не сравнишь с моей. Пусть художники воссоздадут их лик! Здесь я тебя обойду! Ты запрещаешь смертным тебя изображать, а я охотно разрешаю. Охотно, повторяю, и с гордостью».

— Бред сумасшедшего, — сказал Симон.

— Дурачок, — ответила Нехора. — Никакой он не сумасшедший. Ты просто не понимаешь...

— Нечего тут понимать, — сказал Симон, снова замахиваясь мечом, но мечу ничего не оставалось, как беспомощно повиснуть в его руке, ибо Нехора упала на землю, как яблоко падает с яблони или винограда с лозы, и падение это было вызвано не действием меча, а фразой, которую пробормотал ослобог, сопроводив ее пренебрежительным жестом в сторону Нехоры: «Она недостойна моего семени».

Симон открыл было рот, чтобы защитить достоинство своей невестки, но вовремя закрыл его, сообразив, что в данном случае «быть достойной» означало бы вовсе не то, что он хотел сказать: ведь кто станет защищать недостойное поведение жены горячо любимого старшего брата? Да и ее он любил, потому что ее любил Иехуда, а Симон с благоговением относился к старшему брату и любил все, что любил Иехуда. А теперь она неподвижно лежала на траве с побелевшим лицом, и Симон понял, что жест Зевса означал нечто большее, чем пренебрежение. Все-таки это был какой-никакой, но бог: смотрите, как он удаляется величественной походкой в своем ослином обличи! Вообще-то он мог бы из уважения к женщине превратиться в кого-нибудь поприличнее осла, но чего ожидать от языческого божка? Симон изрядно попотел, объясняя своему се-

мейству, почему вернулся без Нехоры. Сперва он должен был объяснить, почему отправился именно в этом направлении, а так как объяснить этого не мог, то объяснять, каким образом нашел ее живой и вскоре стал свидетелем ее смерти, было настолько же нелепо, как рассказывать, что он встретился с богом, причем языческим, значит, вообще не богом, и что убил ее именно этот самый бог этим самым жестом. Нет, жест не был грубым. Скорее, пренебрежительным. Почему? Кто знает? Может, смысл был в том, чтобы доказать, что он умеет совершать какие-то действия, которые ожидают от бога. Типа убивать, мучить, насиловать. Но нет, наш Бог никого не насилует. Но тот-то был не нашим богом. Он был их богом. И он-таки насилвал. Не ее, нет. Она умерла не тронутой им; она никогда не позволила бы такое с ней проделать, и уж точно не идолу, называющему себя Зевсом. Она возжелала смерти, потому что не хотела продолжать жить без своего мужа, и такая любовь достойна того, чтобы ее занесли в книгу нашей истории, ибо пройдет всего несколько лет, и никто в такое не поверит, даже в голову такое не придет, а говоря об истории, мы имеем в виду не несколько лет, речь идет о тысячелетиях. И не спрашивайте меня, где ее похоронить: разве она не заслужила право покоиться рядом с Иехудой, в семейной могиле Маккавеев? Чем еще могла бы она доказать, что достойна лежать в этой могиле? Разве она не заслужила это право тем, что покинула свое тело как раз тогда, когда его тело опускали в семейную могилу? Покинула тело. Ему не следовало это говорить. Но уже было поздно. Слово ушло! Ушло изо рта, как птичка! Это его долго мучило, ибо он знал, как убивает слово. И только Цадика, жена самого Симона, услышала это слово и рассказала об этом Едиде, жене Ионатана, и та сказала, что она тоже заметила, и обе они долго обсуждали эту оговорку, когда все уснули. Едиде, которая по собственной воле и вполне в здравом уме отдалась языческому богу в обмен за вдохновение, призналась Цадике, что однажды, в момент вдохновения, услышала голос (не спрашивай чей!), и голос сказал: «Послушай! Послушай, что сказал Симон: ПОКИНУЛА ТЕЛО! Разве можно эти слова приписать случаю?» Голос сказал Едиде, что «покидать тело» — это выражение, которое употребляют боги, общаясь со

смертными. Едиде показалось, что голос сказал «боги», хотя, может быть, это был и «бог». Как раз по поводу этого окончания множественного числа у нее были сомнения.

— Попробуй вспомнить, — сказала Цадика.

— Да какая разница?

— Большая.

— Почему это?

— Потому что если это бог в единственном числе, то это наш Бог. И тогда все в порядке. А если во множественном, то это их боги. И тогда все не в порядке.

— Да какое нам дело до каких-то чисел? Число есть число! Мы же сейчас не обсуждаем, чья религия лучше, — сказала Едида.

— Один Бог или много богов?

— Послушай, Цадика, уверяю тебя, грамматика никакого отношения к религиозному откровению не имеет.

— Едида, Бог — не грамматика. Бог намного больше, чем грамматика. Ничтожное окончание множественного числа — ничтожные боги. Нет окончания — бесконечный Бог.

— Почему ты уводишь разговор в сторону от подлинного понимания того, что голос сказал мне? Что тебе за дело до этого? Почему тебя так заботит окончание множественного или единственного числа и совсем не заботит смысл слов «покинула тело»?

Но Цадика сказала Едиде, что не хочет больше слышать эти глупости про Едидины голоса или про ее пресловутые «моменты вдохновения». Именно «пресловутые» для тех, кому известно, от кого они ей достались и какой ценой. И тут Едида сказала: «Подожди, ты же не слышала самого главного: того, что голос сказал после “покинула тело”. Он сказал про тебя».

Цадике это показалось настолько забавным, что она чуть не свалилась от смеха. «Про меня? — спрашивала она между приступами хохота. — Но я же не из тех, кто впускает в свое тело языческих богов!»

— Но пропустишь! — воскликнула Едида. — Мы, все три жены Маккавеев, должны через это пройти: я — за вдохновение, Нехора — ценой смерти, а ты... ты, дорогая моя, за то, что действительно

ценно... за потомство, которое создаст династию еврейских царей. Ее назовут династией Хасмонеев, и у нее будет особая миссия в судьбе нашего народа, ибо с концом этой династии придет конец нашей независимости, а с концом нашей независимости рано или поздно придет конец Иудее, а с концом Иудеи начнется эпоха диаспоры. Пока нам это слово неизвестно, но оно известно голосам, и наше потомство должно нести в себе эту каплю крови от языческих богов, чтобы исполнить пророчество и довести нашу страну до краха. Это наша судьба, понятно? А наше ослабление будет использовано не греками, а совсем другой империей. Это будут римляне, тот самый вероломный народ, с которыми Иехуда подписал договор. Они предадут огню Иерусалим и разрушат Храм, вынудив наш народ бежать во все концы Римского мира. Мы будем поработены и будем восставать, и нам предстоят три войны, которые войдут в историю как Иудейские войны, и мы потерпим поражение, несмотря на наше мужество, и будем страдать в рассеянии две тысячи лет, избывая в себе наше еврейство, за которое мы будем сгорать снова и снова, пока самый большой пожар не поглотит шесть миллионов из нас, после чего мы вернемся на эту землю. Сюда! — И Едида показала пальцем на землю под ними.

— Я не поняла, — сказала Цадика, — все это произойдет... отчего?

— Из-за того, что ты, как я и как Нехора, будешь...

— Нет, не буду, — отрезала Цадика.

— Голос сказал, что будешь.

— Я по горла сыта твоими голосами! Все они врут.

— Голоса не врут, — сказала Едида.

— Это они тебе сказали, значит, Едида, они говорили о тебе, а не обо мне. Капля греческой крови! Ты уже ее получила от одного из их богов. Множественное число, языческое множественное... Меня уж в это не втягивай. Не втягивай меня в это, сестрица.

— Я зачала от своего бога только вдохновение. Ты зачнешь царей.

— Если бы Симон тебя сейчас слышал, он бы тебя так наказал! Даже думать не хоч, что бы он с тобой сделал.

— Ближайшие десять лет будет править не Симон, Цадика, а мой Ионатан.

— Ну, значит, Ионатан должен тебя наказать! — воскликнула Цадика. — Муж должен за такие слова жену наказывать. Если он настоящий мужчина!

— Он настоящий мужчина!

— Тогда, Едида, и расскажи ему то, что ты рассказала мне!

— Я ему скажу, чтобы он не входил в союз с римлянами против греков. Мы такой удар в спину получим!

— О каком ударе ты говоришь, и при чем тут спина?

— Я говорю о конце Иудеи.

— С чего ты беспокоишься о том, чего может и не быть?

— И раньше было. Будет опять.

Так тянулась перебранка двух снох, пока остальные Маккавеи спали.

Галя

Он колотит по моему бедному металлическому забору каким-то инструментом, чтобы отбить старую облупившуюся краску перед тем, как наложить слои свежей грунтовки и краски. Я не знаю, как называется инструмент в его руках, но понимаю, что он металлический, потому что слышу лязганье металла о металл.

Я долго стою позади него, пока он наконец не поворачивает ко мне голову и легким кивком и полуулыбкой демонстрирует, что обнаружил мое присутствие. После чего снова поворачивается к забору, поднимает руку с инструментом и извлекает из ограждения еще один стон о пощаде.

Я хочу что-нибудь сказать, чтобы начать разговор, но ничего такого, чтобы его заинтересовало и что не имело бы отношения к строительным темам, мне в голову не приходит. А от строительных тем меня уже тошнит.

— Значит, у вас четверо братьев, — наконец нахожусь я. — Расскажите про них что-нибудь.

— Да нечего рассказать, — говорит он, не поворачивая головы.

— Они такие же, как вы? Разъехались на работу в разные страны? Или остались в деревне с родителями?

— В деревне. Все. Кроме младшего. Позор семьи. Позор, позор, — произносит он с отвращением, а его рука с инструментом бьет по забору с еще большим остервенением.

— Почему? Что он такого сделал?

— Перешел на другую сторону. — Он перестает колотить забор, вытирает пот со лба, мотает головой. — Слишком больно об этом говорить.

— На какую другую сторону?

— На какую... на какую другую сторону? Вы не понимаете? Я же вам говорил, что я из Палестины. Так какая другая сторона, если я из Палестины?

— Я вообще-то не привыкла думать в терминах «сторон». Вы имеете в виду, что ваш брат уехал в Израиль и тем самым навлек позор на вашу семью?

Он кивает с удовлетворенным видом: наконец-то я его поняла.

— Так что ваш брат делает в Израиле? Он вступил там в армию или стал кем-то вроде шпиона, поведав израильтянам о тех, кто приезжает в вашу деревню или из нее уезжает?

— Нет. Но он так их любит. Он считает, что у них... этот... — Он замирает с поднятой рукой, вспоминая слово. — Прогресс. У них прогресс, а у нас все... старая жизнь. Старая жизнь моему брату не интересна.

— Так что делает-то он в Израиле?

— Вы знаете кибуц?

— Я знаю про кибуцы.

— Вот там он живет. На этом кибуце.

— То есть он не любит крестьянский труд, а сам живет в кибуце? Они разве в кибуцах не этим же занимаются? Не работают на земле, как в вашей деревне?

— У них машины всю работу делают. Мой брат, нет, он думает, что это совсем не как в нашей деревне. Он думает, нам у них надо учиться. Не сопротивляться — учиться!

Эта мысль кажется ему настолько абсурдной, что он вздевает руки к небу и издает стон, выражающий абсолютное неприятие.

— Так чем он там все-таки занимается? Водит трактор?

— Нет, трактор не для моего брата. Он там учился в университете, теперь он инженер, работа у него, как это называется...

Он глядит на забор, как будто на нем написано нужное слово, и спустя несколько мгновений терпеливого поиска слово находится: биорепродуцирование.

— Так я думаю, это замечательно. Вы должны не стыдиться за брата, а, наоборот, гордиться им. Я не знала, что сегодня таким в кибуце занимаются, но звучит здорово. Да и если его допустили до такой работы, значит, ему доверяют.

— Доверяют, даже слишком, — он произносит это с выражением почти полной беспомощности, как ворчливая старуха, вздыхающая про себя от того, что не может ничего поделать с непослушным внуком.

— Он, что, собирается их доверие обмануть?

— Обмануть их доверие? — Он смеется. Сама мысль об обмане доверия кибуцников кажется ему слишком нелепой, чтобы воспринять ее как серьезное предположение. Он бросает свой металлический инструмент на землю, чтобы этот предмет не мешал ему как следует отсмеяться.

— Алехандро, а что тут смешного?

— Я бы рад был, если бы он обманул их доверие. Я был бы рад. — Он пытается успокоиться, вытирает выступившие от смеха слезы. — Но мой брат не такой. Он счастлив, что они его приняли. У их детей есть велосипеды: он думает, что велосипеды — это круто. И компьютеры. И скрипки.

— А скрипки при чем?

— А он у них на скрипке играет в музыкальной школе. Цлиле Харим называется. Они там на всех инструментах играют. Сперва он там учился, теперь сам учит. Иногда играет... в этом... квартете. Он нам послал диск, где он играет.

— У вас он есть? Можно мне послушать? — У меня появляется надежда, что с ним можно обсуждать что-то, кроме стройки: более интересные темы, такие, как скрипка, его неординарный братец, музыкальная школа при кибуце.

— Нет у меня. Наша мать его выбросила. Мы его стыдимся, понимаете? Стыдимся моего брата, который живет в кибуце Кирьят-Анавим и играет Па-га-ни-ни! — Когда он произносит «Паганини», лицо у него жутко перекашивается, как будто от зубной боли.

— Как его зовут?

Он не реагирует. Брат, перебежавший к израильтянам, чтобы играть Паганини, — это слишком болезненная тема.

— У него было хорошее имя. А теперь у него новое имя — Элизэр. Еврейское имя. Как у Лазаря, который восстал из мертвых. Так кто мертвый, я спрашиваю... мы, деревня наша... ты из наших? Ты из нашей семьи, да?

— И что он на это говорит? Когда вы его спрашиваете, почему он принял еврейское имя?

— Глупости говорит. Не хочу повторять.

— Пожалуйста, Алехандро! Расскажите мне!

— Почему вы хотите знать? — Он поворачивается ко мне и смотрит на меня так, как будто что-то про меня узнал, чего раньше не знал. — О'кей.

Он бьет по забору еще раз, бросает инструмент оземь и проводит пальцами по поверхности, проверяя, остались ли еще места с облупленной краской.

— Говорит, что он еврей, потому что, если наш народ живет на этой земле тысячи лет, наши предки были евреями, которых обратили в ислам, когда Палестину завоевали мусульмане. А если наш народ здесь не живет тысячи лет, то о чем мы спорим? Вот что он говорит. Мой брат Элизэр.

И Алехандро сплевывает, чтобы продемонстрировать презрение к взглядам своего брата.

— Алехандро, — говорю я спокойно: — Я хочу кое о чем вас спросить. Зачем вы солгали, что у вас ученая степень по морской биологии? Ведь это же неправда, да?

Он поворачивается и уходит решительной походкой. Я уже не раз видела, как он уходит с таким видом, но так и не поняла, о чем это говорит — о крайней степени раздражения или еще о чем-то, тоже в крайней степени. Я бы предпочла, чтобы это было что-то

еще, потому что мне, в сущности, все равно, есть ли у него степень по морской биологии или нет. Я просто хочу, чтобы он сказал мне правду. Его ложь — единственное, что меня отталкивает. Я хочу, чтобы он был со мной честен во всем, даже в том, что может его выставить передо мной в неприглядном свете. Даже если, скажем, он замышляет меня убить, я хочу, чтобы он и это мне сказал.

Александро

Она приносит мне кофе и сок, и сэндвичи, которые, как она общается, куплены в русском магазине, и мне хочется спросить, не еврейский ли этот русский магазин, потому что, когда я слышу от людей про русских и евреев здесь в Нью-Йорке, у меня впечатление, что это одно и то же.

Она стоит тут же и смотрит, как я ем — ну точь-в-точь мамаша, которая следит за тем, чтобы ее дитя все доело дочиста, а она пока расхваливает свой кофе или рассказывает про какой-то салат из русского магазина. Он называется оливье, но это всего-навсего картофельный салат с красивым французским названием, хотя, по ее словам, весь мир почему-то считает этот салат русским. И весь мир, продолжает она, ценит этот салат и считает его деликатесом из-за французского названия, а простой картофельный салат презирует. Она интересуется, нравится ли мне салат оливье, и я отвечаю: да, Галия, мне нравится ваш русский картофельный салат.

После этого я думаю, что хорошо бы поработать в тишине. Но не тут-то было. Она сообщает, что видела этот салат в меню ресторана в Гвадалахаре, и интересуется, был ли я когда-нибудь в Гвадалахаре. Я не отвечаю, и не только потому, что Том запрещает болтовню во время работы, но и по своим личным соображениям, которые я не обязан ей выкладывать. Она распинаяется в любви к колониальным мексиканским городам: Пуэбла, Оахака, Атлихко, Сан-Кристобаль-де-лас-Касас. Она сыплет этими названиями — вроде как ждет, что я ее полюблю за то, что ей про них известно, как будто бы путешествия по Мексике приближают ее к каким-то тайным сторонам моей жизни, к перекресткам, где она может ме-

ня встретить и узнать, кто я есть или кем я был на самом деле. Она даже так и говорит: каким вы были в молодости.

Мели языком, женщина, думаю я, молча работая, ничего ты никогда не узнаешь про мою жизнь и про то, кто я на самом деле. Я и сам уже не понимаю, в чем заключается моя работа в твоём доме: в покраске стен или в том, чтобы очистить мир от тебя и остальных участников твоего хасмонейского заговора. Срубить голову гидре, как выражается Профессор, он же Тайный Организатор. Его голос так громко звучит у меня в голове, что я забываю, кто же я на самом деле — нелегал, надеющийся на небольшое содействие в получении грин-карты через его тайные каналы, или опытный убийца, которым он хочет меня видеть, а по мере того, как мой первый образ тускнеет, второй проступает все отчетливей, и тогда я говорю себе, что я могу это сделать и могу сделать хорошо. Вы можете быть влюблены в меня, мадам, но это не значит, что я собираюсь взять на себя вину за вашу ликвидацию. Мне надо выйти отсюда чистым, понятно? Я краем глаза наблюдаю за вами, мадам. Я слежу за каждым вашим движением, за каждым вашим шагом и думаю: может быть, сейчас?

Она рассказывает про белый отель в Атлихко и про то, как она была единственной туристкой в этом красивом городе и единственным жильцом в отеле, построенном специально для иностранцев, и про то, как она совсем не боялась быть единственной иностранкой, несмотря на то что испанского практически не знала. Несколько фраз она выучила перед тем, как туда отправиться, но в остальном ей приходилось полагаться на свою способность добывать знания из воздуха. Именно так она это называет — «моя способность добывать знания из воздуха» — и дальше распространяется про открытый плавательный бассейн во внутреннем дворе отеля и про то, что его окружали дикорастущие растения в цвету, разные тропические виды, и как это было потрясающе, все это — плавание в бассейне, где она была одна, и растительная гамма красного, зеленого, желтого, фиолетового, и белая штукатурка стен на фоне яркосинего неба! Я бы тоже мог ей кое-что рассказать, но в моей истории не было бы ни соборов XVII века, украшающих центральную

площадь в колониальном мексиканском городе, ни затейливых ресторанов, где подают экзотические блюда, представляющие все кухни мира, ни отелей, построенных с единственной целью — вынимать деньги из американских туристов.

* * *

Я возвращаюсь домой, разговаривая по мобильному с Томом. Рассказываю ему, что я сегодня сделал, и вдруг вижу зеленый Ford Галии. Она останавливается и машет мне рукой, приглашая садиться. Когда я сажусь, она говорит, что едет в магазин за продуктами, но я знаю, что это неправда: она весь день за мной бегаёт. Стараюсь не показать вида, что я рад, что я весь день за ней наблюдал, что в любой момент я точно знал, в какой части дома она сейчас находится. Даже когда работал на втором этаже, а она была в подвале, я все равно знал. Когда я говорю ей, что не еду в Манхэттен, она спрашивает: штукатурной работы сегодня нет? То, как она это говорит, напоминает мне о ее просьбе поехать со мной на мою вечернюю работу и возвращает к мысли о том, что западные женщины не в состоянии понять, что есть такие дела, которые могут делать только мужчины, и есть места, куда женщинам ход закрыт.

Она говорит, что водит машину только шесть месяцев, но, судя по тому, как она водит, я думаю, что еще меньше. Месяц и неделю, а, может, и всего неделю — машина так дергается и дрыгается, что мне хочется лечь на пол и молиться о том, чтобы добраться до дома живым и желательным невредимым. Она просит ей помочь — предупредить, когда надо перестраиваться в другой ряд для поворота, и я говорю «правый ряд», «левый ряд», а она улыбается, когда я говорю «ряд», как будто я говорю неправильно, но ей это не мешает. Я не думаю, что женщинам можно разрешать так действовать на мужчин, и я больше не хочу ей помогать вести машину, да и помочь ей нельзя, это безнадежно. Потом она заводит разговор про то, что я сегодня делал на работе, и ей обязательно надо знать, как называется «эта штуковина», а я понятия не имею, про какую «штуковину» она спрашивает. Ну эта, говорит она, штуко-

вина, которую вы с Марексом и Эрнесто сегодня на стену клали. И когда я, наконец поняв ее вопрос, отвечаю, она опять улыбается и говорит, что *shitrock* неправильно¹. Мне хочется сказать: ты же меня сама спросила, как это называется, а теперь ты же мне говоришь, что это неправильно. После этого мы молчим, и я вижу, что молчать ей неловко. Западные женщины не понимают молчания, не понимают, как много оно может значить. Если слишком долго молчать, они начинают суетиться и заполнять пространство пустой болтовней. Мне ее жалко, и я говорю первое, что приходит в голову, — что сегодня почему-то она весь день дома, и она отвечает, что сегодня праздник, День Колумба, и школы закрыты. Я спрашиваю, отмечает ли она этот праздник, и она говорит, что вот так и отмечает — на работу идти не надо. Я про себя думаю, что, если бы это был мой праздник, я бы его отмечал как следует, и еще думаю, что я мог бы ей кое-что интересное рассказать про то, что в этот день чувствуют индейцы, потому что именно так мы себя чувствуем на Йом ха-Ацмаут²: для евреев это праздник, а для нас *накба*³: они празднуют, мы плачем. Но ничего этого я не говорю, а продолжаю вести пустую беседу. «Может, и у них школы закрыты», — говорю я.

Не знаю, как получилось, что мы сменили тему и стали обсуждать мою вечернюю работу. Может, потому что она сказала, что любит отдыхать, а про меня знает, что мне нравится работать сверхурочно, по десять часов на основной работе и еще вечером, если повезет. Да, говорю я, мне нравится, когда я занят. Еще мне нравится доводить свое тело до полного утомления, чтобы меня не одолевали мужские потребности, но этого я ей не говорю. Я не обсуждаю мужские потребности с женщинами. Еще одна причина, по которой мне нравится работать по тринадцать часов в день, —

¹ В оригинале игра словами: *shit* с кратким «и» значит «говно», правильно — *sheet* с долгим «и». — Прим. переводчика.

² Йом ха-Ацмаут — День независимости Израиля. — Прим. переводчика.

³ Накба — «катастрофа» (араб.). — Прим. переводчика.

деньги, но это я тоже не хочу ей говорить. Она может начать спрашивать, зачем мне столько денег, посылаю ли я все заработанное семье или откладываю, поэтому я произношу пустую фразу о том, что вечерней работы у меня меньше, чем хотелось бы, и она говорит: «Не беспокойтесь, Алехандро, работу я вам найду, заработок у вас будет».

Когда я это слышу, у меня слезы наворачиваются на глаза, но я себе говорю: не расслабляйся, она всего лишь мишень, цель задания, объект ликвидации, а не доверия. Я говорю ей, что здесь надо повернуть направо, и она поворачивает и ждет, когда я ей скажу остановиться. Улица пустая. Момент как раз подходящий. Рука у меня глубоко в кармане, на рукоятке ножа. Я напоминаю себе о долге перед Тайным Руководителем. Я слышу его голос у себя в мозгу: «Никто этого не увидит. Ты спокойно уйдешь, и никто ничего не узнает. Она всего-навсего цель, всего-навсего задание». Даже не поворачивая головы, она видит, как я слегка киваю головой. Она следит за каждым моим движением и знает, что кивок головой означает «стоп». Она жмет на тормоз, поворачивается ко мне, глаза блестят, и я ничего не могу с собой поделать. Я выхожу из машины и ухожу. Я не понимаю, почему не сделал то, что должен был. Не понимаю, как я объясню это Профессору. А она должна радоваться, что жива осталась.

Галя

Сегодня пятница, конец рабочей недели, а он не уходит — не так, как всегда. Он находит меня на заднем дворе, где я накладываю венецианскую штукатурку на переднюю спинку кровати. На этот раз он не спрашивает «Зачем вы это делаете?» и не говорит «Никто венецианской штукатуркой мебель не мажет» — он это уже раньше говорил. Сейчас у него что-то другое на уме. Я это вижу. Может, он наконец созрел до того, чтобы сообщить мне, что он меня любит, что он хочет, чтобы мы встретились после рабочего дня или в выходные — да в любой день и в любое время! Мне хочется надеяться, что именно это у него на уме, но я не складываю пальцы крест-накрест,

потому что я и прежде ждала от него этого признания, а получала совсем не то.

— Меня здесь не будет на следующей неделе, — говорит он. Я замечаю, что с нашей первой встречи его английский стал лучше.

Я откладываю скребок и снимаю солнечные очки. В том, как он это говорит, мне слышится: больше я здесь не появлюсь. Я не могу себе представить, что больше его не увижу.

— А почему?

— Том переводит меня на другой объект. Квартира в Риго-парке. Там на пять дней работы.

— Но через пять дней вы ведь вернетесь, да?

— Может быть. Как Том скажет. Вы же знаете, Том — босс.

— Да, — говорю, — я знаю. Том — босс.

— Так что гуд бай, — говорит он твердо.

Я не могу вымолвить «гуд бай». Не могу так просто с ним расстаться, потому что я уже по нему скучаю, и страх от того, что придется скучать еще целую неделю, заставляет меня выпалить первое, что приходит в голову:

— Как сказать «гуд бай» по-арабски?

— По-арабски? — Тон у него меняется. — Вам зачем?

— Да просто хотела сказать по-вашему, — бормочу я, понимая, что совершила непростительную ошибку.

— Арабский язык только для арабов, — говорит он холодно. — Вы не можете знать язык, с которым не родились.

— Да ну? Вы вот не родились с английским, а говорите на нем. — Я чуть не добавила «правда, не ахти как», но уже поняла, что шагаю по минному полю.

— Английский — другое дело. Он для всех. Как Америка. А арабский не для всех. Вы с арабским не родились и разговаривать на нем не можете. И не пытайтесь.

— Хорошо, не буду. Но я и так знаю, как это сказать по-арабски. Салам алейкум.

Он молча поворачивается и уходит. Я почти вижу его гнев в виде облачка вокруг головы. Мне хочется побежать за ним, попросить

прощения, сказать, что больше не позволю себе этого — что бы это ни было — произносить два слова по-арабски, которые все на свете знают, хотя и не родились арабами. Но гнев в нем так полыхает, что он ни за что не остановится, чтобы меня услышать. Надо подождать, пока этот гнев пройдет. Это даже хорошо, думаю я, что мне удалось увидеть его в гневе. Я теперь лучше его понимаю и лучше понимаю про гнев вообще. Мой-то всегда проходит.

* * *

Его недельная работа не в моем доме только началась, а уже кажется мне бесконечной. И я ничего не могу с собой поделать. Не могу думать о своих иудейских царях и царицах, вообще ни о чем думать не могу, кроме него. Мне надо его увидеть хоть на минутку. Но где и как его найти? Он сказал, что это квартира в Риго-парке. Я представляю себе, как он трудится в этой квартире: кладет плитку в ванной, красит стены, полирует пол и так далее. Я хорошо знаю Риго-парк и понимаю, что район этот хоть не из самых больших, но слишком велик, чтобы мне там его найти.

На второй день его отсутствия, едва вернувшись с работы, усталая, голодная и клюющая носом, я чувствую, что больше оставаться дома не могу. Прекрасно понимаю, что мне его не найти, но все равно надо попробовать. Я вспоминаю слова Алехандро о том, что ему нравится, когда женщины носят женскую одежду — юбки, платья — а не какие-то там брюки, тем более облегающие типа лосин, в которых, забыв о скромности, щеголяют американские женщины.

Я переодеваюсь, чтобы в случае если один шанс из ста сработает и я его найду, выглядеть достаточно скромно, как подобает женщине его типа. Длинная юбка, черные рейтузы, рубашка, курточка. Гляжусь в зеркало, и до меня доходит, почему он от меня бежит. Очень просто: я недостаточно привлекательна. Надеваю длинный черный плащ вместо короткой куртки и говорю себе: все, годится. Пока, стенное зеркало! Выхожу из дома в хасидском облачении — длинный плащ, черная рубашка, черные ботинки. Я вылезла из кожи вон, чтобы выглядеть скромницей в глазах че-

ресчур образованного мексиканского маляра, который оказался палестинцем, а также помощником капитана рыболовного судна, и, если единственным способом стать его любимой женщиной окажется необходимость покрывать на людях голову и лицо, я дам ему ясно понять, что дальше этого не пойду даже ради него. При этом я убеждаю себя, что моя любовь сама по себе доказывает: у него не может быть непреложных правил о том, что следует покрывать, а что нет.

Я выезжаю на Квинс-бульвар. По обе стороны этой широкой улицы народу столько, что различить лица прохожих практически невозможно. Говорю себе, что нечего и пытаться здесь его искать. С таким же успехом он может идти по одной из множества боковых улочек — хоть по роуд 63, хоть по драйв 64, а, поскольку под одним и тем же номером тут имеется и подъездная аллея, и улица, и проспект, перспектива его найти выглядит совсем безнадежной. Надо что-нибудь побыстрее придумать, потому что, если я его сегодня не увижу, жизнь кончилась. Внезапно мне приходит в голову, что я ведь могу ему просто позвонить и спросить, где он сейчас. Почему я раньше до этого не додумалась? Надо, чтобы это выглядело так, как будто я ненароком оказалась поблизости и вдруг вспомнила, что он на этой неделе где-то тут работает.

Вынимаю мобильный телефон и жду, пока пальцы перестанут дрожать и я смогу найти его в списке номеров. Когда, наконец, дохожу до его имени, долго сижу, уставясь в него, не в силах найти в себе мужество нажать на кнопку вызова. Осталось всего-навсего слегка коснуться ее пальцем. Наконец, раздается звонок. Почему он не отвечает? Не желает со мной разговаривать... вспоминает, как я произнесла по-арабски эти два слова... или его отталкивает само мое имя на идентификаторе? Каждый раз, когда я думаю о нем, меня обуревают какие-то абсурдные страхи.

Наконец, он берет трубку и скучным голосом говорит «хэллоу».

— Привет, Алехандро, — говорю я небрежно, как будто ничего особенного в том, что я звоню ему на другую работу, нет. Сообщаю, что я тут оказалась в Риго-парке и, если у него скоро кончается смена, могла бы его встретить в вестибюле здания, где он работает,

и подбросить домой, а если сегодня ему надо ехать на какую-то из его вечерних работ, я его подвезу до сабвея...

— Я сегодня в Риго-парке не работаю, — говорит он. — Я выходной сегодня, я дома.

Может, я его не так поняла из-за его неправильного английского. А может, просто не хочу понимать, что его нет в Риго-парке, куда я притащилась, да еще специально нарядилась по-дурацки, чтобы выглядеть одновременно скромной и привлекательной, — я, которая в жизни не одевалась специально так, чтобы понравиться мужчине. Я надеялась его увидеть минут через пять, ну десять, и, если я сегодня его не увижу, как смогу прожить остаток недели? Как мне выжить после этого? Как возвращаться домой?

Мой рот функционирует сам по себе, произносит что-то без участия мозга. Вот что он произносит: мне надо с вами кое о чем поговорить.

— Поговорим в другой раз, Галия.

Мой рот отвечает:

— Но я тут, в Риго-парке, и в другой раз меня здесь не будет.

— Галия, я не в Риго-парке.

Он старается говорить спокойно, и мне это не нравится. Я не из тех, кому надо такие вещи два раза повторять, да еще с объяснением. Я ж не виновата, что мой рот действует независимо от остального организма в то время, как остальной организм пытается справиться с болью, вызванной его отсутствием, и это не я, а мой рот производит бессмысленный набор слов, делающий из меня полную дуру.

Я не стала спрашивать, с чего это он взял отгул на целый день при том, что на него не похоже терять даже однодневный заработок.

Он говорит, что спешит, ему надо в мечеть на послеполуденную молитву, а поговорить мы можем в другой раз, о'кей?

— О'кей.

Назад я еду как неживая. Никаких эмоций. Никаких мыслей. Дома меня едва хватает на то, чтобы стянуть с себя это дурацкое одеяние. Опять надеваю свои старые брюки и валяюсь на диване

остаток дня и всю ночь, застыв в одной позе. Одни и те же мысли прокручиваются в голове, как заезженная пластинка. Так, значит, он ходит в мечеть. Какое мне дело до того, кто куда ходит в свободное от работы время? И вообще, с чего это я стала бегать за рабочими со стройки? У меня две магистерские степени, я прочла тонны книг, и теперь я должна переживать от того, что один такой рабочий торопится на молитву в мечеть и не находит времени поговорить со мной — со мной, притащившейся в Риго-парк специально, чтобы провести с ним несколько минут? Да пусть он катится в мечеть на свою послеполуденную молитву сколько хочет, что мне до его веры? Как говорится, живи и давай жить другим. Хочется надеяться, что он избегает меня не из-за того, что мы принадлежим к разным религиозным традициям. Если он только из-за этого от меня бегаёт, можно об этом особо поговорить, хоть я и не люблю разговоры про «мою» веру — «твою» веру: глупо это и ни к чему не приводит. И все-таки боль, которую я испытываю, говорит о том, что в нем что-то такое есть... Ну не стала бы я так страдать из-за какого-то ничтожества. Рабочий со стройки или ихтиолог, араб или мексиканец — кем бы он ни был, пусть он прекратит меня мучить.

Мне приходит в голову, что все это время я лежу уставясь в одну точку на потолке, которая выглядит как пятно от краски. Мимоходом соображаю, что это может быть: протечка с верхнего этажа или Алехандро положил другой оттенок побелки. А если это Алехандро, то почему он тут так небрежно покрасил и не хотел ли он этим подать мне какой-то знак? И чем дальше я на это пятно смотрю, тем расплывчатей становятся его очертания, и вот я уже вижу не пятно на потолке, а некий объект, находящийся между потолком и диваном. Этого объекта, на который я смотрю, раньше там не было, но его очертания, похоже, совпадают с формой пятна. Сперва он кажется прозрачным, потом как бы делается более плотным и приобретает очертания большого пальца ноги. Изображение это начинает вращаться над диваном по все расширяющейся орбите, и мне кажется, что оно сейчас ударится о стену. Однако, несмотря на бешеное вращение, палец каким-то образом избегает

столкновения со стеной. Мне на ум приходит сравнение с пьяным, раскачивающим маятник, но точно знающим пределы, до которых его можно раскачивать. Круги становятся все меньше, как будто палец ноги сделал свое дело — привлек к себе мое пристальное внимание, а большего ему не надо. Он уменьшается прямо на глазах — от размера пальца взрослой ноги до размера пальца ноги ребенка — и почти исчезает. Я выхожу из ступора и уже не чувствую себя несчастной. Первый раз за восемнадцать часов, что я тут пролежала, мои руки и ноги приходят в движение. Я вскакиваю с дивана и ищу глазами ручку или карандаш. Мне начинают диктовать текст, из которого нельзя пропустить ни фразы.

Глава 5

Хасмоне́йская хро́ника. Глава V

Богу, который нашел подход к Цадике, статуи в Иудее не воздвигали, хотя он был достаточно влиятельным богом в своем — не вполне обычном — роде. Его имя было Янус, и он был богом не греческим, а римским. Он восседал у ворот и дверей, на порогах у входа и выхода, и это позволяло ему видеть одновременно и прошлое, и будущее, что вообще свойственно любому богу, однако для Януса это занятие было не столько развлечением, сколько работой. Его положение некоего шва, соединяющего то, что было, с тем, что будет, то есть пограничной линии между прошлым и будущим, и позволило ему найти подход к Цадике, ибо она, как и он, оказалась в роли этого самого шва. Дело в том, что именно ее потомству и потомству ее потомства выпало на роду дать ход череде предсказанных событий, приведших в конечном счете к тому, что ее народ оказался без родины, и эта безродность стала его участью на два тысячелетия, в ходе которых другие народы появлялись и исчезали, государства возникали и гибли, мир калейдоскопически менялся, и только одно оставалось неизменным — бездомность ее соплеменников и их жажда вернуться на Землю обетованную. И когда это, наконец, произошло через две тысячи лет, кое-кто из них ступил на ту самую землю, даже на то самое место, где Цадика споткнулась о плохо прикрепленную планку порога.

Она споткнулась и упала на пороге своего нового дома, и крик боли, вырвавшийся из ее уст, был настолько пронзителен, что мужу

пришлось на руках отнести ее в их спальню, которая уступала в роскоши разве что их же пиршественному залу. Иоанн был тогда первосвященником и этнархом Иудеи, а Симон, как первосвященников брат, обладал достаточной властью, чтобы вызвать к себе для исцеления жены лучших лекарей. Пока они обсуждали между собой, какой бальзам будет целителен для ее тела и души, боль в Цадике не утихала, а когда наконец утихла, лекари удалились, оставив ее одну.

Именно этот момент выбрал Янус, чтобы проникнуть в ее постель.

Она смутно видела его двойное лицо, одна сторона которого была хороша, а другая дурна, но, находясь без сознания, она никак на это не реагировала, и он овладел ею с невероятной легкостью, о которой всегда мечтал. Невероятной — ибо это была Цадика, что означает «праведная», и, действительно, она была самой добродетельной из маккавейских жен и в этой своей добродетели самой из них упорной: ни Зевсу, ни Аполлону с их триумфальным опытом соблазнения смертных женщин, так и не удалось ничего от нее добиться, тогда как этот божок, связанный с будущим, не только чувствовал себя в ее постели в высшей степени комфортно, но, что самое удивительное, был хозяйкой постели безропотно и безоговорочно принят.

Однако то, что проникало в самые сокровенные глубины ее существа, была не плоть двуликого божка, дергающегося вверх-вниз в такт своего не разделяемого ею наслаждения, а почти физическое ощущение судеб ее будущих детей и внуков с их взлетами и падениями; поэтому Янус заблуждался, думая, что исторгнутый ею крик свидетельствовал об экстазе, вызванном его столь удачно проявившейся мужской силой: на самом деле поток слез был у нее вызван спазмом совсем иного рода. Она все еще пребывала в полубессознательном состоянии, поэтому не могла объяснить ему, что созерцает будущее, к которому плод их соития приведет ее народ в дальней перспективе, и что этого кошмарного будущего избежать невозможно именно потому, что семя, которое ни Зевсу, ни Аполлону так и не удалось бросить в лоно других маккавейских женщин, теперь посеяно. Она издала еще один крик, еще громче

первого, и снова двуликий божок принял его за свидетельство своей мужской доблести, и это весьма польстило его подростковому самолюбию. Он уже изготовился разлечься рядом с ней, хозяйски положив руку ей на живот, но, услышав шум за дверью, моментально удрал.

Цадика испытала такое облегчение, увидев вбежавшего в спальню Симона в сопровождении целого сонма священников и лекарей, что приподнялась, села в кровати, протянула к мужу руки и стала умолять его поймать сбежавшего бога, но из-за только что испытанных ужаса и боли и кто там знает, чего еще, из ее уст вырвалось нечто неразборчивое, и то, что Симону удалось разобрать, прозвучало скорее как «о боже!», чем просьба изловить преступного божка, совершившего над ней акт насилия. Позади Симона стоял Нехемия, дворцовый лекарь, назначенный на эту должность еще Иехудой, чьи многочисленные раны он лечил травяными бальзамами, изготовленными по рецепту Нехоры. За Нехемией стоял один из священников Храма, явно из саддукеев; имени его Цадика вспомнить не могла, но кого-то он ей смутно напоминал. За ним тянулся хвост еще из пяти-шести священников — всех их вызвал Симон, чтобы они возносили молитвы Всевышнему о выздоровлении его супруги. Замыкали эскорт дети Цадики — двое мальчиков, Матафия и Иуда, и девочка, Шифра. Сыновья двенадцати и тринадцатилет соответственно уже подходили к подростковой зрелости, тогда как пятнадцатилетняя Шифра находилась в самом расцвете юности и уже была предназначена в жены Птоломею, сыну Авува, в исключительно выгодном браке.

Шифра была единственной, кто не поздравлял Симона с исцелением Цадики и кто не вопрошал вслух, каким образом здоровая тридцатитрехлетняя женщина ухитрилась споткнуться на ровном пороге, через который она тысячу раз благополучно переступала. Мальчики прыгали и обнимали отца и мать, и то, что объятий, достававшихся отцу, было явно больше, чем перепадавших матери, дало Цадике повод заявить, что они отца любят больше, чем мать, хотя повод для торжества подала именно она. На это старший из сыновей ответил, что обниматься с отцом легче из-за его круглого

живота, за который удобно держаться, а младший добавил, что отцовский живот — как подушка, на которую можно положить голову, и как мячик, который можно сжимать, и что до него дотянуться легче, чем до отцовской головы или плеч. Мальчики еще долго объясняли бы, почему отца легче обнимать, если бы Цадика не остановила это словоизвержение повелительным «хватит!». Симон, видя, насколько Цадика огорчена тем, что она восприняла как неподобающее отношение к ней со стороны сыновей, сделал им замечание в том духе, что сыновняя любовь не имеет никакого отношения к округлости той или иной части родительского тела, а должна выражаться в умении отличать добро от зла — умении, прививаемом родителями своим детям, и что именно такая любовь подобна прочной цепи, на которой держится уважение детей к традициям старших.

Это замечание уже стало превращаться в небольшую речь, и Симон готов был разглагольствовать и дальше, но тут его глаза встретились со взглядом дочери. Шифра стояла поодаль, как бы отстраняясь от семейной сцены настолько, насколько позволяло пространство помещения. В ее глазах сквозила некая темная настороженность, которая напомнила Симону о чем-то неприятном, но, поскольку ему неохота было копаться в своей душе в поисках объяснения, он отвел взгляд от своей возлюбленной дочери и снова направил его на свою возлюбленную жену — даже не столько на нее саму, сколько на ее правое колено, которое в этот момент обрабатывал Нехемия, их придворный лекарь и преданный друг. Нехемия касался колена Цадика инструментами собственного изготовления, которыми он прославился далеко за пределами Иудеи. Даже врачи из Антиохии и далеких Афин и Рима приезжали у него поучиться и мечтали приобрести эти его инструменты, которые исцеляли пациентов прямо-таки чудесным образом.

Цадика держала прямо вытянутую ногу на весу, и Симон усмотрел в этой сцене нечто не вполне приличное: его жена лежит с обнаженной ногой перед лекарем, а комната тем временем все больше и больше заполняется посетителями, при этом отнюдь не только членами семьи и близкими друзьями. Он велел всем им по-

кинуть помещение, и народ неохотно повиновался, от чего создавалось впечатление, что созерцание коленки женщины из семейства Маккавеев было весьма интересным занятием, которым можно будет потом похвалиться как в самых людных местах Иерусалима, так и в его отдаленных уголках. Тут и Нехемия распрощался. С коленкой все в порядке, заверил он — настолько, насколько можно ожидать от коленки, совсем недавно покрытой таким количеством гноящихся ран, которое он даже сосчитать не мог, и точно так же, как само вызвавшее их падение Цадики осталось необъясненным, необъяснимо и их внезапное исчезновение. Все это он произнес, пока укладывал свои знаменитые инструменты в элегантный серебряный ларец. Симон велел удалиться и мальчишкам, что они, наконец, и сделали, недовольно бурча и похлопывая по своим животам вместо отцовского, каковое поведение Симон не считал зазорным, учитывая их юный возраст и присущую этому возрасту дурашливость.

Теперь, когда их оставалось только трое — муж, жена и дочь, — в спальне как бы сгустился мрак от настроения девушки, и при всем нежелании родителей допытываться до причины этой мрачности, при всех их попытках отвести глаза от стены, на которую она опиралась, почти с ней сливаясь, они не могли не признать самим себе, что их Шифра совершенно явно чувствует себя несчастной.

— В чем дело? — наконец спросил Симон.

Шифра ничего не ответила, но ее мрачный взгляд сделался еще мрачнее, как будто в результате вопроса став более осознанным, и вместо того чтобы совсем исчезнуть, добавил себе напряженности, устремившись на отцовское лицо, грудь и даже живот, чья округлость недавно вызвала такие визги восторга со стороны незрелой части потомства.

— Ты целые дни проводишь у колодца, Шифра, — сказала Цадика. Она собиралась и дальше развивать эту тему, но женская интуиция подсказала ей, что этого делать не надо; правда, это была та же самая интуиция, которая не предупредила о появлении Януса в ее постели, и у нее были сомнения насчет правильности такого решения. Тем не менее она замолчала.

Симон заговорил снова, и, слушая его, Цадика думала о том, как ей повезло быть замужем за этим мужчиной, который предан своей жене не менее, чем своему народу. Позже, когда он стал преемником своих легендарных братьев, один из его недоброжелателей утверждал, что своей семье он уделяет внимания больше, чем государственным делам, но Цадика знала, что это ложь, ибо Симону не было нужды отнимать время у государства, чтобы уделять его семье: он делил свое время между ними поровну.

Тут Цадике было некое видение, но она так и не поняла, что это видение из будущего. Ей привиделось большое собрание священников и старейшин в Иерусалиме; она видела, как они единодушно проголосовали за то, чтобы ее муж был их бессрочным предводителем и первосвященником, по крайней мере до тех пор, пока не «придет пророк истинный», но тут она узрела некоего старца с белоснежной бородой и невидимой дырой вместо рта, из которой слова доносились глухо, как эхо из пещеры, и этот некто был единственным, кто не подал свой голос за Симона. Объяснил он это свое решение не тем, что не доверяет Симону как предводителю евреев, а тем, что ему отвратителен сам процесс голосования, идущий, по его словам, от греков и уже поэтому вызывающий подозрение, но, если не принимать во внимание это отвлечение, лишившее его сна, то избранным, конечно, должен быть именно Симон. И для нее Симон был именно ее «избранным», ее мужем, если отвлечься от сегодняшнего мелкого эпизода с Янусом, о котором она уже почти забыла, как если бы его никогда и не было.

Теперь Симон говорил с их дочерью, пытаясь развеять ее дурное настроение похвалой гладкощекому Птолемею — такой замечательной для нее партии... Видя тщетность своих попыток, он переключился на похвалу грандиозному Птолемееву дому, в котором она будет хозяйкой, в чьих знаменитых банях она сможет нежиться целыми днями и чья многочисленная прислуга будет в полном ее распоряжении, соревнуясь за право выполнить любую ее прихоть. Нет, не то чтобы он, как отец, одобрял прихоти своих детей, но теперь, когда Шифра из ребенка становится женщиной, более того,

женой, какое-то ограниченное количество прихотей вполне ей позволительно, закончил он.

Но мрачность Шифры заполняла комнату до такой степени, что Цадике стало казаться, что и стена выглядит темнее, и свежие цветы в вазе завядают, и даже Симон, непревзойденный оратор и предводитель евреев, перед лицом подобной мрачности прервал свою бодро-лживую речь о предстоящем замужестве дочери. Рот его закрылся, и мрачность дотянулась своими щупальцами и до его лица, подобно хищному выюну, опутывающему свою жертву. Родители пока не знали, что в своей спальне Шифра готовилась положить конец этому еще не начавшемуся браку; что кушания, доставляемые ей на серебряном блюде трижды в день, съедались ею лежа в постели; что, нарочно валяясь в кровати целый день, она становилась толстой и вялой; и что она была этому рада, надеясь, что Птолемей, сын Авува, толстуху невесту отвергнет, и она снова будет счастлива, и ей перестанет, наконец, сниться с регулярностью раз в три ночи один и тот же сон, в котором ее жених наставлял некоего незнакомца, каким способом следует убить ее отца, а незнакомец возражал, что есть другой способ, более надежный. Отцу про этот сон говорить было бесполезно. Однажды, когда сон этот приснился ей в пятый раз, она попыталась это сделать, но Симон просто отмахнулся, не придав этому никакого значения, и, более того, когда она стала упорствовать в своих мольбах не выдавать ее за мужчину, замышляющего убийство ее отца, он как бы в насмешку прислал к ней своего придворного ессея, чтобы два толкователя снов обсудили дело между собой. Ессеи, проводивший свою жизнь в медитации и оттого считавшийся большим докой в высокодуховных материях, выслушал ее с плохо скрываемой скукой, а когда она свой рассказ закончила, сказал со вздохом, что девушкам в период созревания свойственны истерия и дурные предчувствия, говорящие не столько о будущем, сколько об их фобиях, и что повторяющийся сон Шифры есть не более чем отражение ее собственной нерешительности — ощущения вполне понятного и не столь редкого. Это ощущение следует преодолеть, убедив себя, что она не первая, кого выдают замуж по выбору родителя в инте-

ресах государства, и что в принадлежности к правящей династии есть свои минусы и плюсы, но, поскольку плюсы явно перевешивают минусы — а единственным минусом, на который она может пожаловаться, пока является ее сон, — она, несомненно, может считать себя счастливой девушкой.

В день свадьбы к ней в комнату вломились и чуть ли не силой втиснули ее в свадебное платье, лопающееся по швам, поскольку портному были известны только ее прежние размеры, как и всем остальным, включая родителей, чье изумление при виде ее не вмещающейся в платье плоти было сравнимо лишь с ужасом, отразившимся на лице жениха. Однако взгляд его выражал ужас, смешанный с чувством удовлетворения, словно именно этого он ждал — толстую жену, девушку, по слухам, вполне хорошенькую, но испортившую свою внешность именно для него, посылая ему таким способом внятное сообщение «не подходи ко мне!», чему он был только рад соответствовать, поскольку согласился на этот брак совсем не ради удовлетворения своих естественных потребностей. Для этого у него дома было достаточно наложниц. Ему нужна была не жена, а власть, и его легкое отвращение к телу невесты было только на пользу, так как чувство семейной привязанности затруднило бы осуществление его плана.

Когда Птолемею пришло время отбывать со своей новобрачной и всем эскортом рабов и солдат, Шифра подбежала к отцу и, сцепив пальцы на его затылке, прижалась к нему изо всех сил. Ее невозможно было оторвать от Симона, как он ни старался мягко ее от себя отпихнуть. Она так горько рыдала и так отчаянно за него цеплялась, что у стражников слезы выступили на глазах, когда они отрывали ее от отца и частично волоком, частично на руках дотащили до свадебной повозки и опустили на сиденье рядом с Птолемеем. Когда кони тронули, она завопила как сумасшедшая: «Помни про сон, абба! Кровь на блюде, абба! Кровь на блюде!»

Спустя годы Симон и два его старших сына, Матафия и Иуда, объезжали города Иудеи, общаясь и с богатыми, и с бедными, справляясь об их нуждах; при них был чиновник, который все это записывал, — особая служба, учрежденная Симоном для будущих

поколений, которым не помешает усвоить урок справедливости по отношению к своему народу. Записи этого чиновника в тот же день копировались и отсылались в Иерусалим, где специально назначенные Симоном служители просматривали полученные списки, собирали необходимую провизию и доставляли нуждающимся. Когда Симон с сыновьями направился в Иерихон, Птолемей прислал им своих людей, чтобы препроводить их в небольшую цитадель, построенную им на утесе к северо-западу от Иерихона. По прибытии их усадили на почетные места в пиршественном зале, украшенном таким же количеством золота и серебра, какое украшало пиршественный зал самого Симона, на что Матафия заметил, что Птолемей подражает его отцу в манере убранства дома, а Иуда вторил брату, выразив надежду на то, что Птолемей подражает их отцу не только в роскошном украшении стен, но и в блеске ума и справедливом правлении.

Они ожидали, что Шифра выйдет приветствовать их, но им было сказано, что она нездорова. Симон не видел дочери с того свадебного дня, когда ее оттащили от него силой и отволокли в повозку Птолемея дворцовые стражники, которые до сих пор помнили скорбность ее тела, как бы отпечатавшуюся на их ладонях, подобно несмываемой краске. Матафия тихо сказал Симону, что не верит, что Шифра чувствует себя настолько плохо, что не в состоянии к ним выйти. «Я знаю свою сестру, — шепнул он убежденно. — Я ее достаточно знаю».

Симон остановил одного из слуг, несущего огромное блюдо с таким количеством мяса, что оно напоминало гору, увенчанную башней из оливок и винограда. Он спросил, собирается ли Птолемей присоединиться к ним, и получил ответ, что хозяин в настоящий момент занят, но обязательно поспеет к десерту.

— А десерт будет такой, которого еще никто никогда не видел, — уверил его слуга, размещая громадное блюдо на столе между отцом и его двумя сыновьями. Знаменитое иерихонское вино было подано в бокалах самой изысканной формы, которую Симон когда-либо встречал за пределами собственного дворца, и он нахваливал вино, пока наполняли для него бокал за бокалом из

большого бочонка, украшенного двумя изумрудами, что вызвало предположение юного Иуды о дурном вкусе хозяина, на что его брат, выпивший слишком много вина, чтобы высказаться членораздельно, только кивнул молча и, уронив голову на блюдо, погрузился в сон.

Птолемей сдержал слово и появился к десерту, в самом деле весьма необычному — мгновенному, яростному и кровавому, состоящему в том, что дюжина вооруженных до зубов молодчиков набросились на ничего не подозревавших гостей и перерезали им глотки, как жертвенному скоту. Кровь их лилась в блюда, кувшины, бокалы и открытый бочонок, в котором она смешалась со славным иерихонским вином.

Так подтвердилась правота Шифры, но никто не сообщил ей, что ее сон сбылся, да ей и не надо было это сообщать, ибо она никогда в этом не сомневалась. Она влачила жалкое существование в роли одной из наложниц своего законного супруга, и ее ничего не трогало в этой жизни, кроме одного: головы самого Птолемея, лежащей на блюде. Она ей мерещилась повсюду. Десерт с плавающей головой — так она называла про себя этот являвшийся ей образ и всегда добавляла такой рефрен:

— Злом за добро отплатил он отцу моему, и таким будет конец его.

Александр

Профессор настоятельно советует мне обращать больше внимания на ее тексты. Он говорит, что выполнить задание у меня никак не получается именно потому, что я так и не понял: все, что мне нужно, это пристально следить за развитием ее истории.

— Слабость твоя, — объясняет он, — проистекает из непонимания того, как надо относиться к ее писаниям. Относиться надо серьезно.

Он говорит, что ее история — это как бы карта, хотя она сама не понимает, что составляет карту или, другими словами, руководящее указание для нас. Он повторяет мне по многу раз, что, если бы до

меня дошло, что решение проблемы «*мы против них*», т. е. «*наш народ против их народа*» кроется в ее истории, я бы понял, как выполнить свою миссию.

— Читай внимательно и вникай в каждую деталь, — наставляет он меня. — Чтобы убить ради идеи, ты должен полностью понять образ мысли врага. Вот, например, кто этот Птолемей, сын Авува, которого она описывает как монстра? Когда ты глубже вникнешь в ее представления — давай их так назовем, — ты поймешь, что он один из нас, потому что он сделал правильное дело.

Когда он видит, что я так ничего и не понял, то советует мне перечитать ту главу, в которой Птолемей приглашает Симона с сыновьями в свою цитадель на пир, и слуга обещает, что «десерт будет такой, которого еще никто никогда не видел», и через несколько абзацев выясняется, что речь идет о головах предводителя евреев — этнарха — и двух его сыновей.

Мне хочется спросить: так вы считаете, что я должен, как у нее в этой истории, отрезать ей голову и дать ее крови пролиться в вино? Но все, что я говорю, это «она не пьет».

— Да ладно, — добродушно отвечает Профессор. — Конечно, выпивает.

Он похлопывает меня по плечу и говорит, что с моей стороны глупо думать, что кто-то может описать такую историю и при этом не употреблять спиртное. Вообще все писатели пьющие, добавляет он, я-то знаю, я же работал в издательском бизнесе. Все они пьют, особенно те, которые сами не понимают, что стоит за их писаниной. А она-то уж точно не понимает, что стоит за ее историей. Если бы понимала, разве стала бы?..

— Стала бы что? — спрашиваю я.

— Ну ты же не идиот. Догадайся.

Я отвечаю, что нет, не догадываюсь. Он говорит: «Ну она же нам помогает, неужели непонятно? Она выдает то, что они держат в большом секрете, то, в чем их сила, я, конечно, не оружие имею в виду. Я имею в виду совсем другой вид оружия — ту их силу, о которой можно узнать, только если ты один из них. А она не сознает, что открывает нам способы, как их победить, потому что не зря тай-

ная история их царей должна была тайной и остаться. А рассказывая об этом, она не просто их ослабляет, нет, она снабжает нас поэтапной инструкцией о том, что нам надо предпринять в этой ситуации.

— В этой ситуации? — повторяю я за ним, как идиот, которым, как он только что сказал, я не являюсь. Тут он мне и говорит, что, если я не понимаю, о чем речь, то, значит, он зря сказал, что я не идиот. Даже ребенку должно быть понятно, о какой ситуации идет речь, а вот действовать в ней может только взрослый. Он-то считал, что я именно такой. Он сжимает мое предплечье и говорит, что мускулы у меня крепкие, но этого недостаточно, что-то у человека и в верхнем отделении должно быть. Он указывает на свою голову и говорит, что ему не повезло — у того, кого он выбрал для осуществления такой важнейшей миссии, в верхнем отделении, увы, явная нехватка содержимого. Мне не нравится, что он называет мою голову верхним отделением. Не знаю, где он подцепил это выражение. А уж если речь зашла о головах, то я бы ему сказал, что его идея последовать примеру Птолемея, этого голощекого психа из книги Галии, заказавшего отрезанные головы своих гостей на блюде, для нашего времени плохо подходит, хоть он и уверяет меня, что эта книга — что-то вроде инструкции, следуя которой мы должны достичь своих целей.

— Даже если она не пьет, — продолжает он после затянувшейся паузы, — ты это вполне можешь сделать. Ты должен найти способ. Главное — поработать этим, — снова постукивает он себя по голове. — Главное — войти к ней в доверие.

Я бы ему ответил, что войти в доверие не проблема. Она мне доверяет больше, чем хотелось бы; она за мной бегаёт, как собачонка. Когда я у нее в доме неделю не работал, она потащила в Ригопарк специально, чтобы со мной повидаться. Я сказал, что мы поговорим в другой раз, я ведь через несколько дней опять буду у нее работать. Но ей позарез надо было со мной поговорить именно сейчас. Я вежливо спросил, что случилось. Она ответила, что ничего не случилось. Тогда с чего такая срочность? Я всего-навсего строительный рабочий, нанятый для работы в ее доме, так с чего это она

срывается с места и едет на другой конец города, только чтобы со мной поболтать? Я решил, что, если скажу, что иду в мечеть на вечернюю молитву, до нее дойдет, что она туда за мной пойти не может. Но ее и это не остановило: ей взбрело в голову пойти со мной. Я бы мог ей ответить: вы женщина и не можете пойти со мной в мечеть. Или так: вы еврейка и не можете пойти со мной в мечеть. Или, наконец, так: послушайте, мечеть — это вам не бар и не дискотека; это не то место, куда мужчина и женщина могут сходить поразвлечься. Туда ходят на свидание с Богом, а не с женщиной. Но все это осталось у меня в голове, а рот мой произнес: «Мне пора. На вечернюю молитву. Очень извиняюсь. Поговорим другой раз». И я отключил телефон.

Профессор говорит мне, что я слишком долго заставляю его ждать только из-за того, что объект оказался привлекательным и внешне, и по манере вести разговор. Он утверждает, что этим она меня и купила, и теперь я даже испытываю к ней какие-то чувства.

— Ты должен с этими чувствами бороться, друг мой, и не только потому, что твоя религия это запрещает, но и потому, что тебя ждет твоя высокая миссия! Тебя ждет твой народ! Он долго ждал, пока ты тут предавался запретному влечению, являющемуся, впрочем, вполне естественной мужской слабостью в присутствии хорошенькой женщины.

Когда Тайный Организатор вещает, он поглаживает свои гладкие щеки, и каждое его слово проникает мне в душу. Я забываю, что просил его избавить меня от плохих парней; забываю, что он пока так и не выполнил свое обещание сделать мне грин-карту; забываю даже пришедшую мне в голову прямо перед приходом сюда странную мысль: эти плохие парни и эти «каналы», через которые, как он постоянно твердит, можно сделать мне грин-карту — не одни и те же ли это люди?

— Ты силен, ты одинок, — не унимается он, — и твой долг по отношению к твоему народу стоит выше твоих личных интересов. Не смотри на нее, не слушай ее речей, покончи с ней и ступай себе с Богом.

Хасмонейская хроника. Глава V. Продолжение

Птолемей, сын Авува, написал послание Антиоху, сыну Деметрия, прося у него большое войско, чтобы помочь ему, Птолемею, отвоевать страну у евреев, сообщая при этом, что он покончил с их первосвященником и этнархом и двумя его наследниками, и будучи уверенным, что Антиох это его деяние оценит по заслугам.

Антиох как раз выходил из своей новой бани, когда ему вручили письмо от Птолемея. Пока две служанки вытирали его тело и ублажали его кожу душистыми маслами, он прочел послание, и первой его мыслью было, что оно написано недостаточно почтительно. Тем не менее он приказал отправить Птолемею, сыну Авува, стратегу Иерихона, вооруженные отряды, ибо давно намеревался отвоевать Иудею у братьев Маккавеев, а Птолемей при всей его недостаточной почтительности представлял собой идеальную фигуру номинального командующего, не наделенного реальной властью. «Иудея будет моей», — похвалялся про себя Антиох.

Пусть он получит войско. С Иоанном, младшим сыном Симона и последним отпрыском Хасмонеев, надо покончить быстро и решительно, пока тот не узнал об убийстве отца и братьев и в нем не проснулся дар стратега и полководца еврейской армии — дар, который в крови у каждого Маккавея.

— Разделайся с третьим сыном прежде, чем он успеет придумать хоть один маневр, — произнес он, уединившись в «зале размышлений», единственном помещении во всем дворце, куда не разрешалось заходить его вездесущей супруге. Позже, уже стоя перед своими военачальниками с простертой рукой, отдающей честь самому себе — жест, который он изобрел в тиши «зала размышлений», — он повторил те же слова с непререкаемой царской интонацией:

— Разделайтесь с третьим сыном прежде, чем он успеет придумать хоть один маневр.

Хотя его приказ был принят безоговорочно и дословно, с Иоанном, известным как сын Симона, но на самом деле сыном Януса,

зачатым в тот день, когда Цадика споткнулась о плохо прикрепленную планку порога, так просто разделаться не удалось.

Люди гладкощекоего Птолемея, посланные им в Газару с заданием убить Иоанна, не преуспели в исполнении задания, ибо один из них, питавший симпатию к Иоанну, а своего хозяина ненавидевший, уведомил Иоанна о приеме, которого удостоились его отец и братья в птолемеевской цитадели. Как Иоанн ни был потрясен услышанным, у него хватило присутствия духа птолемеевских посланников арестовать, и они в ответ на обещание их помиловать рассказали Иоанну во всех подробностях о плане Птолемея убить его и раздавить Иудею пяткой, как клопа, — как клопа, повторил один из птолемеевских посланников в то время, как остальные подтверждали его слова кивками.

Иоанн намеревался помиловать их, поскольку полагал их не столько врагами, сколько всего лишь орудиями в руках врага, но жена его, заметив, как смягчился его взгляд, не замедлила напомнить ему, что это те самые люди, чьи руки держали оружие, сделавшее из его возлюбленного отца и двух старших братьев кровавое месиво, и что даже раб может отказаться служить орудием убийцы.

— Как он может отказаться, если он раб?

— Может, — сказала она, — если его вера достаточно сильна.

— Раб живет для того, чтобы исполнять волю своего господина, — заключил спор Иоанн.

Раме надоела мягкотелость супруга. То, что он был одним из Хасмонеев и сыном первосвященника, было недостаточно, чтобы сделать его по-настоящему честолюбивым, а она была полна решимости сделать из него именно такого мужчину, которого она считала бы мужем, достойным ее самой. Ее супруг должен быть великим деятелем, вершителем судеб. Она с такой страстью убеждала его проявить твердость по отношению к врагам и войти в историю, что он, дабы ублажить ее, приказал предать своих несостоявшихся убийц смерти, а их тела бросить в овраг на окраине Газары на растерзание хищным птицам и грызунам. Прилив решимости наполнил сердце молодого Иоанна. Теперь он знал, что сделает с войском, посланным Антиохом, сыном Деметрия, чтобы поддер-

жать наступление Птолемея. Он в безмолвии ехал впереди своего войска, и его молчание, как и молчание его бойцов, таило в себе смертоносную силу, куда большую, чем та, которой обладали вооруженные до зубов солдаты Антиоха, чье оружие оказалось совершенно бесполезным. Так же безмолвно Иоанн наблюдал, как греки, посланные с заданием изрубить его, бросали мечи и удирали, пугаясь собственной тени.

Что касается Птолемея, чье поражение оказалось столь тяжелым и чья жизнь столь бесславной, что единственное, на что он был способен, дабы не ощущать себя никем, это заставить дочь Симона танцевать перед ним нагишом. Удовольствие от унижения Шифры усиливалось, когда он приказывал ей укладываться на каменный пол в позе трупа и оставаться в таком положении, пока ему не надоедало это зрелище. Кончалось всегда тем, что он сильно наступал ей на пальцы рук или ног, после чего брезгливо вытирал ноги специально предназначенным для этого куском ткани, бормоча «Симоново отродье», пока она вопила от боли. Со временем, однако, она научилась сдерживаться и лежать как настоящий мертвец, что, как она знала, лишало некоторой доли наслаждения убийцу ее отца и братьев, который, конечно, не замедлил применить еще более садистские способы, чтобы заставить ее кричать. Но, так как она уже умела себя контролировать, вызывая в памяти образ отца, держащего ее на руках и повторяющего «Шифра, будь сильной!», с ее губ не срывалось ни единого стога. Жестокость Птолемея все возрастала, пока однажды ее молчание и упорство не продлились слишком долго. Он поднял ей веки и убедился, что она действительно превратилась в труп. «Все, с евреями покончено», — произнес он и вышел вон.

Но с ними пока не было покончено, так как оставалась еще Цадика, Симонова вдова, женщина настолько тихая и незаметная, что невозможно было представить себе, что когда-то она жила во дворце, познала вкус власти и немедленное исполнение любого своего желания было для нее привычным делом, ибо теперь у нее не осталось никаких малейших желаний. Даже дочь свою ей не хотелось увидеть — дочь, ради которой она последовала в Иерихон за Симо-

ном и двумя их сыновьями. Она приехала сюда, чтобы возрадоваться семейному счастью дочери. Она хотела прикоснуться к этому счастью, подержать его в ладонях, нежно его обнять, как если бы это был живот с младенцем внутри. И даже если бы в нем не было младенца, она мечтала о том, чтобы видеть свою дочь счастливой в ее женской участи и хотя бы избыть в себе мучительное чувство вины, когда она вспоминала, как Шифра кричала «Кровь на блюде! Кровь на блюде!», пока ее оттаскивали от отца и волочили в свадебную повозку.

Птолемей приказал поселить Цадику в помещение для женщин, которое на самом деле было размером с каморку; в ней вряд ли бы могла поместиться еще одна женщина. Он намеренно выбрал для нее это помещение: только тонкая стенка отделяла его от пиршественного зала, и он был уверен, что это соседство предоставит ей возможность слышать стоны ее умирающего мужа и двух ее мальчиков. Она действительно сразу распознала голос каждого из них, и ее совсем не удивило, что крики Матафии звучали громче, чем крики Иуды и Симона. Он всегда был несдержанным мальчишкой, этот Матафия, всегда готовым «выразить себя», как он это называл. Она называла это «потерять всякую осторожность», а он называл это «говорить от сердца». Даже на важных встречах, например, с посланниками других государств, он не считал нужным сдерживаться, даже, напротив, считал свою несдержанность чуть ли не достоинством, несмотря на явное неодобрение родителей. Умение в других сдерживать себя он объявлял проявлением малодушия и не постеснялся высказать это вслух даже при римском посланнике, из-за чего Симон запретил ему появляться на пирах, где решались государственные дела. Возможно, в эти последние минуты жизни Симон пожалел, что не запретил ему явиться и на этот пир — не только потому, что тогда этот его сын остался бы в живых, но и потому, что его вопли и стенания бросали тень на достоинство и силу духа Симона, свойственные всем Маккавеям. Его другой сын, Иуда, издал один-единственный стон, когда на него навалились двое здоровенных детей из Птолемеевой челяди, но этот стон отозвался в душе Цадики такой болью, что она мгновенно лишилась сознания. В себя

она пришла лишь через несколько дней. Через сколько, она не знала, так как никто и не думал извещать ее о течении времени, да и ей было не до этого, когда ее тащили через всю Птолемееву крепость, через все помещения, а ее голова билась о холодный каменный пол, и все комнаты казались ей не отличимыми одна от другой, не считая тех, в которых она успела заметить золотые и серебряные украшения и узнала в них свадебные дары от Симона. Ее выволокли наружу на башни крепости. Впервые за много дней она увидела небо и вдохнула глоток свежего воздуха, и этот глоток привел ее в сознание. Она почувствовала, как ее шею коснулся какой-то гладкий предмет, но не поняла, что это. Мгновение спустя, когда этот предмет снова коснулся ее шеи, но уже надавив на нее, она почувствовала, что предмет этот острый — то ли нож, то ли острие копья, она не могла различить, что именно, да и не различала она эти мужские оружия, предназначенные для убийств и увечий. Она была всего-навсего женщиной, вдобавок старой женщиной. Но не может же Птолемей совершить такое со своей тещей! Что это за «такое», она не могла представить, пока острие не вошло в нее еще глубже и на ее крик боли не отозвался эхом мужской голос снизу. Ей не было видно, кто это кричал, но голос был таким знакомым, таким родным, что мог принадлежать только Иоанну, единственному живому ее сыну. И теперь, когда она была совершенно уверена, что это он, она не могла понять, как он сюда попал и что он делает здесь, ведь здесь убили его отца и двух братьев. Тоже заразился тягой к смерти? Пришел сюда, чтобы подарить свою жизнь гладкощекому Птолемею из необъяснимого желания разделить участь отца и братьев? Но это было так несвойственно его жизнелюбивой натуре, что сперва она подумала, что ее младшенький обезумел от горя, и именно безумие привело его сюда. Однако в мгновения, последовавшие за его первым криком, она распознала и другие звуки, и они наполнили ее сердце надеждой, ибо это были голоса людей Симона, и они выкрикивали ее имя и требовали ее освобождения, и как раз тогда, когда ее стала охватывать радость от сознания, что они пришли забрать ее отсюда, острие, больно впивавшееся в ее шею, сместилось южнее, под ее левую грудь, и, чем громче они кричали снизу, требуя освобо-

дить ее, тем глубже это острие проникало в ее плоть, и она пыталась сдержать крик, но не могла.

Она слышала крики Иоанна, полные сострадания, эхом отозвавшиеся на ее боль, и поняла все: ее вытащили сюда, к этим башням, только для того, чтобы остановить ее сына и его воинов, помешать им взять цитадель штурмом; поняла она и то, что гладкощекий Птолемей оказался хитрее, чем все негодяи, с которыми Хасмонеи имели до этого дело. Мысль о том, что она сама отдала несчастную Шифру этому злодею, пронзила ей сердце глубже, чем копьё мучителей. И тут физическая боль от копья стала для нее облегчением от боли душевной. Вместо того чтобы кричать от боли, она воззвала к Иоанну и, с трудом справляясь со словами, повелела ему атаковать и взять Птолемея, а не стоять там в позе жертвы, окаменевшей от зрелища ее мучений.

— Именем твоего отца Симона, твоих братьев Иуды и Матафии и твоей сестры Шифры приказываю тебе не обращать внимания на мои страдания и победить в этом праведном бою!

Иоанн честно пытался осадить цитадель, но каждый раз, как он слышал материнский крик боли, его взгляд становился безумным, приводя его бойцов в такое замешательство, что они не находили в себе мужество противостоять птолемеевским солдатам, которые распугивали их, как ворон, всего лишь потрясая оружием. Иоанн, осознав наконец, что, если он не прекратит ощущать боль матери как свою собственную, цитадели ему не взять и отец с братьями останутся неотомщенными, сделался глух к материнским стонам и вновь вдохнул мужество в своих воинов.

Их атака была столь внезапна, что люди Птолемея бежали, и Иоанн преследовал их и уже ворвался в стены крепости, когда Птолемей, следивший за ходом боя из-за укрытия, прибег к уловке, которую он приберет к самому концу: он приказал палачу пронзить копьём сердце Цадики. Когда мать Иоанна испустила последний вздох подле крепостных башен, он пал на землю бездыханным, и двоим из его бойцов пришлось его унести. Бой был проигран, войско Иоанна отступило в Иерусалим, а гладкощекий убийца Птолемея, сын Авува, продолжал жить-поживать как ни в чем не бывало.

Александро

Когда Профессор завершает свою речь, глаза у него сияют и гладкие щечки его розовеют от поглаживания ладонями: мне кажется, он нуждается в этом поглаживании, для того чтобы придать своим словам большую значимость. Меня разбирает сказать ему, что ему совершенно не обязательно потирать щеки, чтобы придать своим словам больше значительности. Я бы и вообще обошелся без его речей. На следующий же день, когда я снова работаю в доме Галии, я уже готов претворить его речи в действие. Вот она тут как тут, показывает мне один из своих дурацких предметов мебели, который она покрасила, да еще и спрашивает, что я об этом думаю.

— Хотите знать, что я об этом думаю? — отзываюсь я, и вместо того чтобы сказать то, что обычно говорю в этом случае, типа «Это надо пошкурить» или «Почему у вас такие дешевые кисти?», я делаю едва заметное движение правой рукой, но она повинуется этому жесту так легко, что я теряюсь от неожиданности, и вот она уже стоит, прижавшись спиной к стене, готовая к тому, о чем она и представления не имеет. Это та самая стена, которую она разукрасила своими идиотскими рисунками — мальчишкой, стреляющим из лука в двух взрослых людей — мужчину и женщину. Я не помню, что она про это рассказывала, что за глубокий смысл в это вкладывала, но что бы это ни значило для нее, для меня в этом смысла нет никакого. Повторяю, никакого. Она думает, что мой незаметный жест означает, что я собираюсь ее поцеловать, и она встает на цыпочки, чтобы мне было легче дотянуться губами до ее губ, и смотрит мне в глаза, как смотрят женщины, когда они готовы отдаться мужчине, и я говорю про себя голосом Тайного Руководителя: «Мадам, вы — центр Хасмонейского заговора; вы — опасность, от которой я должен избавить свой народ; для меня вы — не более чем задание. Вы даже представления не имеете, что вы для меня не женщина, а объект». Она закрывает глаза, и вид у нее такой, словно она сейчас грохнетя в обморок от того, что стоит так близко ко мне, и я твержу про себя: «Задание важнее влечения; желание и жалость не име-

ют значения; сострадание — не более чем слабость, которую надо преодолеть».

Она берет меня за руку и кладет ее на свое плечо — так, что мой большой палец оказывается у самого ее горла. В голове у меня звучат слова Профессора: «Перережь нить, которая связывает тебя с ее взглядом, лицом, голосом! Перережь ее ножом!» Нет, нож мне для этого не нужен. Немножко нажать на горло, и дело сделано. Мне остается только правильную точку найти и нажать большим пальцем. У меня снова в ушах голос Профессора: «Ты должен убить в себе это чувство, которое у тебя возникает, когда она ходит за тобой, обращается к тебе, смотрит на тебя такими глазами, будто ее жизнь от тебя зависит».

— Твоя жизнь от меня зависит, — говорю я вроде бы про себя, а не вслух, поэтому меня удивляет, что она охотно кивает головой, подтверждая, что согласна с этим. Она не знает, что мой большой палец уже почти у ее горла и через несколько мгновений она умрет. Губы ее приоткрыты, она встает на цыпочки, как будто хочет дотянуться своими губами до моих. Ее непонимание того, что я собираюсь сделать, настолько удивительно, что мне даже ее жалко. Я почти безмолвно повторяю наставления Профессора: «Я силен, одинок, и мой долг по отношению к моему народу стоит выше моих личных интересов». Она улавливает два первых слова и говорит: «Да, Александр, ты сильный». Ее голос прорывается сквозь голос Профессора, заставляя его звучать нелепо, и мой большой палец соскальзывает с ее горла. Я отворачиваюсь от нее. Нет, я не могу перерезать нить, связывающую меня с ее лицом, взглядом и голосом. Она кладет мне руку на плечо и спрашивает тихо: «Что с вами, Александр?»

Я поворачиваюсь и ухожу, не прощаясь.

Глава 6

Хасмонейская хроника. Глава VI

Иоанн соблюдал закон с таким рвением, что его дед Матафия мог бы внуком гордиться, а в тех случаях, когда его умению управлять государством мешало совмещение царских и первосвященнических обязанностей, он испрашивал советов у деда.

На этот раз Иоанн колебался, принять греческое царское имя Гиркан или нет, и дух Матафии был категорически против, поскольку имя это воплощало все, с чем он боролся в своей земной жизни, а именно «мерзость запустения», как сказано в книге пророка Даниила и повторено в Первой книге Маккавеев. После многочисленных бурных споров, в ходе которых младший проявлял столько терпения по отношению к старшему, сколько у него в помине не было в отношении к живым, Матафия в конце концов сдался, а во время официальной церемонии даже возложил мерцающую неясным светом руку на плечо внука в знак благорасположения.

Иоанн Гиркан вновь воззвал к духу Матафии, когда стены Иерусалима обложила армия Антиоха Сидетского. Иоанн прекрасно понимал, что его войско значительно уступает в численности сирийскому. Он просил у деда позволения вскрыть склеп царя Давида, чтобы откупиться от вражеского монарха, но дух Матафии и договорить ему не дал.

— Не смей тревожить даже землю, покрывающую гробницу царя Давида! — воскликнул он полупшепотом, и в этом восклицании было столько ярости, что внук не решился эту тему продолжать.

Антиох VII был для Иоанна таким же злейшим врагом, каким его тезка Антиох IV был для первого поколения Маккавеев, но, в отличие от своих предшественников, этот новый Антиох жаждал серебра гораздо больше, чем подлинного покорения еврейского царства. Хотя антиоховские долги были не столь огромны, как его армия, они были достаточно велики, чтобы мешать ему насладиться близостью его многочисленных наложниц, а так как его мужская сила была для него важнее, чем военная, приходилось отнестись всерьез к его обещанию не снимать осаду с Иерусалима, пока он не получит выкуп.

Иоанн, или, как его стали величать, Иоанн Гиркан, должен был сделать выбор: или выплатить Антиоху безобразно большую сумму, которую тот затребовал, или послать его куда подальше и тем самым снова подвергнуть город мерзости запустения с водворением истукана Зевса в Святая Святых и сбрасыванием с городских стен матерей обрезанных младенцев. Он выбрал выкуп: не потому, что был трусом, в чем его обвинил Матафия, а потому, что имел доброе сердце. В результате духу деда пришлось отступить перед доводом, что свобода лучше порабощения, а мир лучше войны, даже если он куплен ценой святотатственного вскрытия склепа царя Давида и изъятием из его священных глубин трех тысяч талантов, фигурирующих в антиоховском ультиматуме.

— Гробницу придется открыть, поскольку мне больше неоткуда взять такую сумму, — объяснил Иоанн. — Иногда компромисс требует больше мужества, чем бунт, дорогой дедушка.

Тем не менее дух Матафии отказался материализовываться для поддержания этого граничащего с государственной изменой диалога, и Иоанн понял, что беседует сам с собой, и его рука, которую он сперва принял за руку деда, повисла в воздухе. Утомившись ощущать себя жестикулирующим, как ненормальный перед отсутствующим собеседником, не поддающимся, таким образом, уговорам, он отправился за советом к жене. В отличие от Матафии, она проживала в мире реальном, и реальность ее мира значила для него больше, чем даже обязательства перед духом.

Рама, имя которой происходило от местности, где когда-то жил и умер пророк Самуил, была женщиной гордой. Никто из ее пред-

ков не отказался от своего исконного имени в эпоху принудительной эллинизации, и свое имя она несла с достоинством, хотя особенно мужества в приверженности к чисто еврейскому имени уже не требовалось после того, как Иоанновы дед и дядя Иехуда вернули этим именам прежнюю легитимность.

— Хотелось бы от тебя услышать, — сказала она, выслушав объяснения Иоанна, — в чем различие между двумя типами победы: победой посредством компромисса и победой посредством войны.

Иоанн сначала собирался отшутиться от попытки жены решить проблему путем логических умозаключений, но, видя по ее глазам, что она настроена на серьезный лад, подавил в себе это желание и ответил, что компромисс не обязательно приводит к победе.

— Действительно, не приводит, — согласилась она. — Наоборот, может привести к поражению.

— Ты рассуждаешь прямо как Матафия!

— Я только утверждаю, что и компромисс, и война могут привести как к победе, так и к поражению. Если ты стремишься к победе, зачем мучиться вопросом, какой способ тебя к ней приведет?

— Но ведь...

— Никаких но, — бесцеремонно прервала мужа Рама. — Я хочу, чтобы осада была снята как можно скорее. И без пролития единой капли крови, причем обеими сторонами.

— С чего это нас должны заботить их капли крови? — спросил Иоанн. — Им-то на нашу кровь наплевать!

— А просто потому, что мы должны быть лучше их. Потому что мы должны блюсти заповеди, в соответствии с которыми на нас лежит обязанность не проливать кровь даже тех, кто делает нам зло. Как единственная хасмонеи́нская жена, не запятнанная ни единой каплей греческой крови, вернее говоря, ни единой каплей семени олимпийских богов, смею утверждать, что я неплохо разбираюсь в этом вопросе.

На это Иоанн отвечал, что не понимает, о чем она. Для него это прозвучало как полный бред — что за капли семени олимпийских богов? Она что, намекает на нечто непристойное со стороны его ма-

тери Цадики, самой добродетельной из женщин, замученной до смерти на его глазах Птолемеем, или его дорогой тетушки Едиды, или тети Нехоры — образцов всевозможных женских и просто человеческих добродетелей?

— Я вовсе не собиралась бросать тень на женщин из твоего семейства, — ответила Рама. — Я только хотела сослаться на малоизвестные факты, которые, если их рассматривать в определенном аспекте, дают тебе основание, а то и полное право вскрыть гробницу царя Давида, имея в виду, что твоя цель — сохранить мир. Твои хасмонеи предки восстановили Закон, но их жены нарушили родословную линию еврейских царей, идущую от царя Давида. В виду всего этого вскрытие его гробницы — твое наследственное право: став первым и единственным человеком, приблизившимся к останкам Давида, ты обретаешь возможность очистить свою родословную линию от осквернений, которым она подверглась с того времени, когда первая хасмонеи́ская жена приняла в себя семя олимпийского бога. Я не хочу называть имен. У меня нет никакого желания порочить доброе имя наших женщин. Я только помогаю тебе сформулировать основания, опираясь на которые ты сможешь отнестись к вскрытию гробницы царя Давида не как к греху кощунства, а как к благому делу. Как к ми́цве.

Хотя Рама не была осквернена семенем бога-олимпийца, ей было невозможно отказать в логике, достойной лучшего греческого ума, — это при отсутствии греческого образования! Поэтому Иоанн Гиркан и поздравил свою супругу, назвав ее женщиной исключительного ума. В тот же день он вскрыл гробницу царя Давида, не прибегая к помощи умельцев, обладающих и инструментами, и мастерством, необходимыми для вскрытия захоронений, к которым много веков никто не смел прикасаться. Он поднял каменную плиту, служившую крышкой, потом другую, представлявшую собой внутреннюю дверь, и, наконец, третью, которая, казалось, была самой гробницей, но в действительности являлась умело замаскированной сокровищницей. В нее он запустил руку и отсчитал ровно три тысячи талантов. К остальному серебру он не притронулся, вернул плиты в положение, в котором они покоились столетия, преде-

лав все эти манипуляции с надлежащей тщательностью, дабы не потревожить священные останки, которые он так и не увидел, ибо приказал своим глазам не смотреть, а рукам — не дотрагиваться даже нечаянно до покрытого пылью времени и паутиной царя. Он сложил серебряные монеты в холщовый мешок, который предусмотрительно захватил с собой, и под покровом темноты вернулся во дворец.

В ту же ночь он отправил своего доверенного Шемера к Антиоху Сидету с уведомлением о том, что вся сумма требуемого выкупа будет ему вручена, как только обе стороны договорятся о встрече, обеспеченной надлежащими гарантиями безопасности для обеих сторон. Хорошо помня судьбу своего отца Симона, а равно и своего дяди Ионатана, он, вместо личной встречи с Антиохом, отправил к нему делегацию из лучших своих людей, не желая подвергать проверке свои подозрения по поводу того, что селевкидский царь окажется не столь достойным доверия, каким бы он хотел его видеть в тот памятный день, когда его жена Рама — та, в чьем теле не было ни капли греческой крови — уговорила его вскрыть гробницу царя Давида, чтобы оплатить цену свободы. Доставив выкуп, посланники вернулись в целостности и сохранности, передав приветствия Антиоха и сообщив, что своими ушами слышали, как селевкидские военачальники выкрикивали приказы солдатам собирать манатки.

Прошел один день, другой, а на третий, в ответ на один и тот же вопрос Иоанна «Так ушли они?», Шемер, который следил за каждым шагом противника, сказал «в целом, да», а на четвертый его ответ был «насколько это доступно глазам, да».

Рама же не упускала возможности рассказывать о своем совете мужу, совете, спасшем народ Иудеи. В качестве царской жены она имела обширную аудиторию, вынужденную внимать различным вариантам этой истории. По мере обрастания все более красочными подробностями она постепенно превращалась в легенду, известную всем жителям Иудеи, даже тем, что обитали далеко от Иерусалима, в Хевроне и Беэр-Шеве и отродясь Раму в глаза не видели. Они пересказывали друг другу историю о том, как Иоанн проник в потайное помещение и наложил руки свои на гробницу

царя Давида, каковая, лишь только Иоанн произнес слова Давидова псалма «Услышь голос молений моих, когда я взываю к Тебе, когда поднимаю руки мои к святому храму Твоему», сама раскрылась. И они говорили: «Такова сила Господня, что, когда мы поступаем праведно и в надлежащее время, Он пособляет нам отомкнуть любую дверь».

«Любую дверь, слышите, дети», — не уставала повторять Рама своим сыновьям Аристобуду, Антигону и Абшалоу. Греческие имена двое старших получили под напором того же эллинского влияния, из-за которого даже Иоанн принял греческое имя Гиркан, но точно так же, как она называла мужа Иохананом — ни в коем случае не Гирканом! — сыновей она звала только их еврейскими именами. Многократно рассказываемая ею история о том, как ее муж вскрыл гробницу царя Давида, с годами переплелась с описанием периода стабильности, последовавшего за отходом антиохова воинства от стен Иерусалима. Позже, когда все преимущества этой стабильности себя исчерпали, она стала использовать ту же историю для объяснения причин, по которым период спокойствия сменился периодом дерзких военных побед.

— Сила царя Давида, — любила она рассказывать при любом удобном случае, — вдохновила моего мужа на завоевания, которыми сам Давид вполне мог бы гордиться. Трансиордания, Самария, Галилея, Идумея — разве эти завоевания не достойны самого Давида?

Впервые приглашенные в дом Хасмонеев удостаивались не краткого изложения, а всей истории целиком, каковая обычно начиналась словами: «Если вы хотите понять, как получилось, что столь миролюбивый человек, как мой муж Иоханан, одержал столько побед, все, что вам следует вспомнить, это Чудо Вскрытой Гробницы».

Рама нуждалась во все новых и новых слушателях. Ее материнские инстинкты возрастали по мере возмужания сыновей, но сколь ни сильно было ее желание видеть в них детей, нуждающихся в материнской заботе и согреваемых теплотой ее рассказов, мальчики с такой же силой рвались избавиться от уз, которыми они были связаны с матерью. Когда же громкая и сердитая реакция сыновей ста-

ла повседневной реальностью, Иоанн предложил завести еще одного ребенка. На этот раз у них, возможно, родится дочь (разве ей не хочется после трех мальчиков получить девочку?). Но она это предложение категорически отвергла, сказав, что трех беременностей более чем достаточно для такой хрупкой женщины, как она, тем более женщины интеллектуальной, а не какой-нибудь несущки.

— Но, послушай, — ответил на это муж, — я исхожу из того, что ты — да и всем это очевидно — замечательная мать нашим сыновьям, которые перестали держаться за материнскую юбку. Мальчишки растут быстро, а девочки дольше остаются детьми. Не говоря уже о том, что послушание и восприимчивость — свойства, которое все мы хотели бы видеть в наших дочерях — делают их благодарными слушателями. А благодарный слушатель — это именно то, что тебе нужно.

Рама явно не была в восторге от столь упрощенного взгляда на ее нужды и от мужниной готовности их удовлетворить. Она предпочитала полагать себя человеком, заботящимся о нуждах других людей, желают они этого или нет, как пронизательно заметил муж, несколько более пронизательно, чем ей бы хотелось. В глубине души она женщина простая, сказала она. Если муж желает получить девочку, совершенно не обязательно утруждать ее утробу. Она слышала о маленькой девочке-сироте, привезенной из Самарии фарисейским священником, знаменитым тем, что он успешно обращает в истинную веру местных жителей исключительно мирными средствами: сила его убеждения такова, что люди, чья страна была завоевана мечом, охотно следуют за человеком, единственное оружие которого — вера и слово. Нельзя ли эту сироту поручить Раме, чтобы она воспитала ее, как собственную дочь? Таким образом она могла бы иметь дочь, не нагружая еще раз свое чрево, закончила она.

Хотя Иоанн обладал двойной властью — первосвященника и царя, — он был бессилен перед своей женой. Пока было неясно, насколько сильно Рама хотела эту маленькую сироту, но, если бы она стала на этом настаивать, ему бы ничего не оставалось, как заполучить для нее ребенка. В глазах людей девочка может выглядеть слу-

жанкой Рамы, этакой домашней игрушкой. Он стал думать о том, как устроить им обеим встречу, не привлекая ненужного внимания, и решил, что заполучить девочку во дворец безопаснее, чем Раме ее навестить.

Когда Иоанн оставался наедине со своими мыслями, унижительные условия мира с Антиохом VII Сидетским вставали перед его взором, как стрелы, нацеленные прямо в сердце. За что он заплатил три тысячи талантов серебром? За окрестности Иерусалима, которые люди Антиоха беспощадно грабили во время годовой осады города? За беженцев, которых не пропускали сквозь антиоховский лагерь, в результате чего они оказывались зажатыми между двумя армиями? И если бы речь шла только о серебре из гробницы Давида! Нет, условия мира были направлены еще и на то, чтобы унижить его, Иоанна, лично, и Иудею в целом: снести зубцы башен с бойницами на иерусалимских стенах; вступить в войну с Парфией на стороне Антиоха; признать Иудею территорией, контролируемой Селевкидами. И на все это он согласился. Никакого мира не было бы, если бы он отверг хоть одно из этих условий.

Его размышления были прерваны словами Рамы:

— Слуга священника ждет твоего решения, Иоханан. Он хочет знать, желаешь ли ты, чтобы девочку привели сюда сегодня же.

— Если ты хочешь, чтобы ее привели сегодня, скажи ему об этом.

Он не знал, как это лучше сформулировать, а именно то, что в пределах дворца ее слово было законом, а так как вся эта ситуация с девочкой была определено внутриворцовым делом, все решало ее, а не его желание, ибо во внутриворцовых делах он руководствовался не всегда ясным ему самому пониманием того, что доставляет удовольствие Раме. В моменты самоуничижительной откровенности с самим собой он признавался, что именно честолюбие Рамы, столь отличное от его созерцательной бездеятельности, подтолкнуло его набрать целую армию наемников, чего никогда раньше не было в Иудее, и завоевать Самарию, Трансиорданию, Галилею и Иудею — эти ломтики земли, которые превратили Иудею в довольно-таки крупный пирог, совсем не похожий на ту территорию, которой она была по его возвращении из плена в селевкидской армии.

И только теперь, когда Идумея была покорена и ее мужчины учили слова, с которыми обращаться к Богу, а ее женщины готовили очаги к священному бездействию Шаббата, только теперь у него нашлось время остановиться и поразмыслить.

Точно так же, как амбиции Рама привели к тому, что сегодняшние границы Иудеи раздвинулись за счет территорий, заселенных исконными врагами евреев, или, как она нашептывала ему каждую ночь перед отходом ко сну, восстановлены до размера прошлых границ, так ее прихоть или, ладно, ее желание привело ко вселению во дворец маленькой чужестранки. Появление чужестранки вызвало в семье целую бурю страстей, отнимавшую у Иоанна время, которое он прежде уделял размышлениям. Уже через месяц после того, как они приняли сироту, Рама почувствовала, как между тремя ее сыновьями разгорается соперничество за ее внимание, при том что ее статус не давал ей шансов стать невестой ни одного из них, ибо, сколь бы ревностно Мория ни соблюдала закон, ее чужеземное происхождение не позволяло ей стать чем-то большим, чем она была на самом деле: приемной дочерью, пусть и любимой всеми, а кое-кем даже слишком любимой. Когда Морию взяли во дворец, ей было девять, а когда ей исполнилось четырнадцать, Аристокбул, Иоаннов первенец, известил родителей о своем намерении на ней жениться и сделать ее в будущем своей царицей.

— Тебе не следует воображать себя царем Иудеи, пока я жив, — предупреждал его отец.

Но страсть Аристокбула к приемной сестре была так сильна, что напрочь отменяла отцовские предупреждения, так же, как в конце концов сломила сопротивление девушки, столь же яростное, сколь и обреченное, поскольку он был царским сыном, да и физически много сильнее, а она всего-навсего приемышом, да еще чужих кровей, даром что всеми любима.

Аристокбул был скрытен, избалован и себялюбив, тогда как она была существом романтическим. Ее любимым занятием было собирать палочки и камушки за городскими воротами. Все три брата состязались в том, кто принесет самую необычную деревяшку для ее коллекции, и однажды Аристокбул даже притащил ей змею, которая

могла оставаться столь неподвижной и прямой, что действительно выглядела как редкой красоты палка, и только по его команде начинала двигаться. Однако, вместо того чтобы внушить ей благоговейный трепет перед злополучным влюбленным юнцом, номер со змеей только усилил ее чувство отвращения к нему, и она тут же отправилась в опочивальню приемных родителей, чтобы пожаловаться на безобразный поступок их сына. Это при том, что она прекрасно знала, что он будет подвергнут суровому наказанию, каковому подвергались все три брата за то, что, спрятавшись за баней, подглядывали сквозь трещину в стене за тем, как она раздевалась и готовилась к обмыванию. Оба, и царь, и царица, уже лежали в постели и, пока они, как всегда внимательно и терпеливо, выслушивали ее жалобы, она заметила в выражении лица ее приемного отца нечто такое, что заставило ее подумать: тут что-то не то. У царицы тоже был озабоченный вид, но, какова бы ни была причина этой озабоченности, она, очевидно, не имела никакого отношения к змеям, похожим на палки.

Уже много позже она узнала, что за пару недель до этого Антигону подыскали достойную невесту, но он наотрез отказался даже выйти, чтобы с ней познакомиться, и продолжал отказываться несколько дней подряд, в результате чего невесту предложили Аристобулу, и тот согласился. У него шансов завоевать расположение Мории было еще меньше, чем у Антигона, который, однако, тоже не мог питать на это особых надежд, хотя и хвастался братьям, что сорвал нечто большее, чем беглый взгляд или столь же беглое прикосновение — единственный трофей, на который любой из братьев мог рассчитывать. В тот самый день, когда Мория вошла в спальню приемных родителей, чтобы пожаловаться на выходку со змеей их старшего сына, официальное согласие обеих договаривающихся сторон на брак между Аристобулом и Саломеей было достигнуто. Жениха представляли Иоанн Гиркан и Рама, а невесту — Симон бен Шета, почтенный мудрец и почетный гражданин Иудеи.

Что этим объяснялась озабоченность на лицах ее приемных родителей, Мория узнала тогда, когда это уже не имело никакого значения, поскольку в тот день, когда до нее дошла история с брачным

договором, в ее жизни произошло ужасное событие, ужаснее, чем выхода Аристубула со змеей, и даже ужаснее, чем подглядывание за ней трех братьев через щелку в стене бани.

Ее храм был разрушен.

Это был сооруженный из палочек и камешков миниатюрный храм, выстроенный в пустом сарайчике за дальним флигелем дворца. Никто не знал, что горка из камней, на которой она построила свой маленький храм, была копией горы Гаризим, потому что, если бы она хоть раз произнесла слова «гора Гаризим» вслух, она не только поведала бы безучастному миру свою сокровенную тайну, но приемные родители, всегда оберегавшие ее от любой опасности и во дворце, и вне его, скорее всего, разлюбили бы ее и навсегда изгнали бы из дворца, а куда ей было идти, одной в Иерусалиме — новообращенной самаритянской девочке-сироте из чужеземцев, пусть и строго соблюдающей еврейский закон, но все-таки совершенно одинокой в чужой стране? Детские воспоминания настолько потускнели в ее памяти, что она боялась совсем забыть своих родителей, и, чтобы этот страх забвения побороть, она соорудила некое подобие их лиц на внешней стене своего маленького храма. Но в глубине души она знала, что это всего лишь игра воображения, что ее мать и отец были либо убиты в битве при Шехеме, либо ушли из жизни каким-то другим, но столь же безвозвратным путем, и нет никакой надежды когда-либо увидеть их снова, разве что в воображении, когда они глядели на нее со стен ее маленького храма.

— Ага, значит, горка каменная — это гора Гаризим, а эта штука из палок — их храм, — донесся за ужином до нее шепот, исходящий от братьев.

Она не взглянула в их сторону, чтобы понять, от кого из них этот шепот исходил — похоже, от Аристубула. «Ему бы лучше о своей невесте думать», — мелькнуло у нее в голове. Может быть, стоит рассказать об этом приемной матери Раге, которая всегда выслушивает ее с любовью, терпением и сочувствием? Мория сумела бы подать дело так, чтобы создалось впечатление, что она заботится о благополучии Аристубула, например: «Это плохой знак, что, вместо того

чтобы думать о своей невесте Саломее, Аристокбул таскается за мной в мое тайное укрытие и ломает то, что мне дороже всего».

Однако эта идея сразу была отвергнута, ибо, как бы искренне ни старалась Рама заменить ей родную мать, подвергать ее любовь испытанию рассказом о миниатюрном самаритянском храме, построенном Морией в своем укрытии, было бы безумием. Всякое терпение имеет границы, не говоря уже о том, что Рама — жена того самого человека, по приказу которого настоящий храм и был разрушен, поэтому не исключено, что создание ею этого маленького игрушечного храма будет приравнено к измене, а если от приемной матери это дойдет до приемного отца, у него может не быть иного выбора, как передать ее дело в Синедрион. Нет, нет! Он не может так поступить с ней, он же любит ее, как родную дочь...

Эти мысли доводили ее до изнеможения. Она стала снова собирать палки и камни, даже не надеясь что-то из них соорудить, просто складывала в кучу в сарайчике. У нее уже были две кучки, одна из палок, другая из камней — без всякого намека на храм, без всякой цели. Она ничего не могла поделать с собой и потихоньку превращалась в собирательницу палочек и коллекционера камней. Это было как болезнь, с которой она не умела бороться. Ее руки и ноги стали сильными от тяжелых камней, ее кожа стала цвета бронзы от долгого пребывания на солнце. Она хотела бы остановиться, но не могла. Незаметно выходила из дворца каждое утро на рассвете и возвращалась поздно вечером, усталая, молчаливая и голодная. Она привыкала к одиночеству, ей не хотелось никого видеть, как зверенышу, оказавшемуся среди чужих.

Как-то раз Аристокбул, ее старший названный брат, зашел к ней в сарайчик поговорить. Нам не о чем говорить, сказала она. Он возразил: есть о чем. Она не спросила его, о чем именно он собирался с ней говорить, потому что знала, о чем. Он собирался говорить о ней. О ее жизни. Что она делает со своей жизнью? Трачу ее понапрасну, сказала она, что еще можно с ней делать? Он сказал, что в ее возрасте девушки должны выходить замуж и рожать детей. Ты высказался? Да? А теперь уходи, сказала она после неловкой паузы. Так просто я не уйду, сказал он. Я пришел, чтобы кое-что тебе разъяс-

нить про личную жизнь и про политику. Она ответила, что ни к какой политике отношения не имеет, а что касается личной жизни, то у нее ее нет и она надеется, что и не будет. Это очень важные темы, о которых я хотел с тобой поговорить, сказал он и взял ее за руку.

Она не пыталась отдернуть руку, так как ее на мгновение отвлекло тепло, внезапно разлившееся по всему телу. Она не усмотрела никакой связи между этим ощущением и рукой Аристокбула, держащей ее руку. Сперва ей показалось, что она заболела, но тепло это было настолько приятным, что мысль о болезни сразу оставила ее. Ее рука сложилась в защитный кулак, но пальцы Аристокбула его нежно раскрыли. Тогда в кулак сложилось все ее тело, но мужские пальцы разомкнули его столь же нежно. Тепло становилось почти невыносимым, но она все же сопротивлялась ему и, сама того не желая, раскрылась до самых глубин своего естества, о существовании которых она раньше не подозревала, и все ее тело пульсировало в такт пульсации его плоти. «Моя царица, — произнес он тихо, и, когда она ничего на это не ответила, ибо наступивший в голове туман лишил ее дара речи, он добавил с пылом, удивившим даже его самого: — Я сказал “моя царица”, и ты будешь моей царицей». Потом он прикрыл наготу девушки краем ее одежды и вышел.

Аристокбулу было о чем задуматься: о братьях, соперничающих с ним за благосклонность Мории, о невесте, навязанной ему родителями. Проблему братьев решить было проще, чем проблему с невестой. Он оглядел сарайчик: палки да камни — вот и весь интерес его будущей супруги, которой будет доверена власть править Иудеей вместе с ним. И все-таки ему не нужна была никакая другая женщина. Он был уверен в этом так же, как в том, что его звали Аристокбулом и Иудой — двумя именами, греческим и еврейским. Еврейский царь с греческим именем — это они еще примут — и народ, и Синедрион. Но еврейский царь с греческим именем и женой-самаритянкой — этого Синедрион бы не принял, даже теперь, когда его отец ограничил полномочия Синедриона.

В последующие дни и недели, деля время между визитами в убежище Мории и одинокими прогулками в полях, где он подбирал показавшиеся ему необычными палки и камни для подарков ей, он

придумал план, одновременно простой и невероятный. Простой, так как он гарантировал исполнение самого сильного его желания — жениться на Мории; невероятный, так как риск, на который он готов был пойти, избавившись от Саломеи и выдав Марию перед всем миром за Саломею, был невероятен.

А мир, который ему предстояло убедить, что Мория и есть Саломея, был необъятен: это и его отец с матерью, и братья — легкомысленный Антигон и тихоня Абшалом, — которые были, как и он, влюблены в Марию и, следовательно, заинтересованы в провале его плана. Этот мир включал в себя всех служащих при дворе и прислуживающих при дворце; всех саддукейских друзей его отца и всех его фарисейских врагов; ученых и членов Синедриона, которые, будучи в ярости от того, что Иоанн полностью отнял у них духовную власть, ни за что не пропустят мимо ушей подмену невесты первосвященникова сына.

Аристобул мерил шагами свою комнату, когда к нему без стука вошли его братья Антигон и Абшалом. Абшалом тихонько присел в уголке, как он обычно делал, не произнося ни слова. Антигон стоял, скрестив руки на груди, и наблюдал за вышагивающим братом, но, когда тот дошагал до того, что на комнату спустились сумерки, он решил присесть и жестом позвал старшего брата сесть рядом с ним.

— Я пришел, чтобы тебе помочь, — сообщил Антигон, известный своим легкомыслием.

— Я в твоей помощи не нуждаюсь, — ответил Аристобул, продолжая ходить.

— Как ты собираешься от нее избавляться?

— Не понимаю, о чем ты, или в данном случае о ком.

— О ней. Ты прекрасно знаешь, о ком я.

— Понятия не имею.

— О принцессе Саломее. Как ты собираешься от нее избавиться?

— Она еще не принцесса. И откуда ты взял, что я хочу от нее избавиться?

— Все знают, что у тебя с Морией. Достаточно видеть, как вы оба сидите за ужином, не поднимая глаз друг на друга, да и на всех

остальных тоже, потому что ужасно боитесь, что мы по глазам прочтем эту вашу тайну.

— Чуть ты несешь, — сказал златокудрый Аристокбул. — Кто это ужасно боится? При чем тут глаза? Где эта тайна?

— Вот там, в сарайчике, — ответил Антигон и подмигнул.

— Не знаю, о чем ты.

Разговор еще какое-то время продолжался в том же духе, пока Антигон, которому надоело ходить вокруг да около, не сказал прямо, что готов взять исчезновение принцессы Саломеи на себя — замарать руки преступлением, как он выразился, — при условии, что Аристокбул уговорит Морию разделить ее расположение с ним, Антигоном.

— Ты упорно называешь Саломею принцессой, — ответил Аристокбул. — То, что она сестра Симеона бен Шета, еще не делает ее принцессой, пусть он даже глава Синедриона.

— Ты отлично знаешь, что род Саломеи восходит к династии Давида и кое-кто в Синедрионе считает, что у ее брата прав на трон больше, чем у любого из нас, Хасмонеев. Чтобы считаться принцессой, ей не обязательно выходить за тебя замуж, — пояснил Антигон.

— Что ты предлагаешь? — Аристокбул перестал шагать и уже собирался присесть рядом Антигоном, когда в комнату внезапно вошла Мория. Она появилась как тень, никого, казалось, не замечая вокруг себя; ее распущенные волосы были столь длинны и густы, что окутывали тело, подобно черному покрывалу, и даже если можно было догадаться, что под ними она носила одежду, одежда не была ей нужна: волосы ее заменяли. Она встала у противоположной стены, не оборачиваясь, обдумывая слова, которые она должна была произнести, обращаясь к трем братьям, чье желание, направленное на нее, мешало им ясно мыслить.

Аристокбул и Антигон были так похожи, что даже она, зная одно-го из них с интимной стороны, с трудом их различала, и сейчас, стоя к ним спиной, она подумала, что ее незрячая спина имеет столько же шансов отличить одного от другого, сколь ее глаза. Она не стала говорить им, что расположена к Саломее всей душой и что после их мимолетного знакомства на приеме во дворце Саломея прислала ей

приглашение посетить ее и прислала за ней повозку, чтобы сделать этот визит максимально приятным. Мория приняла приглашение, но от повозки отказалась и, когда она постучалась в двери дома, где жила Саломея, и слуга впустил ее внутрь, первым, кто вышел приветствовать ее, был брат Саломеи Симеон бен Шета, главный мудрец в Иудее; и этот человек приветствовал ее словами, которые она никогда раньше не слышала: «А, вот ты какая!» И, увидев ее удивленный взгляд, пояснил:

— Я имел в виду, что ты — та самая девушка, в кого все трое молодых Хасмонеев влюблены настолько, что не хотят и смотреть в сторону моей сестры, которая может быть идеальной партией для любого из них, учитывая ее происхождение из рода Давида и внешность, столь же привлекательную, сколь и твоя.

Он пригласил Морию следовать за ним, и они долго шли по длинному коридору с множеством дверей по обеим сторонам, но все эти двери были закрыты, и Мория про себя недоумевала, кто же живет во всех этих комнатах. Симеон бен Шета повернулся к ней и объяснил:

— Никто не живет. Этот дом был построен моим прапрадедом, и его многочисленная семья жила здесь, а теперь только мы с Саломеей. — Пройдя еще несколько шагов, он добавил: — Теперь я понимаю, почему наши царственные братья так сходят по тебе с ума, что и думать не могут о других женщинах: твой мозг посылает мысленные сигналы.

Когда они подошли к последней комнате в женской половине дома, Мория заметила, что стены покрыты тканями, окрашенными в цвет волос Саломеи. Сама же Саломея поднялась с сиденья, чтобы приветствовать ее, и, когда Мория взглянула ей в глаза, она увидела там нечто, вызвавшее у нее слезы, которые она не стала сдерживать, и они полились ручьем. Когда слезы иссякли, она поклонилась Саломее, повернулась и на цыпочках вышла из комнаты. Симеон бен Шета, главный мудрец Иудеи, ждал ее снаружи, и повел обратно по тому же самому коридору с множеством закрытых дверей и, открывая перед ней парадную дверь, мягко сказал:

— Ты видела мою сестру и теперь понимаешь, что они замышляют против нее. Ты должна отговорить их от этого.

Мория кивнула и ушла.

И вот сейчас она стояла, повернувшись спиной к братьям Хасмонеем, замышлявшим именно то, о чем предупреждал ее Симеон бен Шета, хотя Симеон бен Шета не сказал ей, что именно они замышляют, и никто из братьев ничего при ней не говорил. Однако угроза, таившаяся в их молчании, сливалась с ароматами полевых цветов, растущих на пустырях, где она любила бродить, и с тяжелым духом от лошадей, расквартированных по множеству конюшен на дворцовых землях, и с ароматами дорогих благовоний, смешанными с запахом пота, исходящим от молодых тел принцев.

— Даже не думайте, — сказала Мория тихо. — Не говоря уже о том, что, убив ее, вы убьете и меня, а это вряд ли входит в ваши намерения.

— Если убить ее — значит то же, что убить тебя, — отвечал Аристокбул, — не следует ли из этого, что жениться на тебе — то же самое, что жениться на ней?

— Что я слышу? — спросил вдруг у братьев из своего угла Абшлом, молчаливый младший брат. Он заговорил впервые за весь день, и его голос был скрипучим, как бывают скрипучими ворота, которые открываются впервые. — Кровь греков и их богов, всех этих зевсов, которые силой заставили нашу бабушку лечь с ними, это наверняка она в вас заговорила! Точно, это их образ мысли. Их логика.

Слово «логика» он произнес с презрительной интонацией, всегда сопровождающей упоминание им греков, которых он сильно не любил и о которых его знакомый старик-саддукей как-то сказал: «это те, кто объясняют и перемеливают то, что и так всем ясно».

— Я не дам тебе убить Саломею, — прошептала Мория.

— Если бы даже он хотел это сделать, сестрица, — сказал Абшлом, — он бы не смог. За Саломеей и ее братом стоит слишком много народа. Все мудрецы Синедриона и все фарисеи будут показывать на нас пальцами. Даже наш златокудрый Аристокбул, при всей его самонадеянности, не захочет войти в историю как царь, начавший свое правление с гражданской войны.

Мории показалось странным, что Абшалом заговорил о правлении Аристобула, ведь их отец Иоанн Гиркан был еще жив. Но, вместо того чтобы что-то сказать, она еще больше ушла в себя, скрывшись за копной своих волос, не сознавая, что, невидимая, она вызывает еще большее вожделение. Трое братьев, уставившись на черное покрывало этих волос, испытывали такое невыносимое желание, что, когда она вышла из комнаты, им пришлось прибегнуть к серии дыхательных упражнений, которым их научил ессей Йоханан, чтобы вернуть себе способность двигаться и разговаривать как ни в чем не бывало.

Когда все разошлись и Аристобул остался один, он вынул из тайника отцовскую корону, которую ему только прошлым утром удалось выкрасть из родительских комнат, и стал примерять ее на себе, поворачивая и изгибая шею так и эдак в попытке увидеть свой затылок, а поскольку его отражение в зеркале было не столь внушительным, как ему бы хотелось, он взлохматил волосы на затылке и пригладил их надо лбом. Он уже собирался сдвинуть корону набекрень, когда в дверь постучал слуга-эдомит и сообщил, что отец требует его к себе. Он знал, что за этим последует. Иоанн Гиркан возлежал на ложе болезни, при смерти... Приближалось помазание на царство его старшего сына. Проталкиваясь сквозь толпу родственников и придворных, он бегло оглядел их в поисках Мории и был доволен, что заметил ее стоящей подле ложа рядом с его матерью, держащей Раму за руку уже не как маленькая девочка, как когда-то, а как взрослая женщина, сознающая целительную силу своего прикосновения.

Иоанн Гиркан увидел Аристобула и попытался привстать на локтях, но опустился назад на кровать. Открыл рот и попросил что-то, что сумела разобрать только Рама, склонившая над ним и почти приставившая ухо к его рту. Она услышала его просьбу: оставь меня наедине со старшим сыном.

Аристобул, неловко присев на корточки у изножья отцовской кровати, подумал о том, что он напрасно оставил корону у себя в комнате, потому что, если отец спросит про нее и узнает, где она находится, тронные вожделения старшего сына могут показаться

умирающему слишком корыстными, и одного его слова будет достаточно, чтобы лишить его, Аристокбула, надежд на царство. После долгой паузы отец с трудом произнес несколько слов, и Аристокбул с большим усилием их расслышал: он не упомянул о короне, а просил всю семью собраться возле него — жену его Раму, всех трех сыновей и девочку Морию, ибо она ему как родная дочь.

И вот уже все члены семьи стоят вокруг ложа умирающего царя в скорбных позах, и Иоанн опять подзывает жену, и она снова склоняется к его губам, и он шепчет ей что-то, и она, выпрямившись, оглашает его последнюю волю:

— Никто из моих сыновей не наденет мою корону. Алкающие власти не станут хорошими правителями. Мой трон наследует моя жена Рама. Наш народ нуждается в терпеливом и справедливом правителе, и Рама будет терпеливой и справедливой царицей.

То, что вышло вслед за этим из уст Иоанна, были уже не слова, а звуки, подобные бульканию воды, потом и они прекратились, и только послышался последний и единственный вздох, и Иоанна Гиркана не стало.

— Агунья!

Тыча пальцем в грудь матери, Аристокбул стал кричать, обвиняя ее в том, что она сознательно переврала слова его отца. Единственное, что ей нужно, это власть, вопил он. Ее желание стать королевой за счет старшего сына бесстыдно, она хочет украсть корону с его головы, и она поплатится за это... Они все за это поплатятся, продолжал он визжать, тыча пальцем в каждого из членов семьи. Он мог бы еще долго вопить и трясти пальцем, если бы Мория, теперь носящая строгий пучок, не встала бы между ним и остальной семьей и не сказала бы, что его поведение чудовищно, что она презирает его за надругательство над последней волей его отца и что она тоже расслышала слова умирающего, и они были ровно такими, как их воспроизвела его мать. Да, продолжила она, для Иудеи будет несомненно лучше, что корону получит Рама, потому что, если бы трон достался ему, это обернулось бы бедствием, полностью разрушив его личность, если, добавила она, этого уже не произошло. А когда Аристокбул, позеленев от ярости, приказал ей заткнуться, она вытащила на свет корону.

— Вот что валялось на полу в его комнате, — сказала она, пожав плечами, и именно этот жест, это пожатие плечами, определило, по мнению некоторых знатоков, курс еврейской истории на много веков вперед.

Галя

Прошла неделя, и он снова появился у меня в доме и стал настилать десятидюймовые паркетные дощечки на лестничных ступенях. Начал с верхнего этажа и спускается вниз, и, когда я стою у парадной двери и гляжу наверх, то вижу, как он сидит на корточках спиной ко мне на ступеньке над дверью, ведущей во второй этаж. На нем его вечные черные рабочие штаны, и, когда он наклоняется, штаны слезают на несколько сантиметров вниз и видны его трусы. Это самые мужские — типа «мачо» — трусы, которые я в жизни видела. Не то чтобы я видела много мужских трусов, вылезających из спущенных брюк, но эти, цвета хаки, совсем не похожи на белые трусики марки «Fruit of the Loom», которые обычно носят американские мужчины.

Я поднимаюсь на несколько ступенек, присаживаюсь на лестничной площадке второго этажа и вынимаю из кармана пачку сигарет.

Не поворачивая головы, он спрашивает:

— Вы курите?

— Иногда, — отвечаю. Сигареты я купила десять минут назад, потому что мне казалось: заявиться сюда неожиданно потребует больше храбрости, чем обычно. Ему я же не могу сказать, что мне надо собраться с духом, чтобы возле него оказаться, а курение придает мне мужества.

— Итак, — говорю я, — строительство заканчивается.

— Да, день-два. Может, три. От Тома зависит.

Я затягиваюсь сигаретой. Выдыхаю дым. Набираюсь храбрости. Делаю еще затяжку. Выдох. Храбрости прибавилось.

— Мне будет вас не хватать.

— Мне тоже, — произносит он тихо.

Это самое явное признание в любви, на которое я вообще могу рассчитывать, поэтому мне надо его помнить. Мне надо помнить все: как он стоит на коленях на ступени лестницы, спину, склоненную над плодами его рук, полоску трусов цвета хаки на уровне талии над слегка приспущенными штанами, смущенный тон, которым он произносит «мне тоже»... Вот откуда этот смущенный тон, мне не очень ясно. Из того немногого, что я знаю о культуре, к которой он принадлежит, мне известно, что мужчина не должен демонстрировать замешательство перед женщиной, признающей ему в своих чувствах. Как мне кажется, такое вообще в его культуре невозможно, вот, наверное, почему он смущен.

Я снова выдыхаю дым, отвернувшись, чтобы не шел на него.

— Ничего, что я курю?

— Я о-бо-жаю дым!

Это «о-бо-жаю!» он произносит со страстью, вызывающей у меня чувство ревности. Чтобы ко мне он ее испытывал!

— Что ж вы тогда курить бросили? Если уж так дым обожаете?

Вопрос про его отношение к курению — прелюдия к вопросу о его отношении ко мне, но это трудный разговор, нуждающийся в дополнительных затyajках сигаретой, а курение — тема легкая.

Он делает жест правой рукой, как бы отбрасывая что-то: вот как он бросил курить. Вот так — взял и бросил.

Я делаю еще одну затyajку. Я уже почти готова произнести слова, которые не должны остаться непроизнесенными. Делаю выдох. Все, готова.

— Я правда по вам скучала, когда вы в Риго-парке работали на прошлой неделе.

Он не отвечает. Так, в молчании, проходит несколько минут. Он продолжает работать, я продолжаю курить.

И тут он поворачивается ко мне и говорит спокойно:

— Мне вас убить.

Я хочу сказать «да, каждый раз, когда вы не хотите мне отвечать, я чувствую... как будто вы меня убиваете». Но вместо этого говорю:

— Даже это... ваш своеобразный юмор. Я и по нему буду скучать, когда стройка закончится.

Мне его лица не видно, потому что он смотрит на паркетины.

— Не юмор.

Он делает волнообразный жест, как будто отгоняя от себя воздух, как несколько минут назад, когда показывал мне, как бросил курить, но на этот раз волны получаются вялыми и неубедительными, а весь жест — почти ребячливым. Именно эта ребячливость в сочетании с какой-то необычной яростностью меня в нем привлекла в самом начале нашего знакомства.

— Тогда что вы имели в виду этим вашим «мне вас убить»?

— Я должен, Галя, должен.

— Почему?

— Моя работа.

— В смысле строительство? Это ваша работа? Вам мешает, когда я болтаю?

Он не отвечает, и я заполняю паузу болтовней о моей работе и о том, что занятия живописью я предпочитаю работе в школе, но, так как заработать на жизнь живописью у меня не получилось, мне пришлось заняться учительством. Я хочу заниматься тем, что мне нравится, а теперь, когда я попробовала красить стены и класть штукатурку, мне это понравилось не меньше, чем писать картины. Но на живописи ничего не заработаешь, а на малярном деле можно, так что это как раз мне подходит.

— Как вы думаете, Алехандро?

Алехандро отвечает, что говорит он о чем-то более важном, чем живопись. Он говорит о жизни, смерти и писании книг.

— Вы ведь пишете книгу, Галя?

— Пишу, — отвечаю, не вполне понимая, с чего это он опять затронул эту тему.

— Почему вы пишете то, что против моего народа?

— Да не пишу я ничего против вашего народа, Алехандро. Я уже вам это раньше говорила. Я не пишу ничего ни против какого-то народа, ни за него. Я пишу по вдохновению. Знаете, что такое вдохновение?

Он ворчит неразборчиво, одновременно яростно покрывая паркетины лаком.

— Понимаете, Алехандро, я человек нерелигиозный, светский. Знаете слово «светский»? Я не придерживаюсь никаких религиозных предписаний, никакой религии. Но когда приходит вдохновение, я ощущаю... как бы это сказать... некую волю свыше. Я это не называю Богом, ну просто потому, что я не религиозна в принятом смысле слова. А когда вдохновение подает мне знак, что пора писать, я пишу. Что мне вдохновение дает, то я и беру. В сущности, я просто записываю то, что мне диктуют. Ровно то, что услышала. Иногда я сама не понимаю, о чем это. Я становлюсь как бы инструментом для слушания и записывания. Знаете, откуда происходит слово «вдохновение»?

Но узнать, что Алехандро думает об этимологии термина «вдохновение», мне не удастся, потому что мы видим, как к дому подходит Том.

— Босс ваш идет, — сообщаю я. — Вон он, Том.

Я автоматически переключаюсь на другую интонацию, совсем непохожую на ту, с какой только что вела напряженный диалог с Алехандро. Чувствую себя как бы другим человеком. Легкомысленным, поверхностным, смешливым.

Алехандро прибавляет темп. Настолько, что делает по ступеньке за несколько секунд. Когда заканчивает одну, переходит на следующую, не поворачиваясь и не прерывая процесс, и по мере того, как он передвигается по лестнице вниз, я тоже вынуждена пересаживаться на ступеньку ниже, чтобы не торчать у него на пути. Я не сразу соображаю, откуда такой темп, но потом вспоминаю, что у него почасовая оплата, и чем больше он сделает за час, тем больше Том будет доволен, вот Алехандро и спешит, чтобы угодить боссу.

Я мгновенно ловлю во взгляде Тома искорку удивления, когда он видит меня сидящей на несколько ступенек ниже Алехандро. Как если бы ему трудно было поверить, что меня простой работяга из его бригады может интересовать больше, чем он сам — весь такой элегантный, златокудрый, самоуверенный.

— Неужели вы курите, Галя? — спрашивает он небрежно. — А пепел куда стряхиваете? На пол?

— Нет, конечно, Том, — отвечаю миролюбиво. — Вот у меня блюдец вместо пепельницы.

Указываю ему на блюдец, но могла бы с таким же успехом отвечать стенке, на него это не производит никакого впечатления. Он в игривом настроении, и его уже не остановить, тем более что он знает, что я ничего не имею против его шуточек, даже по моему адресу. Эта шутливая болтовня предназначена очаровывать собеседника, как он обворожил всех моих соседей, ну и, конечно, выбил кучу контрактов у таких, как я.

— А кто за вами убирать будет? Алехандро, что ли? То есть я ему доплачивать должен за уборку Галиных окурков? Э, дорогая, я пока еще миллионером не стал!

— Том, тут нечего убирать.

— Говорите, нечего? А это что? А вон там? Я за это платить не собираюсь. — Он тычет пальцем в разбросанные повсюду окурки.

— Это не мои. Это, наверное, Симон набросал.

Симон — это электрик, который бросает окурки прямо на пол. Один я поднимаю с пола и демонстрирую Тому.

— Видите? Это «Мальборо», а я курю «Америкэн спирит». Вот, смотрите. — Показываю ему пачку. — Я «Мальборо» в жизни курить не стану. Так что это не мои окурки.

Алехандро тихонько посмеивается, но взгляд от рабочего объекта не отрывает. Мне так приятно от того, что он смеется над моим подтруниванием над Томом. Вот бы слышать его смех почаще, чтобы наши с ним разговоры с их черными дырами пауз были чуть менее напряженными. Но мне Алехандро по душе такой, какой есть: трудный в общении, напряженный, скрытный, когда дело касается его «других работ».

— Ладно, Том, я Симоновы окурки уберу. Но вы уж ему скажите, чтобы он их на пол больше не бросал или сам за собой убирался.

Тома это не останавливает. Он будет меня поддевать, пока не надоест, или ему придется переключиться на Алехандро. Правда, поддевать своего работягу — уже не тот кайф, что поддевать клиента. Я же кто для Тома? Клиент. А клиенты, как правило, ни черта в стро-

ительстве не понимают, поэтому, когда Том ко мне обращается, он обязательно говорит: «Понятно?» По-моему, он ни одной фразы не может закончить без этого «это понятно?».

— Том, а зачем вы всегда спрашиваете «понятно?» Я ведь не такая уж дура.

— Я и не говорю, Галя, что вы дура.

— Тогда почему вы всегда спрашиваете «понятно?»

— Привычка, Галя.

— Дурная привычка, Том. Вы всем так говорите. Вы и всем своим ребятам так говорите. И, кстати, почему вы их ребятами называете? Они ведь взрослые люди. Им может быть обидно. Это понятно?

Тома мои подколки застают врасплох. Он говорит, что я слишком к нему придираюсь, и поворачивается к Алехандро за поддержкой, которую тот ему сразу и оказывает. Да, я слишком прикалываюсь к Тому: мне разве непонятно, что такое мужская гордость? Это то, чего трогать никак не позволено, никому не позволено, особенно женщине, это понятно?

Теперь уже Алехандро подкалывает Тома этим «это понятно?», но Том так упоен собой и так в себе уверен, что ему и в голову не приходит, что какой-то рабочий, чье благосостояние от него, Тома, зависит, может его, Тома, подкалывать. Я тем временем тоже захожусь и сама удивляюсь своим словам: что, мол, у нас тут законы шариата не действуют и женщина может преспокойно затронуть мужскую гордость, если мужчина того заслуживает, и мой остроумный отпор у Тома вызывает одобрительный смешок, а у Алехандро презрительное пожатие плечами, которое, когда я его вижу, заставляет меня пожалеть о моих словах, так как мне хочется, чтобы то, что я говорю, Алехандро нравилось, а я ведь могла бы и сообщить заранее, что это мое высказывание о законах шариата и праве женщины затрагивать мужскую гордость ему явно не понравится.

Гордый своим остроумием, значительностью и обаянием, Том спускается в подвал проверить, как работает еще один из его «ребят», Кен, который устанавливает счетчик для воды. Я слышу, как

Том повторяет то, что я сто раз от него уже слышала: что за водный счетчик он не отвечает, это дело его субподрядчика, водопроводчика, которого все называют просто «китаец», хотя на самом деле его зовут Боб. Этот водный счетчик, по идее, должен работать — Том уже и на утверждение подал — но, когда его пришел проверять инспектор из DEP, то есть Department of Environmental Protection (Управление по охране окружающей среды), он заявил, что счетчик сдох, причем не просто сдох, но и вообще не той марки, которая нужна, так как у DEP теперь новые требования, причем инспектор спешил и Томовы объяснения слушать не стал, а сказал только: «Выкинь на фиг этот счетчик и поставь правильный».

— А сейчас, — жалуется Том, — когда нам китаец снова понадобился, он куда-то провалился, может, в Китай свалил, хотя он сам не из континентального Китая, он там и не жил никогда, а родом из Мадагаскара (Представляете? Где только этих китайцев нет, даже на каких-то островах возле Африки они найдутся.), но откуда бы именно этот китаец ни был родом, он куда-то запропастился, и теперь ему, Тому, приходится ставить на этот новый счетчик Кена, своего лучшего работника, причем не только лучшего, но и самого дорогого своего работника, которому он должен еще и медстраховку оплачивать. Это понятно?

Я сижу в гостиной, пытаюсь читать, и тут вваливается Том, как обычно, без стука и не утруждая себя звонком в дверь. Том и его бригада ведут себя так, будто это не мой дом, а их, поэтому, когда Том бойко проходит мимо меня в ванную комнату, я себе напоминаю, что удивляться тут нечему. На обратном пути он уже так не спешит и останавливается посреди комнаты, оглядывая три картонных коробки, поставленные друг на друга возле трех пустых книжных шкафов.

— Пить меньше надо, Галя! — комментирует он, и тут только я замечаю на каждой коробке наклейку Sauvignon Blanc — «Совиньон белый».

— Книжки это, Том. Не вино. Книжки. Это я пустые коробки из винного магазина принесла, чтоб книжки упаковать, когда надо было дом освободить перед ремонтом.

— Ага, книжки. Рассказывайте. Вы все эти бутылки распили по ночам, когда никто не видел. Нет чтобы с товарищем поделиться.

— Да мне не жалко для вас выпивки, — говорю и иду на кухню. — Только это не из бутылок в коробках, там честно, Том, одни книжки.

Беру стакан, бутылку армянского «Кагора», показываю Тому налейку. Он кивает: годится. Наливаю, пока он не говорит «хорош».

— А как насчет Кена? Могу сбежать вниз, спросить, может, он тоже выпьет.

— Не спрашивайте. Лучше сразу отнесите, — бросает Том, убегая со стаканом в руке, держа его бережно, как диковинную птичку.

Минуту спустя я уже в подвале, стою с протянутой рукой перед двумя мужиками. Кен берет из моей руки стакан бережно, как крупным мужчинам и положено обращаться с женщинами. Он пьет, я гляжу на новый счетчик и пока размышляю, что бы мне спросить Тома по поводу этого счетчика, чувствую, как Томова рука мягко потрепывает меня по затылку, как крупному мужчине и положено потрепывать женский затылок после стакана сладкого армянского вина марки «Кагор». Тут я вдруг соображаю, что стою полудетая, левая лямка моей черной майки с плеча сползла, и осознаю, что это мужское ласковое потрепывание — дань не моей женской привлекательности, а выпитому «Кагору», жуткой жарнице в подвальном этаже и долгому рабочему дню.

Никаких эмоций по этому поводу я не испытываю, поскольку их у меня и нет в отношении Тома, несмотря на то что он элегантен, златокудр и уверен в себе, в то время как у Александро ни одного из этих привлекательных мужских качеств не имеется, что не мешает мне тонуть в океане эмоций, которые я к нему испытываю. Рука Тома задерживается на моем затылке всего на долю секунды, и он при этом обсуждает с Кеном недоступные мне технические детали установки водного счетчика. Я слушаю вполуха, а сама думаю о мужчине мусульманского вероисповедания с выдуманном испанским именем и неведомым мне арабским и со столь же неведомым количеством жен — об этом маляре с дипломом по ихтиологии и «другой работой», о которой он отказывается со мной разговаривать, и с его

интересом к тому, что я пишу, который он ничем не объясняет, кроме маловразумительного бормотания о том, что моя книга каким-то образом направлена против его народа.

Я стою на крыльце и вижу, как Том запрыгивает в свою машину, хлопает дверцей, запускает мотор и машет мне в беспшабашной манере бывшего жителя Восточной Европы, что вызывает у меня желание крикнуть ему в ответ «пока!» по-польски. Я знаю, как это звучит, но именно теперь, когда понадобилось, вспомнить не в состоянии.

Поворачиваюсь и вижу Алехандро, стоящего на лестнице с тряпкой в одной руке и кистью в другой.

— Это вы хорошо ему ответили, — говорит он, и я думаю, что это относится к моему подкалыванию Тома с его манерой вставлять «понятно?» куда надо и не надо.

Я хочу ему сказать, что Том прервал наш разговор, а это был разговор на очень важную тему, мне из-за этого даже закурить пришлось, что я нечасто делаю, и, хотя процесс курения помог мне произнести некоторые слова, многое осталось недоговоренным, а стройка скоро кончится, дня через два-три, и я, может, его никогда больше не увижу.

Выглядит это, наверное, так, что я совсем стыд потеряла — вот так, на крыльце сидючи в ожидании Алехандро, чтобы сообщить ему, что могу его подбросить до дома, когда он закончит работу. Я уже даже не делаю вид, что чем-то другим занята: просто сижу с газетой на коленях. Газету не читаю, потому что сосредоточиться на американских и мировых катаклизмах мой мозг не в состоянии: бедный мой мозг настолько заполонен Алехандро, что единственное, на чем он, мозг, позволяет мне сосредоточиться, это на том, как Алехандро меряет шагами подвал, отмывая свои кисти и руки от краски, что он делает с помощью растворителя, хотя я ему не раз говорила, как это вредно для здоровья, на что он только равнодушно пожал плечами. Наконец он поднимается из подвала и проходит мимо крыльца, на котором я сижу с газетой, разложенной на коленях. Я собираюсь с духом и говорю ему вслед:

— Алехандро, если не возражаете, я вас подброшу до дома.

Он не возражает. Я открываю ему дверцу пассажирского сиденья, и он с неожиданной легкостью туда запрыгивает. Минут пять веду машину молча, хотя из-за того, что меня разбирает с ним поговорить, мне кажется, что проходит гораздо больше времени. При этом чем дольше мы едем молча, тем сильнее я ощущаю, что мой язык прилип к гортани.

Наконец, паузу прерывает он. Мне от звука его голоса делается так хорошо, что смысл его слов до меня сначала не доходит. А смысл этот состоит в том, что он рад, что я что-то надела поверх своей майки, потому что не очень-то было прилично появляться почти совсем раздетой перед двумя мужчинами, не считая его самого, — не считая, говорит он, не потому что он не мужчина, а потому что он как бы со мной лучше знаком. Но он все-таки тоже мужчина и как таковой вправе ожидать от женщины что-то типа целомудрия. Женщина — это вообще нежная роза, которую надо оберегать от ветра.

— Что вы имеете в виду под «оберегать»?

Он что-то ворчит про скромность и про то, что женщине в мужскую беседу вмешиваться не подобает.

— Но, Алехандро, мне показалось, что вам понравилось, как я вмазала Тому за его «это понятно?» и так далее.

— Понравилось. Но я хочу, чтобы вы про меня поняли. Я свою религию люблю, и правила моей религии — мои правила.

— То есть вы имеете в виду, что, если я не следую правилам вашей религии, мы не можем быть друзьями? Вы это хотите сказать?

— Это, это, — отвечает он, явно довольный, что я его правильно поняла. — Я люблю свою религию. Мой народ много страдал от людей, которые нас ненавидят. Если вы такая, как они, вы тоже должны меня ненавидеть. Все, я пошел.

Он хватается за ручку двери.

— Никуда вы не пошли, мы же посреди улицы. Вон какое движение.

— Все равно пошел, — говорит он с видом обиженного ребенка.

— Послушайте, все, что я сказала, когда мы там на лестнице разговаривали, пока не пришел Том и нас не прервал, это то, что я по вам... скучала. И я боюсь, что буду страшно по вам скучать, когда

стройка кончится и вы перестанете приходить на работу в мой дом. А я не хочу по вам скучать. Я так ужасно по вам скучала те пять дней, что вы не приходили ко мне работать — я не могла даже ничем заняться. Мне нет дела ни до правил вашей религии, ни до правил моей религии, ни до западных людей, которые не любят мусульман, ни до мусульман, которые не любят западных людей. А за дурацкую шутку про закон шариата я извиняюсь. Я ничего плохого в виду не имела.

— Вы про мой народ говорите так, как будто мы не люди. Как будто у нас чувств нет.

— Да я слова не сказала про то, что у вашего народа нет чувств. Откуда вы это взяли? Я вообще такое сказать не могла.

— Вы сказали, что вам нет дела до правил моей религии.

— Да, сказала, потому что религия тут совершенно не при чем. Какое отношение имеет религия к тому, что я скучаю по вам? Вот и все, что я имела в виду. А законы религии других народов я вполне уважаю. Я вам не говорила, что когда-то работала учительницей в школе для мусульман? Вот той, большой, на Квинс-бульвар? У меня ученики были со всего мусульманского мира. Египет, Ирак, Йемен, Сирия, Иран, но больше всего из Египта. И я все правила соблюдала. Я даже в платке там ходила. Хотя и не обязана была: меня на работу город принимал, а не школа. Как служащей города Нью-Йорка мне не было предписано голову закрывать. Но я закрывала все равно. Из уважения к правилам мусульманской школы.

— Это хорошо, — говорит Алехандро спустя минуту, в течение которой он, казалось, был погружен в глубокие размышления. Он вдыхает воздух, как будто набираясь храбрости спросить, и, наконец, спрашивает: — Россия... какая религия?

— В России много разных религий, — отвечаю уклончиво.

— Много, много, — сразу соглашается он. — А какие?

— Когда я еще там жила, это было коммунистическое государство. Знаете, что Маркс сказал про религию? Что она опиум для народа. Я это еще в детском саду усвоила. Поэтому в моем детстве до религии никому дела не было. Сейчас там все переменялось: есть

Русская православная церковь, она главная. Есть и католики, и мусульмане, и евреи, правда, евреи почти все уехали.

— Это хорошо, — произносит он с чувством.

— Чем хорошо?

— Хорошо, что евреи уехали. Для России хорошо. Для моего народа плохо.

— Да? Чем же это плохо для вашего народа?

— Они в Израиль уехали, чтобы мой народ убивать. А когда мой народ защищается, они нас называют террористами.

— Когда ваш народ защищается, стреляя ракетами по израильским домам, — парирую я. — А когда Израиль защищается, мировая пресса вопит о неадекватном ответе, растет антиизраильский бойкот, создаются комиссии по расследованию военных преступлений, чего при других конфликтах в мире почему-то не происходит. Вот вы мне скажите: вы лично кого-нибудь знаете из тех, кого называют террористами за то, что они сопротивляются?

— Я? — спрашивает он с видом человека, очнувшегося от глубокого сна.

— Да, вы. Вы лично таких людей встречали?

Он отрицательно качает головой:

— Я — нет.

— А вы знаете лично каких-нибудь евреев, приехавших из России в Израиль, которые, как вы выразились, убивают ваш народ?

— Нет, — отвечает, поразмыслив. — Я их издали видел.

— Ага, вы их издали видели. А теперь видите вблизи.

— Как это?

До него и впрямь не доходит. Я впервые в жизни влюбилась в тугодума, что, однако, на интенсивность моего чувства не влияет. Странная штука — жизнь.

— Меня. Я еврейка.

— Вы, Галия?! Вы еврейка?!

— Да, — подтверждаю с осторожностью, — я еврейка.

— Я думал, русская!

— Я родилась в Москве. Но вам очень хотелось узнать про мою религию.

— Не про вашу религию, Галия. Про религию в России.

— Да, спросили вы про религию в Россию, но на самом деле вам хотелось спросить про мою религию, но неудобно было.

— Вы ходите в синагогу, Галия?

— Нет, Алехандро, в синагогу не хожу.

— Если в синагогу не ходите, значит, вы не еврейка! — Он в таком восторге от своего умозаключения, что топает ногами и хлопает себя по коленкам.

— Я не хожу в синагогу, потому что, когда я там жила, как я уже вам говорила, никакой религии в России не было. Советский Союз был атеистической страной. Нам это в голову вбивали и в детском саду, и в школе. Я знать не знала, что я еврейка. Еврейка, которая понятия не имеет, что это значит. Я присягала красному знамени как хорошая пионерка, а на шее у меня болтался красный галстук — маленький символ этого знамени. Я очень гордилась тем, что первой в своем третьем классе вступила в пионеры, потому что отлично училась. Вот какой я была еврейкой.

Он сообщает мне, что коммунизм идет от евреев. Что евреи в Бога не верят, поэтому они придумали и коммунизм, и капитализм. Евреи сидят в банках, и все средства массовой информации тоже у них в руках. И на Ближнем Востоке, и во всем мире все беды от евреев.

Я ему отвечаю, что у меня нет ни одного знакомого еврея-банкира, хотя они, конечно, существуют, а вот как насчет евреев-ученых, музыкантов, врачей, писателей? Какие у него основания утверждать, что у евреев в руках средства массовой информации и банки? Разве я похожа на банкиршу?

— Но, Галия, — возражает он мягко, — вы же не настоящая еврейка. Я же вам сказал: в синагогу не ходите, значит, вы не еврейка. Вы нормальная.

— Нет, еврейка. Я стопроцентная еврейка по двум причинам. Одна — это то, что я еврейка по памяти, то есть я еврейка в память о моих деде с бабушкой, которые погибли в холокосте, другая — то, что у меня в свидетельстве о рождении в графе «национальность» стояло по-русски: «отец: еврей», «мать: еврейка», хотя мои родители

тоже в синагогу не ходили, а их родители тем более, они, может, были еще более светскими людьми, чем я. Но на моей родине в паспорте была графа «национальность», то есть *этническая* принадлежность, и никакого значения не имело, что большинство русских евреев ничего про религию не знает. В паспорте написано «национальность: еврей», и все знали, что этот человек — еврей, забыть ему об этом не давали, сколько он ни старался.

Александро мне не верит. Не может такого быть, чтобы человеку в России на каждом шагу напоминали, что он еврей. Я отвечаю, что и не сказала «на каждом шагу», а вообще-то, что он про это понимает, если там не жил ни одной недели, ни одного часа, ни одной минуты?

Он опять за свое: всем известно, что холокост евреи придумали, чтобы выглядеть жертвами, но всем известно, что они хозяева мира.

— Если вы не верите, что холокост был на самом деле, я вам расскажу про мою бабушку и ее сестру, и мужа сестры, и их маленького сына, которых вместе с еще двадцатью четырью тысячами евреев загнали в лес на окраине Риги и там приказали лечь в свежевыкопанный ров и ждать своей очереди на расстрел. Места во рву для всех не хватало, поэтому тех, кто по первому разу не поместился, заставили лечь сверху на тех, кто уже был убит или при смерти, так, чтобы головы людей в верхнем ряду поместились над ногами людей в нижнем ряду. Тот, кто этот метод изобрел, назвал его методом «сардин в банке». Пуль на такое количество людей не хватало, и матерям приказано было прижимать своих младенцев к себе, чтобы одной пулей двоих... Дальше рассказывать?

Он опять про то, что знает одного еврейского малого, у которого денег видимо-невидимо, а когда я его прерываю и говорю, что есть и итальянцы, у которых куча денег, и китайцы, и греки, он кричит, что нет, этот еврейский малый богаче любого итальянца и грека, он может войти в любой банк, и ему дадут, сколько он скажет, хоть десять тысяч, хоть сто, хоть двести — ему стоит только руку пожать банковским служащим, и все, денежки у него!

Я говорю, ну, ясное дело, евреи знают секрет магического рукопожатия и передают его из поколения в поколение.

Но мой приятель иронии в моих словах не замечает. Он продолжает мне петь про то, как евреи правят миром с помощью этих рукопожатий, как они огромные деньги посылают в Израиль по особому коду, как Израиль эти деньги использует на то, чтобы убивать его народ, а Америка, лучший друг Израиля, развязывает войну то с одним мусульманским государством, то с другим.

— И это все — войны и прочее — только благодаря волшебному рукопожатию, с помощью которого этот ваш еврейский малый добывает деньги в банке?

Мы уже на Стейнвее, близко к дому, где Алехандро проживает. Мы какое-то время сидим в припаркованной машине, бурно обсуждая правящих миром евреев, и я вижу, как Алехандро расстраивается из-за того, что я высмеиваю его сокровенные представления о моем народе. Я не хочу, чтобы он расстраивался, поэтому делаю глубокий вздох, чтобы собраться с духом, дотрагиваюсь до его руки и говорю:

— Алехандро, вы поймите, я о вас так хорошо думала, а когда вы такие вещи говорите, мне труднее хорошо о вас думать, а я хочу продолжать о вас хорошо думать... но не понимаю, как, когда вы говорите... вещи, для меня ужасные....

Он резко одергивает свою руку от моей и говорит, что его вера ему не разрешает, чтобы женщина к нему прикасалась. Он не добавляет «еврейская женщина», но эффект тот же, как если бы он это сказал: моя рука бессильно повисает в пустоте перед тем, как снова взяться за руль. Он открывает дверцу и выходит из машины, не говоря ни слова.

Алехандро

Она появляется, когда я все еще вожусь с паркетинами и не могу даже посмотреть в ее сторону. Не то чтобы мне особо хотелось на нее глядеть: моя вера запрещает мне глядеть на полуголых женщин. Ей-то откуда знать, почему я на нее не гляжу и что дело тут в ее майке и шортах, в том, что они открывают больше, чем прикрывают, но, если я ей на это скажу, она возразит, что тут все так летом одевают-

ся, и будет права, но это не значит, что я должен такую манеру одеваться одобрять. Я думал, что ясно дал ей понять, но она остается при своем, со своими заблуждениями. Ничего не может остановить западную женщину, когда речь идет о том, что ей угодно понимать под «любовью».

Я продолжаю работать, сидя к ней спиной, она какое-то время сидит тихо, потом, слышу, чиркает спичкой, и я чувствую дым от сигареты. Странно — раньше не замечал, что она курит.

— Галия, вы что, курите?

— Иногда, — отвечает.

Мне кажется, она это делает, чтобы произвести на меня впечатление своей женской независимостью, но она заблуждается, потому что никакого впечатления это на меня не производит. Курение — это привычка, от которой человек не может отказаться, как я когда-то не мог, поэтому и бросил, а если она курит только иногда, то это игра, а не убийственная привычка, как у меня была.

Я прямо ощущаю, как она складывает слова в уме и с каждым выдохом выталкивает их на поверхность. А когда она их наконец произносит, я удивляюсь, насколько они у нее уже укрошены. Даже не знаю, почему я жду, что она произнесет что-то более безрасудное, что-то дикое, что можно ожидать от этой западной женщины, которая напялила на себя шорты и майку, а теперь еще и курит. Она говорит, что дом почти закончен, и мы оба прекрасно понимаем, что это значит: я здесь больше не появлюсь. У меня будет новый объект для работы, потому что, когда речь идет о новых подрядах, с Томом никто не сравнится. Он покоряет дам элегантностью и остроумием, а они уже убеждают своих мужей договариваться только с Томом и о других подрядчиках забыть. Мир станет лучше, если подряды будут получать только такие парни, как Том. Пусть даже все дома у него на одно лицо, лишь бы дамы были счастливы.

Галия делает еще затяжку и сообщает, что ей будет меня не хватать. Мне нельзя подавать виду, что не исключено, что и мне будет ее не хватать, потому что, если мужчина подаст подобную мысль женщине, она такую власть над ним возьмет, что будет из него всю

жизнь веревки вить. Разве не в этом корень зла, все эти проблемы в их обществе, пресловутом Западном мире — во вседозволенности, в том, что женщинам позволено вот так шлаться в майках на бретельках и шортах, и мужчины уже больше не мужчины, потому что они потеряли свое превосходство, а без превосходства что за мужчина? Я-то не дам бабе из себя веревки вить, пусть даже и мне будет ее не хватать самую малость. Поэтому я ей отвечаю «мне тоже», рассчитывая, что ей этого будет довольно. Если она покажет, что хочет от меня признания в каких-то чувствах, то только поставит себя в неловкое положение, потому что я не позволяю женщинам вить из меня веревки. Но она ничего не понимает, ей этого мало, и, когда она делает очередную затяжку и опять берется за свое — ах, как я по вам скучала на той неделе! — ей кажется, что она приближается к своей цели. А этому их вся их культура учит, все эти женские журналы и шоу — все они про то, как научиться из мужчин веревки вить.

Я ей говорю, что меня в моей стране ждет жена, что, в общем, так и есть, но говорю я это только для того, чтобы восстановить свое над ней превосходство. Мужчина должен обладать превосходством над женщиной и использовать для этого все наличные силы и средства. Правда, у меня-то в данном случае какие средства? Нет у меня никаких средств. У меня даже нет сил, чтобы выполнить миссию, возложенную на меня Профессором. Поэтому я ей говорю про свою жену. Всего пара слов. Жена. Дети. С ней надо быть осторожным в выражениях: эта женщина знает, как поставить мужчину в глупое положение. Она спрашивает: сколько? Я отвечаю: двое, имея в виду двух моих детей — мальчика и девочку. Но она, как обычно, мои слова переворачивает и спрашивает: две жены? Мне на это нечего ответить. Она у меня уже это спрашивала, когда мы впервые встретились, и теперь она опять за свое. Может, она думает, что я ей отвечу: да, две жены, по паре детей от каждой. Интересно, как это у нее получается меня втянуть в разговор обо мне самом. Как раз в тот момент, когда я собирался восстановить правильное соотношение сил, она меня об этом спросила, поставив в опасное положение, ведь в Америке многоженство считается пре-

ступлением. А она мне это прямо в лицо говорит, без всякого стеснения. Я бы ей сказал, что женщина не имеет права так с мужчиной разговаривать. Я мужчина, она женщина. Она должна знать свое место, а не молоть языком про то, что ей не дано понять. Я отмахиваюсь от нее рукой, конечно, ее не задевая, — просто резко рассекаю воздух рукой и отворачиваюсь от нее, чтобы она выражения на моем лице не видела.

Когда появляется Том, я начинаю работать быстрее, потому что знаю, что ему надо и за что он мне платит. Галия со своей сигаретой все еще тут, и Том применяет к ней обычный трюк в обращении с клиентками, который я за ним много раз наблюдал. Он делает Галии замечание по поводу того, что она окурки бросает прямо на пол, и это вызывает у нее смех, так как ей кажется, что он с ней таким образом заигрывает. Он-то думает, что ему ничего не стоит обвести ее вокруг пальца, ведь это у него всегда получается с другими клиентками: они сразу забывают о том, что пришли заявить о своих претензиях к качеству работ. Но с этой женщиной надо быть осторожным, вон как она ему ловко отвечает, что окурки эти вовсе не ее, а Саймона. Он что, не видит, что это окурки от «Мальборо», а она курит только «Америкэн спирит»? Потом она его просит не спрашивать каждый раз «это понятно?», и хотя он старается, у него ничего не получается. Каждую минуту из него выскакивает «это понятно? это понятно?». Он мой босс, а она с него спесь сбивает, и мне это, с одной стороны, нравится, а с другой — не нравится, потому что она женщина, а женщина не должна разговаривать с мужчиной неуважительно, что я и пытался ей объяснить до того, как Том объявился.

В конце рабочего дня она уже сидит на крыльце, вроде как газету читает, но я-то знаю: не в газете дело, а на самом деле она меня дожидается и, как только я на крыльце появлюсь, спросит, не подбросить ли меня до дому, а я отказываться не собираюсь. У меня длинный день был, я устал, и да, спасибо, подбросьте.

В машине ей уютно болтать про всякую ерунду, small talk это у них тут называется, но я ей говорю, что думаю: по законам моей религии я не могу терпеть такое поведение от женщины, как она

с Томом и со мной разговаривает неуважительно и как она одевается. Если она будет продолжать в том же духе, мы не можем быть друзьями, поэтому пусть выбирает, говорю, а она мне на это: нечего мне выбирать, почему это я должна выбирать между нашей дружбой и следованием законам вашей религии? Я раздражаюсь, потому что считаю, что дело идет к тому, что она может вообще уничижительно отозваться о моей религии, как многие в этой стране, которые о ней очень плохо говорят, а я такое ни от кого не потерплю, от нее особенно. И кладу руку на ручку двери машины. А она мне заявляет, что религия тут не при чем. Я пытаюсь открыть дверь, а она ее держит закрытой. Я не могу выйти, я заперт в машине и вынужден выслушивать всякие западные глупости про то, что религия ничего не значит, и тут я решаю больше время зря не тратить, а задать ей вопрос, который давно хотел задать, но как-то не решался. Но задать его прямо в лоб я ей не могу. Я должен прямой вопрос как-то обойти, поэтому я спрашиваю ее насчет религии в России, и она отвечает, что там не одна религия. Похоже, что ей об этом разговаривать не хочется, но я настаиваю, так как для меня это способ обойти прямой вопрос о том, какой она веры. Она называет три-четыре религии, которые есть в России, и среди них еврейскую, но говорит, что большинство евреев уже из России уехало, на что я замечаю «это хорошо для России, но плохо нам», а ей непонятно, что «хорошо» и что «плохо», и я ей объясняю, как они поступают по отношению к моему народу, что они нас убивают, и вижу, что ей такой поворот разговора не по душе. Ей надо знать, видел ли я когда-нибудь хоть одного еврея, и, когда я отвечаю, что, к счастью, не видел, она мне говорит, вот, теперь видите. А я знаю, что мог и не спрашивать, потому что ответ мне и так известен. Я все время надеялся, что Профессор, он же Тайный Организатор, ошибается насчет нее. Хотя я и читал то, что она написала, у меня еще оставались какие-то сомнения. У меня была какая-то надежда, что эта ее писанина — просто плод воображения и что Профессор неправ насчет того, что она собирается объявить себя наследницей этих древних царей, потому что, если бы мне удалось его убедить, что все это фантазии и что он насчет нее заблуждается,

он бы мое задание отменил. Для меня было бы большим облегчением перестать думать о том, каким способом ее уничтожить, пока она ведет со мной свои разговоры или приносит мне свои бутерброды с русским салатом, который на самом деле просто плохо приготовленный картофельный салат с французским названием, или когда предлагает меня подвезти, как сейчас, просто потому, что хочет со мной подольше побыть. Вот она, сидит совсем рядом, полуодетая, и знать не знает, что для меня значит ее присутствие. Она из той породы женщин, которые думают не о сексе, а о том, что им хочется просто *быть* рядом с любимым мужчиной и скучать по нему, когда его рядом нет, и если я бы ей сказал, что я хотел бы с ней сделать, ее бы это шокировало, потому что она из тех женщин, у которых мысли-то чистые, хотя тело так открыто, что мужчине надо отворачиваться, чтобы собой управлять. А уж если б я ей сказал, что я должен с ней сделать, это был бы даже не шок. Она просто бы не поверила. Она баба, одуревшая от любви, а я дурак, что позволяю ей себя подвозить и кормить бутербродами с *салатом оливье* и втягивать в разговоры о моей личной жизни, потому что, когда она думает, что видит меня насквозь и читает меня как книгу, ей и в голову не приходит, что Профессор ее заказал, а я уже все сроки, один за другим, пропустил.

* * *

Скажи я профессору, что она человек как человек, да и женщина приличная, а приличный человек евреем быть не может, он ответит, что я забываю о своих обязанностях. Я должен отомстить, это мой долг чести перед моим народом и перед моим отцом, который, в свою очередь, отдал жизнь за то, чтобы отомстить за своего отца. А ответь я ему, что ни разу не слышал, чтобы она что-то сказала про хасмонейский заговор или про свои планы провозгласить себя царицей, он заявит, что эта женщина так втемяшилась мне в голову, что я превратился в слабака. Но еще хуже то, что мне казалось, что он ошибается, считая ее еврейкой — хотя это следовало из каждой страницы ее книги, — потому что, как бы она ни действовала мне на нервы своими бутербродами и вздорной идеей

штукатурить двери, она как человек симпатичная. Слишком симпатичная, чтобы быть еврейкой. Я хочу ему сказать, что сейчас совсем другая ситуация, чем прежде, и что после всего, что я теперь знаю, пусть он не рассчитывает на то, что я буду безропотно ему подчиняться.

Вскоре после того как я с ним первый раз встретился и стал его правой рукой, как он меня называет, он сказал, что мне надо связаться с моей сестринской ячейкой. С одной стороны, правильнее было бы ее называть «братской ячейкой», потому что в нее входят одни мужчины. С другой стороны, правда и то, что мы больше не братья: мы ими перестали быть после того, как прожили здесь достаточно долго, чтобы прижиться в этой стране, а чтобы в этой стране прижиться, нам пришлось перестать ощущать себя частью своей ячейки и начать ощущать себя отдельными личностями. Вот почему члены нашей группы больше не братья, и поэтому ее правильнее называть «сестринская ячейка», хотя это звучит странно. И поэтому же и Профессор стал нашим лидером, хотя формально он одним из нас не является, а может быть, именно потому, что он человек Запада, профессор американского колледжа с опытом жизни, как все они, в индивидуалистическом обществе, ему удалось внушить нам определенные идеи и решимость их воплощать, превратив нас во что-то большее, чем любительское сборище «борцов»: он дал нам цель, к которой надо стремиться, и научил нас выживать в этом западном мире, в котором без его помощи мы были бы полностью потеряны, потому что правила, по которым мы жили в нашей прежней жизни, на родине, здесь не работают. Там наша преданность общему делу поддерживала чувство братства: мы были один за всех и все за одного, преданность делу была нашей главной отличительной чертой. Но здесь сам воздух оказался другим, и уйти от этого было невозможно, потому что здесь индивидуализм поглощал тебя так же, как там — коллективизм. После нескольких месяцев жизни в Нью-Йорке я начал понимать, насколько мы все друг от друга отличаемся. Мы не были настоящими бойцами, мы не были даже по-настоящему преданы общему делу, мы были любителями, потому что настоящие бойцы должны быть сплочены, а мы были каждый

сам по себе. И чем дольше мы тут жили, тем больше отдалялись друг от друга, а так как единственное, что нас еще связывало, была преданность общему делу, я эту связь поддерживал в роли правой руки Профессора, но «братские связи» я порвал. Может, «порвал» слишком сильно сказано, скорее, я их избегал. Братских связей я избегал и думал, что, став правой рукой Профессора, заработал себе безопасность. На родине порвать братские связи значило подвергнуть опасности себя и свою семью, но тут это было по-другому, по крайней мере я надеялся, что по-другому.

Я понимал, что рисковал быть неправильно понятым, но мои подельники не проявляли особого беспокойства по поводу моего отделения от них: они и сами были уже разобщены, даже если себе в этом не признавались. Каждый из них, пожив тут немного, фактически переставал быть членом нашего братства, потому что атмосфера здешней жизни не способствовала самоотверженности. Здесь вы должны были выработать в себе такой тип личности, у которой личные интересы были бы выше общественных. Здесь даже нищие, ночующие в савее, ощущают себя личностями. Чувство принадлежности к коллективу здесь считается пережитком прошлого. Когда я отошел от своей ячейки и стал беспокоиться за семью, Профессор заверил меня, что никаких действий против Фатимы и детей предпринято не будет. И матери, и сестрам тоже никакие меры возмездия не угрожают, и никакого пятна на их добром имени не будет. Он это говорил, чтобы меня успокоить, ведь хотя я и думал одно время, что он просто играет в Тайного Руководителя, чтобы как-то скрасить скуку своей академической жизни ближневосточным приключением, но пришел к выводу, что он действительно связан со своими «парнями», как он их называет, и даже сумел таких непрофессионалов, как мы, заставить почувствовать себя настоящими бойцами; он знал, как разжечь в нас патриотические чувства к нашей земле и ненависть к захватившим ее евреям, одно упоминание о которых помогало нам сплотиться и снова ощутить свое братство.

Однако, когда Тайный Руководитель поставил передо мной новую задачу, я удивился. Это было ясное указание к немедленному

действию в доме в Квинсе, где я в это время работал. По его словам, дом этот принадлежал еврейке. И не просто еврейке, а еврейке, связанной с другими евреями. Существует такая всемирная хасмонейская сеть — вот что он мне сообщил. Сеть, опутывающая весь мир, в котором все в еврейских руках — банки, торговля, средства массовой информации. Эта женщина с ее писаниями про древнюю еврейскую царскую династию и есть та самая точка, в которой сходятся все остальные линии. Твоя задача — стереть эту точку, сказал он. Вот тут-то я и стал сомневаться: а еврейка ли она? Я достаточно ее знаю, и я сказал себе: нет, она не может быть еврейкой, и в писаниях ее нет никаких доказательств, что она планирует стать царицей евреев и что считает себя наследницей этих древних царей. Скрыть эти свои сомнения от Тайного Руководителя я не мог: я для него был как раскрытая книга, он меня видел насквозь. Несмотря на то что он западный человек, я начал его бояться. Верней будет сказать, что именно западного человека, освоившего наш образ мысли и наш язык, стоило бояться больше, чем любого из нас. Я начал избегать плохо освещенных улиц по дороге с работы домой: я был всегда начеку, когда выходил на улицу. Я спрашивал себя: стоит ли так рисковать из-за Галии? Я был бы рад от всего этого избавиться, убежать, но я запутался в профессорских словах, как муха в паутине.

Мы все еще сидим в ее машине, и она все говорит и говорит, пытаясь выяснить, что у нас с ней общего (к счастью, общего довольно мало). Я задаю ей вопрос, который давно хотел задать, и она отвечает «да». Она даже не считает нужным это скрывать. Ей и в голову не приходит, чем это признание для нее чревато. Мне нелегко было спорить с Профессором, но я защищал ее перед ним как мог, когда уверял его, что никакая она не еврейка, что ее рассказы про этих еврейских царей ничего не стоят, что его сведения неверны. Но теперь, когда она сама в этом призналась, она должна все поменять, причем быстро. Если есть что-нибудь для меня пострашней, чем нож под ребро, так это ярость Профессора, когда он потирает свои гладкие щеки и требует ответа на вопрос, почему царица евреев еще наслаждается жизнью.

Есть только один выход. Совершенно ясно, что я ей нравлюсь. Это почти за пределами приличий — то, как она бежит со всех ног откуда угодно, как только услышит мои шаги. Когда мысль об ее обращении в ислам впервые меня осенила, я подумал, что уговорить ее будет нелегко и что ее первой реакцией будет категорический отказ. Но если я скажу ей, что она в опасности, что над ее жизнью нависла угроза и что обращение принесет ей мир и безопасность, она согласится. Она не так уж отличается от наших женщин, эта влюбленная баба. Она сделает все, что я ей велю.

Глава 7

Хасмонейская хроника. Глава VII

Александр Яннай был сыном Иоанна Гиркана от женщины, чье имя история не сохранила. Она могла быть его любовницей или наложницей, но кем бы она ни была, сам факт ее присутствия где-то на задворках жизни мужа причинял Раме столько боли, что Иоанн не только прекратил все отношения с этой женщиной, но и Янная удалил как можно дальше от дворца Хасмонеев, чтобы умиротворить жену. Мальчика отправили в Галилею, отдав на воспитание старому другу Гиркана — богатому владельцу поместья, предоставившему юноше такую степень свободы, о которой он мог только мечтать.

Когда до Янная дошел слух о болезни отца, он направился в Иерусалим в сопровождении слуги, в чьей преданности он не сомневался, но чей конь был более чуток к опасностям, чем его хозяин, вследствие чего он не только заартачился, отказавшись следовать дальше после очередного привала, но еще и скинул своего всадника. Коня этого Яннаю и слуге пришлось бросить, и до окончания путешествия они ехали вдвоем на кобыле Янная. Уже спустилась ночь, когда они увидели в отдалении огни, выглядевшие как мерцающие звезды. Они не были уверены, что это им не померещилось, до тех пор, пока звездное мерцание не превратилось в воинов с факелами. И только когда командир отряда закричал «По приказу царя Аристобула, сына Иоанна Гиркана, сына Симона Хасмоней, сына Матафии, сына Иоханана!» — и их окружили воины, стащили обоих с их

единственной лошади, одели на них кандалы и впихнули в арестантскую повозку, Яннай вспомнил провидческое поведение коня своего слуги и горько пожалел, что не придал ему того значения, которого оно заслуживало.

— Знайте, что вы имеете дело с персоной царских кровей! — громко предупредил он. — Я принц Яннай, сын Иоанна Гиркана, а этот человек — мой слуга. Не знаю, кого вы намеревались арестовать, но вы, похоже, обознались.

В ответ грубые пальцы раскрыли ему рот, чуть не свернув челюсть, и те же грубые зловонные пальцы засунули ему в глотку кусок грязной материи. Точно так же заткнули глотку слуге. После нескольких часов жестокой тряски в арестантской повозке они услышали, как офицер прокричал еще один приказ, и те же грубые руки, что недавно вставили им кляп, завязали им глаза. Подъездную дорогу к крепости они не должны были видеть. Как и кипарисовую рощу по обе стороны дороги, ров с водой у подножья высокой стены, медленно отворившиеся и закрывшиеся за ними ворота. Когда с них сняли кандалы, вынули кляпы и сняли повязки с глаз, было ощущение, что они попали не в сырую холодную крепость, а в райский сад — настолько сильным было испытываемое ими облегчение от возможности видеть, разминать конечности, открывать и закрывать рот.

Когда чувство радости от избавления от оков улеглось, Яннай осознал, что перед ним стены темницы. «Здесь я и умру, — пронеслось у него в голове. — Умру от одиночества, голода или болезни». Но когда после многих дней и ночей смерть так и не посетила его, а одиночество, напротив, стало ему ближайшим другом, его камера вдруг отворилась и ему было приказано выйти. Он делал шаг за шагом по темному проходу, следуя за грубым стражником, приносившим его каждодневную порцию еды. Он шел и думал о том, что после вольной галилейской юности жизнь в тюрьме научила его терпению мелких шагов вроде тех, что он делал сейчас, когда его явно переводили в другую камеру — может, немного получше, где будет чуть больше света (шаг вперед), а может, вообще без света (шаг назад).

Его привели в большой зал, пустой, не считая стола, на котором лежало мертвое женское тело. Яннай узнал свою мачеху, хотя с тех пор, как он видел ее в один из его редких визитов в царский дворец Хасмонеев в Иерусалиме, прошло много лет. На скамье возле Рамы сидел в скорбной позе небритый молодой человек — Абшалом. Не поднимая глаз, только услышав шаги вошедшего, он назвал своего единокровного брата по имени. «Яннай!» — прошептал он, обращаясь к лежащей перед ним мертвой женщине и как бы извещая ее о его присутствии или спрашивая ее совета, какую линию поведения избрать в отношении этого незнакомого ему человека, так как, хотя Абшалом и узнал Яннай, тот был знаком ему лишь по смутным слухам, которые во впечатлительном сознании Абшалома давно превратились в легенду, и, несмотря на то что он знал все эти истории наизусть, у этого младшего законного сына Иоанна Гиркана не было ни малейшего представления о том, как вести себя в реальной жизни при встрече с легендой.

— Яннай! — повторил кроткий Абшалом, на этот раз глядя на него снизу, со скамьи. Лицо его светилось благоговением. Он слышал о галилейских приключениях Яннай, и в его голове сложился образ единокровного брата, непохожего на него: Абшалом был робок, Яннай — отчаянно храбр; Абшалом был книжником, Яннай — человеком действия; Абшалом имел мягкое сердце и был склонен к невидимым миру слезам, Яннай был человек-камень. Он бы и сейчас пролил слезу, но в явлении своего мифического единокровного брата ему виделся знак свыше.

Яннай присел рядом с Абшаломом на скамью и смотрел на успешную царицу с выражением горечи потери, которой он испытывать вроде бы не должен был. До этого он не знал, что Рама и Абшалом, как и он, содержались в крепости на положении узников, и он не сразу привык к мысли, что Рама уморила себя голодом в знак протеста. Только в сказках, подумал он, сыновья сажают в тюрьму своих матерей. Но, размышляя вслух, сказал: «А ведь это не сказка. Это такая же реальность, как эти стены». Да, подтвердил кроткий Абшалом, такая же реальность, как эти стены, и добавил, что и в заключении, как во всем остальном, есть обратная сторона, и когда

Яннай поинтересовался, какая именно, Абшалом сказал, что ему открылась возможность размышлять о Боге, который воплотил свое Слово в жизнь такими способами, о которых он, Абшалом, и помыслить не мог.

— Я обращаюсь к Богу, и он отвечает мне, — смущенно сказал Абшалом. — Бывают моменты, когда моя безмолвная молитва наполняет меня такой радостью, что даже с закрытыми глазами я начинаю видеть Его присутствие во всем, я слышу, как он говорит со мной, и мое сердце переполняется такой радостью, какую я и представить себе не мог. Тогда я чувствую, что могу вынести все, что угодно: козни Аристобула, эту темницу, холод, мрак, жесткое ложе без белья, скверную пищу. Даже здесь я могу испытывать радость.

Яннай не стал возражать новообретенному брату, понимая, что на его разум настолько повлияло длительное заключение, что он принялся искать обходные пути преосуществления страдания во что-то светлое. Сам Яннай, несмотря на весь кошмар заключения, никогда не сомневался в своем царском призвании, и то, что Аристул счел необходимым его изолировать, только подтверждало, что тот прекрасно понимал, насколько корона больше идет Яннаевской голове, чем его собственной.

Янная не слишком интересовало, почему златокудрый Аристул бросил в тюрьму свою мать Раму и своего родного брата Абшалома при том, что ни она, ни он не могли всерьез считаться претендентами на престол, несмотря на слухи, что Иоанн Гиркан прежде, чем покинуть этот мир, завещал царство Раме. Все эти мысли проносились в голове Янная, покуда он сидел на скамье рядом с Абшаломом, оплакивая мать, которая не была его собственной. Ни один из них не знал, сколько времени прошло так, день это был или ночь, да им и не нужно было знать, ибо связанные со временем понятия теряют смысл, когда в заключении течение собственных мыслей заменяет течение времени. Они не знали, как долго они так сидели, когда тот же стражник с грубыми манерами, который привел Янная из камеры сюда, приблизился к братьям с подобострастием, не похожим на враждебное безразличие,

с которым он обходился с ними раньше, и это само по себе было настолько невероятно, что они с нетерпением ждали, когда он заговорит. Нетерпение росло по мере того, как человек этот с трудом подыскивал слова, чтобы объявить им новость, действующую на него столь сильно, что, как только его возбуждение сменилось страхом, он стал дрожать, что еще больше затруднило передачу должного сообщения.

— Ну так что? — крикнул Яннай.

— Эээ... — забормотал стражник, — ц-ц-царь...

— Царь что? Что ему теперь надо?

— Ц-ц-царь... помереть...

— Он считает, что нам пора помереть?

— Э-э-э...

— Мало ему было отнять у нас красоту небес и сияние звезд, и деревья в цвету? — воскликнул Яннай. — Мало ему было бросить в тюрьму собственную мать, которая тут и умерла? Всего этого было мало нашему царю Аристову, нашему милому братцу. Теперь он еще хочет нашей смерти.

— Я всегда предполагал, что этим кончится, — тихо произнес Абшалом.

Стражник приложил ладони к вискам и принялся вращать глазами в отчаянии от того, что его так неправильно поняли. Ведь он имел в виду совсем не это.

— Н-нет, — забормотал он, — не вам п-п-помереть. Ц-ц-царь изволил п-помереть... — наконец договорил он.

С этого места события, казалось, стали стремительно развиваться по своей собственной внутренней логике. В крепость была направлена делегация, состоящая из одного члена синедрона и пятирх солдат, с приказом немедленно освободить узников и доставить их в Иерусалим. Яннай заявил, что не намерен ждать, пока эта делегация доберется до крепости, что может тянуться вечность. Он воспользовался своим двойным правом — свободного гражданина и царского сына — и повелел немедленно открыть ворота крепости, чтобы в сопровождении слуги, сохранявшего верность своему господину во время долгого заключения, сразу же отправиться

в Иерусалим. Абшалома, сказал он, следует дождаться официальной делегации, которая и доставит его в столицу — так будет лучше для всех. И когда Абшалом недоверчиво взглянул на него, добавил: тебе же будет лучше, Абшалом, ты же у нас кроткий.

Когда официальная делегация наконец прибыла и ее члены узнали о побеге Янная, они уже собирались возвращаться в Иерусалим с пустыми руками, как кто-то из них вспомнил про другого брата, все еще пребывавшего в заключении в ожидании освобождения. Они потребовали привести Абшалома, вспомнив о нем как бы ненароком, на что он отреагировал гораздо безразличнее, чем они опасались, поняв из этого, что данному принцу честолюбие совершенно чуждо. Очень скоро им стало ясно: внутренняя жизнь была для него слишком важна, чтобы обращать внимание на такую мелочь, как проявление пренебрежения к себе со стороны других.

Оказалось, что освободить Янная и Абшалома и доставить их в Иерусалим было приказом Саломеи — и не потому, что она так уж жаждала их лицезреть, и не потому, что она страшилась старости в роли одинокой вдовы, и не потому, что мечтала соблазнить обычай левирата, независимо от того, что она испытывала при мысли о браке с очередным отпрыском Хасмонеев, гражданский долг был превыше всего. Да, она исполняла свой долг, только и всего, уведомила Саломею своего брата Симеона бен Шета, заметив, что на его лице было написано меньше энтузиазма, чем она ожидала от новости, что Яннай и Абшалом на свободе. «Мой долг как жительницы Иудеи, — заявила она несколько высокопарно, — значит для меня больше, чем мои женские чувства». На это Симеон бен Шета не стал возражать, хорошо зная, сколько раз женские чувства Саломеи попирались в прошлом, и удивляясь, как ей удавалось этого не показывать. Дело было даже не столько в том, что все три брата Хасмонеев были по уши влюблены в девочку-сиротку Морию — настолько, что они вообще не хотели смотреть на его красавицу-сестру, единственную партию, которую их родители Иоанн Гиркан и Рама считали достойной будущего царя — но, главное в том, что после того, как Захария бен Габба, этот всем известный любитель лезть не в свои дела, раскопал так называемое доказательство принадлежно-

сти Мории к роду Давидову, надежды Саломеи на трон, казалось, рухнули окончательно и бесповоротно.

«Доказательство» это являло собой грязный растрепанный свиток с именами родителей девочки, родителей ее родителей и так далее, поколение за поколением — основательно составленное генеалогическое древо дома Давидова. Далее в свитке описывалась роскошная жизнь ее родителей в Иерусалиме вплоть до загадочного несчастья, которое лишило их всего, принадлежащего им по праву, и вызвало такой страх за свою жизнь, что с целью сделать жизнь дочери более безопасной, чем их собственная, они стали искать для нее приемных родителей, которых невозможно было заподозрить в какой-либо с ними связи. Ни одна семья в Иерусалиме и окружающих селениях не показалась им достаточно надежной, чтобы оставить ей дочь на попечение. Поездив по деревням в запряженной лошаадьми повозке, они остановились на Анебте. Даже когда города и села по всей округе страдали от засухи и других сезонных бед, Анебта могла похвастаться таким богатым урожаем винограда, фиг и миндаля, что никто из ее жителей не голодал, и часто перезрелые фрукты оставляли на деревьях. Пока они сидели в Анебте дольше, чем планировали, из-за дождей, превративших дороги в грязевые потоки, им рассказали про Нетанию и его жену Наоми — бездетную и благочестивую супружескую пару, живущую неподалеку в Шехеме и пользующуюся самой благоприятной репутацией среди соседей. Когда кончился сезон дождей и дороги подсохли, родители Мории прибыли в Шехем. Первый же дом, где их пригласили остаться на ночь, принадлежал той самой супружеской чете, которую они искали. После пары недель, проведенных с хозяевами, они уже не сомневались, что нашли приемных родителей для своей малолетней дочери.

Растрепанный свиток, описывающий историю рождения Мории, был полной неожиданностью не только для многих в Иерусалиме, но, главное, для самой Мории. Теперь она могла оставить в прошлом свой маленький тайный культ. Ей уже не нужно было восстанавливать в памяти слова и жесты Нетании и Наоми, чтобы не прервалась ее духовная с ними связь — ведь за доброе дело, кото-

рое они сделали, приняв ее и отдав ей всю любовь своих сердец, она отблагодарила их, как ей виделось, всеми теми проведенными в безмолвной молитве за них днями и ночами, которые заполняли все годы ее жизни во дворце Хасмонеев.

Теперь ее звали Мория бат Симон, дочь Симона бен Зеруббабеля, и из принявшей иудаизм самаритянки она превратилась в такую же полноправную еврейку, как любая жительница Иерусалима, и даже более того, ибо ее родословная, составленная Осией бен Йонатаном, старейшим мудрецом Большого Синедрiona, с непреклонностью подтвердила, что ее родители восходили по прямой линии к дому Давидову. С этого времени она могла по собственному желанию продолжать жить в своих покоях в хасмонеевском дворце под сенью царской семьи, оставаясь тайным предметом вожделения для всех трех царских сыновей, а могла выбрать любого из них и сочетаться с ним браком, законным как пред людьми, так и пред Богом. Именно это и говорил Мории кроткий Абшалом после своего возвращения из узилища, неизменно добавляя, что его любовь к ней не потускнела ничуть. Он повторял это снова и снова: пред Богом и в глазах людей, в согласии с Законом, дом Хасмонеев и дом Давидов соединяются этим Законом, что является знамением судьбы, и более того, Господней волей, ибо Он соединил их еще до того, как стало известно ее высокое происхождение. И теперь, когда все о нем узнали, ничто не могло помешать им стоять под брачной хупой.

Она отвечала саркастическими вопросами: интересно, не будет ли счастлив Яннай — она имеет в виду царя Яннай — заполучить в супруги жену своего покойного брата? Или: дознался ли кто-нибудь до причины смерти беспечного Антигона?

Только много позже Абшалом выразил ей вслух свое недовольство. Он, мол, не может как следует наслаждаться созерцанием радужных мыльных пузырей своего воображения, в которые он верит всей душой, пока она протыкает каждый из них своим нежным пальчиком.

— Так кто ж тебе мешает верить своим фантазиям? Верь сколько хочешь, — резонно ответила она. — Я только хочу обратить твое

внимание на то, что мы не можем позволить себе предаваться сладким грезам, пока не найдут разрешения насущные вопросы жизни и смерти в этом дворце.

— Какие именно вопросы? — спросил он, пряча от нее глаза, как будто бы он был виновен в смерти беспечного Антигона.

— Тебе не обязательно отводить глаза, — сказала Мория. — Во-первых, ты в это время находился в крепости, откуда не сбежал пока ни один узник. Во-вторых, у тебя для убийства просто кишка тонка, кроткий Абшалом.

— Это приводит к выводу, — тихо ответил Абшалом, потупив глаза. И, видя непонимающий взгляд Мории, объяснил: — Это приводит к выводу о том, что ты составила представление обо мне как о слабом, ни на что не способном. Даже на убийство.

— Так это ж хорошо, а не плохо! — воскликнула она. — Я не могла бы стать женой человека, способного на подлость и убийство. Не пойми меня превратно, Абшалом: это мой тебе комплимент. В глазах Мории кротость — гораздо более достойное качество, чем «крутость».

— Ну раз так...

Он так и не поднял на нее глаз и до конца недели избегал встречи с ней в дворцовых покоях.

Спустя многие годы Мория продолжала вспоминать об этих днях с прямотой, до сих пор расстраивающей Абшалома, несмотря на то что он гордился тем, что ему за долгие годы удалось добиться определенной степени интеллектуальной и духовной независимости от своей семьи. Раз, например, она сказала, что гибель беспечного Антигона — не несчастный случай и вообще не случайность, как хотелось бы верить Абшалома, а закономерность и что, даже если бы Антигону в то утро повезло больше и ничего плохого с ним не случилось, его рано или поздно все равно бы постигла подобная участь: достаточно вспомнить о страхе его брата Аристобула за свою корону и беспшибашность в сочетании с неумным жизнелюбием, которые были фирменным знаком Антигона, его другого брата.

— Это все из-за Саломеи, — ответил Абшалом, которому хотелось отвести вину и от Аристобула, и от Антигона, полностью пере-

ложив ее на Саломею, Александру Саломе, Шломцион. Ее имена соответствовали ее многообразной роли во всем и всепроникающему влиянию на все, что происходило в царстве Хасмонеев.

— Это все из-за нее, — повторил он мрачно, как бы надеясь, что, твердя одно и то же который раз, он в конечном счете вымарает из свитка истории кровь одного из братьев Хасмонеев, пролитую по повелению другого брата.

— Не совсем так, — сказала Мория, поводя правой рукой с поднятым указательным пальцем слева направо перед самым лицом Абшалома. — Когда это произошло, ты сидел взаперти в крепости и понятия не имел, как все это было.

И Мория рассказала ему, как Саломея сеяла в голове своего мужа Аристубула подозрения по поводу его любимого брата, его дорогого Антигона, который якобы замыслил отнять у него трон, а если он ей не верит и хочет доказательств, пусть вызовет его с условием, что тот явится пред ним безоружным.

— И знаешь, что она сказала Антигону, когда Аристубул согласился вызвать своего безоружного брата в тронный зал? Всего-навсего «приходи во всеоружии», и Антигон, естественно, послушался свою хорошенькую невестку, желая сделать ей приятное и не видя оснований для подозрений, так как, с его точки зрения, ни одна хорошенькая женщина не могла быть заподозрена в наличии хоть каких-нибудь мозгов. «Пойди и скажи ему, что царю угодно незамедлительно увидеть брата в его новых доспехах», — приказала она слуге, и слуга повиновался, и, как только Антигон объявился на пороге дворца во всем своем великолепии, стража свирепо набросилась на него, и он упал со всей своей броней и со своей ослепительной улыбкой и пышущими здоровьем щеками, выражая всеми своими чертами простодушное недоумение, что кто-то мог сотворить с ним такое. Он не мог, просто не мог поверить, что кто-то мог хотеть ему, Антигону, прозванному «беспечным», зла.

— Вот как это произошло, — закончила свой рассказ Мория.

— Вот, оказывается, как это было, — пробормотал Абшалом задумчиво. — Значит, я был прав, когда говорил, что это все из-за Саломеи. Оба мои брата попали в ее ловушку.

— Так как все-таки насчет Янная? — спросила Мория, направляя разговор в то самое старое русло, которого они годами пытались безуспешно избежать. У нее была своя теория по поводу Янная, или царя Ионатана Александра, как он повелел себя величать писцам, нанятым им для создания полной хроники своего царствования. Она привыкла к тому, что главным возражением Абшалома на все ее разговоры про царя Янная было то, что Яннай и Абшалом всего-навсего единокровные братья — с упором на определение «единокровные» — что у них один отец, но разные матери. А разве мать не значит для ребенка много больше, чем отец?

— Да, вы очень разные, — обычно отвечала Мория. — Я бы не смогла тебя полюбить, если бы ты хоть чуть-чуть был похож на Янная. Но вашим общим отцом был Иоанн Гиркан, одновременно и царь, и первосвященник, и, в то время как ты унаследовал его кроткий нрав, Яннай унаследовал нечто совсем иное. Все эти завоевания от Галилеи до Северного Заиордания; все, что он сотворил, перекроив иудейское общество по своей прихоти; то, что он возвысил саддукеев над фарисеями; и то, что он проливал кровь простых иерусалимлян, как воду, — в этом весь Яннай, это все, что можно о нем сказать.

Когда дурные предчувствия, связанные с Яннаем, почти достигали необратимых умозаключений, Абшалом напоминал ей, что в течение всех последних лет они старались этой темы избегать. Мория с ним сразу же соглашалась. Она всегда гордилась отстраненностью от государственных дел, выбранной их маленькой семьей в качестве жизненной стратегии. Именно так, говорила она, хотелось бы мне прожить всю жизнь. Подальше от дворца. Подальше от писаной истории. Подальше от нескончаемой череды бедствий, в которой правители барахтаются, как насекомые в банке с отравой, убивающей их всех, за редчайшим исключением. Слава — вещь преходящая, любила она повторять, а жизнь вдали от власти вполне может быть долгой и спокойной. Она хотела для своей семьи мирной безвестности, но иногда казалось, что и безвестность не приносит мира, хотя ни она, ни Абшалом не вождели короны. Ее происхождение из рода Давида, и его — от Хасмонеев были известны всем, и,

как бы тихо и отстраненно они себя ни вели, сам факт того, что в их жилах течет кровь двух самых знаменитых царских династий, не мог не родить в чьей-нибудь голове желания избавиться от них и от их единственного сына Авнера. То, что Авнеру удалось дожить до взрослого возраста, все-таки доказывало, что Мория была права, выбрав стратегию безвестности. И все же она часто говорила, что лучше бы им было перебраться в какую-нибудь затерянную деревушку подальше от Иерусалима, где никто бы про них ничего не знал.

Но Абшалом был привязан к Иерусалиму. Это был его родной город, и он не мог без него жить: здесь были его корни. «Люди подобны растениям, — любил он повторять. — Для них важны корни: некоторые из них, будучи пересаженными на новую почву, расцветают, а некоторые засыхают». Увы, он принадлежал к последним. Довольно того, что он отказался от всяких притязаний... нет, не на трон, конечно, об этом не могло быть и речи... на роскошную жизнь, на дворцовые покои, на пышные бани. Ему часто снилось, что он купается в золотой воде.

— В золотой воде?

— Ну да, в золотой воде. А знаешь, почему мне это снится?

Нет, Мория никогда прежде не слышала, чтобы он упоминал о золотой воде в своих снах. Не знак ли это грядущей беды? Разве не говорится, что измена приходит в золотом обличье?

— Мория, я же не о суевериях всяких толкую. Я рассказываю о снах, о своих мечтах. В детстве я часами лежал в ванне, любуясь золотом потолков, отраженным в воде. Это я и называю «золотой водой» моих снов — золотые блики, золотая рябь на воде. Я был рожден в роскоши, Мория. Я помню богатство и изобилие. И хотя я отказался от всего этого, тоска по той жизни продолжает жить в моем сердце. Иногда она одолевает меня, и что тогда со мной происходит, тебе хорошо известно.

О да, это было ей хорошо известно, и у нее не было ни малейшего желания возвращаться к тем дням, когда Абшалом лежал, распростершись на полу, не в состоянии ни встать, ни пошевелить рукой или ногой, ни даже подать ей знак, что он слышит, как она умоляет его хоть пальцем шевельнуть или руку приподнять — он даже этого

не мог сделать. И это была не телесная болезнь, это была болезнь духа, а когда речь шла об исцелении духа, такое было ей не под силу. Что она могла ему дать, кроме своей любви, которой она его щедро одаривала, чему он не переставал всегда радоваться, за исключением таких периодов, когда он превращался в бездвижную тушу, покинутую душой.

Мория слышала про мудрецов, про них говорили, что они обладают целительной силой, и теперь, когда Яннай, губитель фарисеев и враг мудрецов, был мертв, она решила, что настало время к ним обратиться. В противоположность Яннаю, царица была настолько великодушна по отношению к фарисеям и так щедро возвращала им утраченные привилегии, что в определенных кругах ее называли «Шломцион, царица фарисеев». Доступ к мудрецам открывался через царицу, но Мории такой путь претил. Она размышляла о многочисленных именах царицы. Думала о том, что будущие летописцы прочтут одно из этих имен в одной хронике, а другое — в другой, неминуемо запутаются в них и наплодят кучу разных цариц в среднем периоде Хасмонейской династии. И некому будет разъяснить историкам, что все эти имена — не более чем отражение политической ловкости рук этой единственной в еврейской истории царицы, имевшей реальную власть. И, право, кто, кроме этой виртуознейшей интриганши, мог бы ухитриться угодить сразу всем противоборствующим сторонам — фарисеям и саддукеям, евреям и грекам?

Нет, об обращении за помощью к царице не могло быть и речи, рассуждала Мория. Но был еще Симеон бен Шета, царицын брат, и этот путь казался много лучше. Мория не была уверена, что он помнит ее первый приход в их дом много лет назад, когда Саломея молча смотрела на нее в своей опочивальне в конце длинного коридора, и как она плакала беззвучно, глядя на Морию, оттого что в нее, в Морию, были влюблены все трое законных сыновей Иоанна Гиркана, а в Саломею — ни один.

Если Симеон бен Шета и не забыл этот ее давний визит, он никогда не показывал виду, что помнит, и ни разу не упоминал о нем все последующие годы. Его умение быть одновременно и друже-

любным, и отстраненным давало основание истолковывать это и так и сяк: он мог помнить, а мог и не помнить. Ощущение, которое испытывала Мория, думая о нем, подсказывало ей, что он про нее знает, а то, что, как ей казалось, он может читать ее как книгу, она предпочитала объяснять его мудростью, а не злопамятностью. Она отправила к Симеону бен Шета посланника, но не ожидала, что он отреагирует с такой скоростью. Когда звук копыт замер перед ее домом, она не выбежала ему навстречу. Когда он вышел из повозки, постучал в дверь и не получил немедленного ответа, это промедление дало ему время осмотреться и оценить выбор, сделанный для себя этими отпрысками двух царских родов. Окружение было самым скромным, и вид роскошной повозки сразу привлек к себе внимание. Мальчишки от мала до велика тут же окружили их, и его слуге пришлось их шугануть, дав возможность Симеону бен Шета сойти на землю без их комментариев по поводу его повозки и богатого одеяния.

— Мне совестно, воистину совестно видеть вас обоих живущими как отверженные, — произнес он, когда Мория наконец появилась в дверях и приветствовала его.

Она отвечала, что не согласна с таким определением их положения, но объяснила, что просила его посетить их не для того, чтобы продемонстрировать, как счастливо они проживают в качестве рядовых граждан, а потому что ее любимый Абшалом лежит, распростершись, на полу. Бедный ее муж не отзывается на свое имя, не узнает ее, не может ни говорить, ни двигаться. Она надеется, что эта болезнь лечится, и, если Симеон бен Шета не может ее исцелить, то по крайней мере он, возможно, сможет поставить диагноз. Сможет, не правда ли? Симеон бен Шета стал шагать вокруг распростертого на полу мужчины. Молча, заложив руки за спину, он ходил и ходил кругами, и Мории пришлось отвернуться, чтобы от вида этого кружения у нее самой не закружилась голова.

— Невероятная болезнь требует невероятного лечения, — произнес он наконец.

Мория хотела сказать, что ожидала большего. Она надеялась, что гость научит ее, как лечить эту болезнь Абшалома, какой бы неверо-

ятной она ни была, но Симеон бен Шета прочел ее мысли еще до того, как она произнесла хоть слово.

— Да, средство от этой болезни есть. Но оно потаенное.

— Может ли что-то оставаться потаенным для Симеона бен Шета, первосвященника Синедриона? — спросила Мория.

— Ты удивишься, дорогая Мория, если узнаешь, сколько всего на свете остается потаенным. — И, задумавшись на минуту, добавил: — Многие столетия.

— Что ж это за снадобье, Симеон, которое так долго остается потаенным, и как эта штука может помочь Абшалоуму, который вряд ли проживет столетия, даже если выживет на этот раз и проживет долгую жизнь?

На это Симеон бен Шета ответил, что он и не ожидает, что кто бы то ни было, даже Мория, которая посылает мысли лучше, чем многие мудрецы, сумеет понять его слова про исцеление, которое займет столетия. Нет, повторил он, он ни от кого не ждет понимания связи этих двух слов: исцеление и столетия.

— У нас есть традиция пророчеств, — сказал он. — Она у нас в крови. Но кто такие пророки? Это просто люди, которые видят будущее. Одни его видят ясней, другие — не столь ясно.

Тут он вздохнул и скромно добавил, что он себя не называет пророком: его знание находится где-то посередине. Но и этого его срединного знания достаточно, чтобы утверждать, что болезнь Абшалома не есть болезнь плоти, но есть болезнь духа: некое духовное недомогание. И лечения оно требует духовного — молитвы. В наших краях это известный метод лечения, но это не та молитва, к которой прибегают все так называемые целители. Тут нужен человек, который владеет особым молитвенным даром. Мория спросила, кто же этот человек и не может ли Симеон с его срединным знанием, которое превосходит ее собственное, такового раздобыть?

— Твое знание ничуть не уступает моему, — мягко поправил ее Симеон, — но оно находится в другой области духовного пространства, и хотя ты можешь знать не меньше моего, мы знаем разные вещи. Тот, о ком я говорю, ориентируется и в области мира невидимого, с которой знакома ты, и в области, с которой знаком я, и в об-

ласти, которая известна Абшалоу, потому что пути его духа охватывают неизмеримо большее пространство, чем любой из нас может себе представить. Он более человек духа в подлинном смысле этого слова, чем кто-либо из ныне живущих, и его знание не ограничено плотью — его собственной или чьей-либо другой. Нет, я не могу доставить его к тебе, но ты можешь вызвать его сама, если сумеешь сосредоточиться и послать ему мольбу о помощи.

В эту ночь Мории снились бани. Ей снились небольшие домики, расположенные по кругу, и к каждому домику примыкал маленький бассейн, напоминающий скорее колодец, чем баню. Она смотрела на это как бы с высоты и все видела. Бани эти находились так близко от домов, что казались верандами, наполненными водой. В центре круга, составленного домами, находился колодец побольше, и он, этот большой колодец, был центром не только архитектурного ансамбля, который она сейчас исследовала, но и средоточием духовной жизни живущих там людей.

Из этой центральной бани периодически кто-нибудь поднимался — мужчина или женщина, она не могла различить, так как в этом поселении все, и мужчины, и женщины, носили длинные волосы. Никаких других признаков пола она тоже не могла видеть, так как всякий, выходящий из бани, незамедлительно облачался в одежды. Еще больше людей, один за другим, выходили из малых бань. Те, кто прошли очищение, сразу направлялись в сторону молитвенного дома, а несколько жителей суетились вокруг длинного стола позади одного из домов. Видимо, время во сне текло медленней, чем наяву, потому что довольно скоро дверь молитвенного помещения открылась и выпустила мужчин и женщин, углубленных в собственные мысли, и они медленно двинулись в сторону длинного стола. Все заняли свои места, и один из мужчин, привстав, прочел короткую молитву. Ему даже не надо было вставать во весь рост или поднимать лицо к небу, чтобы Мория сразу поняла, что это тот самый человек, о котором говорил Симеон. Теперь ей оставалось только пробудиться ото сна, составить послание, отправить ему и надеяться на то, что крайняя необходимость, явствующая из послания, найдет в нем достаточный отклик, чтобы отправиться в Иерусалим.

Сперва она написала: «Отпрыск Давидов, исцели супруга сестры твоей по крови и по духу». Нет, не то. Не стоит рассчитывать на такое уж большое значение их принадлежности к общему роду, тем более что это всего лишь слух, который подтвердить во сне она ничем не может. Да и слишком многословен этот первый вариант послания. Попробовала по-другому: «Судьба Абшалома в твоих руках». Это кратко и по сути дела. Он поймет, что делать. Но что для него Абшалом? Достаточно ли ему до него дела, чтобы покинуть жителей этого поселения, в котором он явно главный?

Тут она проснулась. Она не хотела еще одного сна. В том сне она видела то, что видела, и составила свое послание. Однако ее опять тянуло в сон, и это пересилило удовлетворение от текста послания. Поэтому она снова легла, и сон, который ей на этот раз приснился, был реальней, чем болезнь Абшалома, и насущнее, чем необходимость исцелить его, и, еще пребывая во сне, она знала, что никогда его не забудет, что подтвердят ее внуки и правнуки, ибо даже в самом дряхлом возрасте она будет рассказывать о Человеке Ее Сна, как они звали Учителя.

В этом новом сне шум толпы сразу угас, когда Учитель приложил руки к сердцу, а затем воздел их к небу и стал говорить с ним со спокойной уверенностью, как говорят с близким другом. Она не могла разобрать его слов, но она видела движения его губ. Потом наступила полная темнота. Несколько мгновений прошло, пока она ощутила, что он вошел в обитель болящих и что она пытается разглядеть его сквозь бельмо на глазу слепого. Она попыталась выбраться из этого ощущения, но оказалась как бы взаперти. Она ощущала руки Учителя, возложенные на голову слепого, внутри которого она была взаперти, и вдруг глаза, сквозь которые она еще мгновение назад ничего не видела, открылись и стали видеть. Она увидела руки Учителя. Он поднимал руки вверх и черпал ладонями энергию из воздуха, а потом как бы разглаживал эту энергию прямо перед ее глазами. И с каждым волнообразным движением его рук она начинала больше видеть. Ей не нравилось быть внутри сознания слепого, и теперь, когда толпа стала славословить возвращение слепого в мир зрячих, ей не понравилось это еще больше, потому что первое, что

она увидела его вновь обретенным зрением, были руки и ноги, пораженные гангреной, и обрубки на месте конечностей, и гнойные раны на месте носов, и гниющие шрамы на месте ушей. От зрелища такого уродства и такого несчастья ее желудок наполнился жидкостью, которая быстро поднялась вверх и заполнила рот отвратительным вкусом.

Она проснулась, залитая собственными нечистотами. Она видела Учителя в деле. Она побывала в сознании одного из исцеленных им. Ей не нужно было других свидетельств. Она подошла к Абшалоу, продолжавшему лежать на полу в той же позе.

— Учитель исцелит тебя, — сказала она уверенно.

Не будучи еще исцеленным, Абшалом не отвечал.

Галя

Я уже столько времени не видела Александрo, что стала привыкать к ощущению, что этот мир — не такое уж хорошее для меня место. Что-то не так сложилось в отношениях между мной и этим миром, что-то, что невозможно исправить, как бы я ни старалась, и это что-то можно исправить только его присутствием в моей жизни. Мне обязательно надо сказать ему, что значит для меня его присутствие в моей жизни, и даже если ему это совершенно не важно, мне все равно надо ему это сказать.

Я придумала план: поеду в Манхэттен после работы, чтобы можно было ему позвонить оттуда и сообщить, что я тут рядом, всего в одном квартале от его нового места работы. На то, чтобы пробежаться по списку в моем мобильнике до его имени, ушла доля секунды, а вот на то, чтобы собраться с духом и нажать на кнопку «call», потребовалась вечность. Когда я, наконец, на нее нажала, я как в морскую пучину нырнула — вниз головой.

Он равнодушным тоном сказал «хеллоу», отчего я заговорила быстро-быстро, хотя я прекрасно понимаю, что быстро говорить с человеком, плохо знающим английский, — ужасная ошибка. Еще более ужасная ошибка вообще была ему звонить, но тут уж ничего не поделаешь, кнопку я уже нажала, а если бы не нажала, я бы страда-

ла, как Гамлет: нажать, не нажать. Сообщаю ему, что я тут рядом, всего в одном квартале. Спрашиваю, удобно ли ему, чтобы я подъехала. Спрашиваю номер дома.

— Я уже закончил работу, я не в Манхэттене сейчас, — говорит он тоном помягче.

Я осведомляюсь, где он, и он отвечает, что дома — стирать собирается. С каждым словом его тон становится теплее, и это меня удивляет и настораживает. — «Надо поговорить», — говорю я. Он отвечает, что может приехать ко мне, а могу я к нему. Тон у него такой теплый, что я не знаю, что и думать. Хочу спросить, что случилось, с чего это он вдруг таким тоном заговорил, я ведь так привыкла к его холодному тону, что теперь в растерянности. Но разговор кончается, вокруг народ, толкается — час пик! — и надо решить, что делать дальше. Идти обратно в метро? В Манхэттене мне больше делать нечего, и я спускаюсь в подземку по тем же ступеням, по которым несколько минут назад поднялась. Вытаскиваю свой проездной и прохожу через турникет. Вот что я решила: доеду на метро до его станции и с улицы позвоню.

Когда я выхожу из метро и звоню, отвечает он так, словно забыл, что полчаса назад сказал, что или я к нему могу приехать, или он ко мне. А теперь, когда я к нему приехала, он как будто бы даже не помнит, о чем мы говорили.

Он спрашивает: вы где?

— Я около «Тутанхамона», египетского ресторанчика возле метро.

— А, ясно, — говорит он бесцветным голосом.

— Я подумала, может, мы встретимся в ресторане и поболтаем?

Он делает паузу, настолько явную, что мне кажется, до нее можно дотронуться. Потом говорит:

— Мы ко мне пойдём?

— Все равно.

Это мое «все равно», конечно, значит слегка завуалированное «да» — чуть менее явное «да», чем обычное «да». Под этим «все равно» я подразумеваю, что пойду с ним, куда он захочет — все равно,

куда. Мое «все равно» означает «да». Я жду у ресторана, смотрю на толпу народа, идущую мимо, а Алехандро нет и в помине. Может, он забыл он нашем уговоре, как забыл про мой звонок из Манхэттена. Может, это у него из-за работы: весь день красить стены без маски. На нем прямо можно демонстрировать, как испарения от краски убивают мозговые клетки. Если его работа с ним такое творит, я найду ему какую-нибудь другую, где он не должен будет дышать испарениями от краски, раз из-за них он забывает элементарные вещи, такие как наша встреча у ресторана «Тутанхамон». Когда женщина соглашается прийти домой к мужчине, он не должен это воспринимать как что-то само собой разумеющееся. Даже если ей кажется, что речь идет только о том, чтобы поболтать. Но поболтать у мужчины дома — совсем не то, что поболтать на улице. Это нечто другое.

Когда мне почти совсем ясно, что он про нашу встречу забыл, я вижу его в толпе пешеходов. Что-то в его лице новое, более одухотворенное, чем обычно, что ли, как будто он прошлой ночью превратился в поэта. Я следую за ним к его дому, поднимаюсь по лестнице, вхожу в просторную комнату, которую, по его словам, он делит с тремя работягами мусульманами. Он возится с ключом в свою комнату, открывает ее и широким жестом пропускает меня внутрь. Сам стоит у дверей и с восточным гостеприимством провозглашает: «you are welcome!».

Я еще не успела сказать «спасибо» и не понимаю, почему он говорит «you are welcome!», это же по-английски «пожалуйста», которое говорят в ответ на «спасибо». Очередная его ошибка в английском? Но тут до меня доходит, что его «welcome!» — это не ответ на «спасибо». Он употребил этот глагол в его исконном значении «приветствовать». То есть он меня действительно приветствует — его «you are welcome!» значит «добро пожаловать!». Он говорит «добро пожаловать!», приглашая женщину в свою маленькую каморку. А так как эта каморка является его спальней, где стоит его постель, значит, он приглашает женщину в постель.

Но все это доходит до меня много позже. Так сказать, ретроспективно. Единственное, что я сейчас испытываю, это счастье находить-

ся с ним в одном помещении. Его ли это жилище, мое ли, какое-то третье, — все равно это вид близости, неважно где.

— Хотите выпить? — спрашивает он.

— Выпить?

— Воды, сока, молока, кофе?

— Нет, спасибо, — отвечаю.

Он все равно наливает и дает мне стакан сока, при этом его рука слегка касается моей, и я понимаю, что он это делает намеренно, поскольку стакан сока можно передать из руки в руку без всякого касания. Он включает музыку, какую-то смесь попсы и криков, которыми муэдзин созывает на молитву. Я ему говорю, что мне эта музыка не нравится, и прошу выключить. Он спрашивает, какая музыка мне нравится, и я отвечаю, что классическая.

Он говорит, что это и есть классическая египетская музыка.

— Я совсем другую имела в виду, когда сказала «классическая».

Он выключает музыку и садится по ту сторону маленького стола.

Я гляжу на книжную полочку над кроватью. На ней десяток книг с арабскими буквами на корешках. Одна из книг массивная, с золотыми буквами на корешке.

— Это Коран, да? — задаю я невинный вопрос.

Он с минуту молчит. Нехорошая пауза. В таких паузах созревают совсем не дружеские мысли, и я их ощущаю в воздухе еще до того, как он открывает рот.

— Откуда вы знаете Коран? — спрашивает он с подозрительным видом.

— Что?

— Вы сказали — Коран. Откуда вы знаете Коран?

— Откуда я знаю Коран? — тупо повторяю я, как будто Коран — это мужчина, чье имя я и знать-то не должна, но с которым я тайно встречаюсь. Ну как Джейк или Роберт. Откуда вы знаете Джейка?

— Я... ну, читала отрывки.

— Почему вы читали Коран? Это не ваша книга.

— Что значит «не ваша книга»?

— Как ваша книга называется?

— Моя? Вы имеете в виду книгу, которую я пишу? Или книгу моих стихов?

— Нет, Галия, не стихов. Книгу евреев.

— Вы имеете в виду... Тору?

— Да. Это ваша книга. Это вы можете называть. Имя вашей книги вы можете говорить. А имя нашей книги вы не можете говорить. И имя той, другой книги, книги христиан, вы тоже не можете говорить.

— Почему это я не могу говорить «Коран» или «Новый Завет»?

— У вас своя книга есть. Вот и говорите про свою книгу. А про нашу книгу нельзя говорить.

— Послушайте, Алехандро. Я много разных книг читаю. На английском, русском, французском, испанском. У меня даже есть сборник стихов в переводах с арабского. Что хочу, то читаю. И произношу название любой книги, какой захочу. За это мой язык не отсохнет и Бог меня не накажет.

Он отворачивается от меня. Что-то изменилось в воздухе комнаты. Дымка эмоций, окутывавшая нас до начала этого разговора, которая делала меня такой мягкой и податливой, что я позволила бы ему делать со мной все что угодно, развеялась. Что и говорить: у этого простого маляра, называющего себя Алехандро и даже не очень скрывающего, что его на самом деле зовут Аммар, довольно своеобразная манера справляться с собственными желаниями. После беседы о книге, которую я должна читать, и запрета на произнесение названий «не моих» книг мне особо говорить не о чем. Я сдергиваю куртку со спинки стула и поднимаюсь.

— Уходите? — спрашивает он с сожалением в голосе.

— Да, — отвечаю. Это сожаление в его голосе меня несколько удивляет. Что он еще от меня ожидал после этого запрета произносить название его книги?

Я направляюсь к двери, и он передо мной ее открывает почти столь же галантно, как когда впускал меня сюда с многозначительными словами «you are arge welcome!». Сейчас, однако, к гостеприимству примешивается что-то другое, не знаю, что именно,

да и не собираюсь вникать, потому что я уже вынырнула из этой дымки эмоций и нырять обратно никакого желания не испытываю.

Но пока я бреду к станции метро, дымка это начинает меня опять обволакивать. Ощущение такое, что он как бы перестал быть существом из плоти и крови и исходящие из него испарения окутывают меня, удерживают в себе и проникают в меня. Называется это ощущение просто: сильное влечение. Я о нем слышала, читала, знаю, что многие его испытывали, но со мной этого никогда не случилось. От этого обволакивающего тумана я начинаю спотыкаться. Чуть не падаю посреди улицы, как вдруг кто-то меня подхватывает. Сквозь туман не могу разглядеть, кто, но мне и разглядывать не нужно, чтобы почувствовать, что это он сам — виновник злосчастного тумана. Он говорит, что я так быстро вышла, что он не успел проводить меня до метро. Я не возражаю?

— Да нет, — отвечаю. — Не возражаю.

Он спрашивает, слышала ли я про Халила Джебрана, арабского поэта, жившего в Америке, автора известной книги стихов.

— Но это же ваша книга. Я вроде не должна ее читать и даже название произносить.

— Почему?

— Разве вы сами мне не говорили? Когда я у вас только что была? Вы же мне сами сказали, что у меня своя книга, у вас — своя, у христиан — своя. И что я не должна произносить название вашей книги, если я не мусульманка.

— Галия, — говорит он, положив руку на сердце. — Я говорил про книги, которые от Бога. Про эти книги вы не должны говорить, если это не ваша религия. А это же стихи, Галия. Вы же сами сказали, что любите стихи. Даже сами их пишете.

— Да, я люблю стихи.

— Пойдемте опять ко мне. Я вам покажу его стихи.

— У вас есть «Пророк» Халила Джебрана?

Я не ожидала, что у него вообще дома есть какие-нибудь стихи, и когда он подтверждает, что есть, меня это радует. Может, все-таки найдется, о чем поговорить — книги, например, которые можно об-

суждать и давать друг другу читать, в отличие от тех, которые даже упоминать нельзя из-за того, что он мусульманин, а я еврейка. Еще мне приятно, что он выскочил из дома и подхватил меня, когда я чуть не упала.

На этот раз, когда он открывает передо мной дверь в свою комнату, он не произносит «you are welcome», как в прошлый раз. Я уже тут не посторонняя, я уже пустила корешки в этом пространстве, а это формальное приветствие больше подходит для новопривыкнувшего гостя, для визитера-новичка, так сказать. Снова гляжу на книжную полку над кроватью, но, так как я не различаю, на каком корешке по-арабски написано Халиль Джебран, показываю пальцем на полку и спрашиваю, какая из них?

— Она не тут, она в компьютере. — Он набирает несколько арабских букв в «поиске». Я сижу и жду, пока он проглядывает на дисплее названия на арабском. Это тянется так долго, что я уже хочу, чтобы он закончил. Говорю, что потом сама найду у себя на английском — я все равно по-арабски не читаю. Он отвечает, что это не важно, что я не читаю по-арабски — он мне сам вслух прочтет, чтобы я услышала, как это красиво звучит на арабском. Арабский язык такой красивый, говорит он, вам надо его выучить.

— Ну, так и научите меня, — говорю.

— Нет, — отвечает он с такой чарующей скромностью, что туман заполняет полкомнаты и часть его лица. — Не могу. Вы учитель. Не я.

— Если бы я любила язык так сильно, как вы любите свой, я бы смогла ему научить, — продолжаю я.

Вижу, что он задумался, осмысляет сослагательное наклонение. Если бы я любила... так сильно... я бы смогла... Протягиваю ему руку помощи, формулируя ту же мысль доступнее:

— Я просто хотела сказать, что вы любите свой язык. Вот и все.

— Да, я люблю свою страну, — говорит он очень серьезно. — Я люблю свой народ. Все думают, что мы террористы, плохие люди. Это неправда. Мы не плохие люди. Вот вы наш народ не любите.

— Я про ваш народ ничего плохого не говорила. Я вообще не делю народы на свои и чужие.

— Евреи думают, что они могут убить любого, кто не еврей.

— Откуда вы это взяли?

— В книге написано.

— В какой книге вы это прочли?

— Я не прочел. Я вашу книгу не умею читать.

— Опять вы за свое: ваша книга, моя книга. На дворе XXI век, Алехандро.

— В XXI веке такое... очень важное дело будет. Которое в нашей книге... как это сказать? Предсказано?

— Ну и что же в ней такое предсказано?

Но он не хочет мне говорить, что там предсказано. Думает, что мне это не понравится. Я настаиваю, чтобы сказал. Раз это для него так важно, я хочу, я должна об этом знать. Наконец он как бы нехотя из себя выдавливает:

— Битва мусульманина с евреем.

Все это время, пока мы беседуем, в комнате происходят некоторые изменения в интерьере, которые я едва замечаю. До этого он сидел за столом, теперь сидит на кровати. Он задернул занавеску на окне и выключил верхний свет, но откуда-то тусклый свет все-таки пробивается. Разговор наш принимает такой неприятный поворот, что я нащупываю в кармане пачку сигарет и машинально ее трясю. Трясу так сильно, что она вываливается из кармана. Я наклоняюсь, чтобы ее подобрать. Он мое движение неправильно интерпретирует — думает, что я почему-то встала на колени перед кроватью. Он похлопывает рукой по одеялу и спрашивает:

— Хотите сюда сесть?

— Нет, — отвечаю. — Просто сигареты... выпали из кармана.

— Сигареты... — повторяет он задумчиво.

— Ну так кто победит? — спрашиваю.

— Чего?

— Да я про бой, о котором вы говорили. Кто в нем победит?

Он начинает рассказывать, как его народ уничтожит мой народ, и глаза его при этом устремлены в мои. Я пытаюсь отвести свои глаза, но не могу. Он замолкает и его взгляд останавливается на моих губах, прожигает их, побуждает открыться. И мои губы повинуют-

ся, но вдруг, вместо того чтобы слиться с его губами, они начинают извергать слова. Происходит странный бой между влечением и отвержением: на личном уровне — влечение, на социальном — отвержение.

Он продолжает:

— Евреи думают, что Палестина — их земля. Но это не их земля. Это наша земля. — Он произносит эти слова почти как признание в любви. Он произносит их со страстью, обращенной к своему народу и одновременно к моим губам, глазам, рукам.

Мои губы приоткрываются только для того, чтобы извергнуть еще один словесный залп:

— Знаете, есть такое слово — на «а» начинается? Современное название древнего чувства ненависти. Это как раз то, что я сейчас слышу от вас.

— Мы, арабы, тоже семиты. Если мы антисемиты, мы что, против себя?

Его английский вдруг становится настолько более внятным, что я в недоумении, как это у него получается.

— Это слово с определенным значением, и, независимо от того, что арабы тоже семиты и арабский язык — семитский, значение у него только одно. Оно было создано в XIX веке и означает ненависть к евреям.

— Вы, евреи, любите разыгрывать карту антисемитизма.

— Вы просто повторяете чужие слова. Вам-то что до этого? Сами рассказывали, что жили в Мексике, даже имя взяли испанское и сюда приехали, чтобы денег заработать на стройке. Какое вам тогда до всего этого дело? У вас свои проблемы: заработок, покраска-побелка, инструменты, материалы, все эти катки, кисти, растворы, штукатурка. Это все настоящее, это вам важно... А все эти разговоры про ваш народ — наш народ, ваша книга — наша книга... абстрактные какие-то темы...

Он смотрит мне в глаза, потом переводит их на что-то еще. Когда он опять на меня смотрит, это уже взгляд как будто издалека, и я еле сдерживаюсь, чтобы не коснуться его рукой, хотя, с другой стороны, это не так уж и трудно, поскольку я привыкла поступать не так, как

мне хочется, а ровно наоборот. Я делаю несколько решительных шагов в направлении двери и замираю, как приклеенная к половой доске. Берусь за дверную ручку, чтобы продемонстрировать, что этим не ограничусь. Никакому влечению командовать мною я не позволю. Стоп-кадр заканчивается, он встает и медленно движется туда, где я стою. Он делает трудное глотательное движение, как будто у него в горле застрял камешек, открывает рот и произносит стесненно:

— Галия... — И после короткой паузы опять выдавливает из себя: — Галия, я хочу вас поцеловать.

Я делаю шаг вперед и, хотя это даже не шаг, а шагжок, его оказывается достаточно, чтобы расстояние между нами сократилось до нескольких сантиметров. Я обнимаю его, и количество сантиметров сокращается до нуля. Я стою в ожидании поцелуя, и поэтому для меня является полной неожиданностью, когда он меня слегка отталкивает и одновременно задирает на мне блузку. Он продолжает меня подталкивать и задирает блузку, и я понимаю, для чего он задирает блузку, а вот зачем он меня толкает, не понимаю. По наивности, а может, по глупости я продолжаю упираться, пока не оказываюсь прижатой к кровати. Он меня даже не поцеловал: только сказал, что хочет поцеловать, и сразу же в кровать. Этого я не ожидала. Но он проживает в единственной комнате, и комната эта — спальня, и пришла я сюда сама. Чего другого я могла ожидать, придя к мужчине в спальню? По собственной воле, между прочим. Да, но ведь это он меня пригласил. Нет, это потом было. Сама, сама пришла, без всякого принуждения, потому что хотела... Хотела чего? Хотела быть с ним, может, не так, как сейчас произойдет... а как? Это во мне ложное целомудрие работает — тяжкое наследие советско-еврейского воспитания. Нет уж, хватит думать по-еврейски, думать по-арабски. Иначе все это кончится. А что, что кончится — что это такое, что я не хочу, чтобы кончилось? Что происходит? А ничего особенного не происходит. Я полудежу на его кровати, а он стаскивает с меня одежду. Он разговаривает со мной языком жестов, который он сам и изобрел, и я понимаю: этот жест означает «сними это», а этот — «сними то».

Я соответствую. Снимаю джинсы, блузку, наконец, все до конца. Складываю свое белье в кучку на моей стороне кровати, куда он не достает, хотя он туда и не собирается, а достает меня самое; его руки на моем животе, на моей груди, на моих бедрах, он утешит меня своими руками, разворачивая меня, как простыню, пока я ему не открываюсь совсем, и тогда он входит в меня, как в комнату, как в дом, и он двигается по этой комнате из угла в угол, сверху донизу, этот дом ему как раз впору, он его собой заполняет, опять двигается, потом замирает и теперь лежит на животе рядом со мной, а я перекачиваюсь на бок, чтобы посмотреть ему в глаза, потому что они излучают нечто, что мне так нравится. Что это такое? Просто улыбка такой глубины, темноты, осязаемости, что она проникает в меня через глаза, губы, щеки.

— Евречка моя, — говорит он тихо.

Александр / Аммар

Она мне звонит и просит ее встретить у метро. Встречаю, идем ко мне. Вот такие западные женщины: мужчине даже и приглашать ее не надо. Ходят, куда им вздумается, бесконтрольно, никаких правил, это свободная страна — для них тоже, а почему бы и нет? Может, и женщинам нужна свобода, не только мужчинам, но там, откуда я родом, все живут по правилам, особенно женщины. Вот поэтому оно горит таким чистым светом, мое пламя, и это ее привлекает, хотя она сама не понимает, что ее так во мне привлекает — она ничего не понимает про пламя. А оно во мне всегда, денно и ночью горит, оно в моем сердце — чистое светлое пламя любви к родине. И не в моем обычае его задувать, просто чтобы вывести наружу и продемонстрировать посторонним: глядите, оно совсем не опасное, вот как его надо разжигать, вот как оно горит, здорово, да? Она разглагольствует о вещах, о которых не имеет никакого представления, о вещах, для меня священных, как для всякого человека моей веры. Потом она идет дальше — приводит слова какого-то британского политика, который цитирует какого-то шейха-мусульманина о том, что ислам вернется в Европу как по-

бедитель, и на одном дыхании заявляет, что, если бы арабы не отвергли план ООН 1947 года по разделению территорий, никакого конфликта сейчас бы не было. И, как будто этого мало, тычет себя пальцем в грудь и спрашивает, почему в исламе такое несправедливое отношение к женщинам, и что я об этом думаю.

Что я могу ответить? Я благочестивый мусульманин, верный своей жене — только одной, кстати, жене. Не знаю, почему она решила, что у меня их две. Вот такое на Западе искаженное представление о нас, обо всех нас, как будто мы все одинаковые, как будто у каждого из нас по четыре жены и детей штук двенадцать-пятнадцать — по три-пять от каждой жены. Но я-то не такой. Я люблю свою жену. Я боюсь свою жену. Ну, «боюсь», может, и не то слово — я не ее боюсь. Я боюсь ее обидеть; боюсь, что она может страдать, гневаться и ревновать, и я должен быть особенно к ней внимателен, так как она доверила моим рукам свое сердце, и я должен пронести по жизни ее сердце в своих руках и не разбить его. Когда Еврейка мне звонит, иногда я отвечаю, иногда нет, но сам ей никогда не звоню в ответ, когда она оставляет мне сообщения о том, что скучает по мне. Пару раз она меня спрашивала про мою жену. Не знаю, откуда она взяла, что у меня две жены. Может быть, когда я ей как-то сказал, что в нашей культуре мужчине разрешается иметь две, три, четыре жены, она решила, что это я о себе говорю — как будто все, что я говорю, относится ко мне, а это не так. Я говорил про весь наш народ. Я говорил о нашей традиции в целом и не считаю нужным это объяснять: хочет думать, что у меня две жены, пусть думает.

Но она на этом своем заблуждении не останавливается, а продолжает ходить неверными путями. В ее представлении мужчина не может любить одновременно двух женщин: любить двоих — значит ни одной не любить. Из этого она делает вывод, что я имею право быть любимым третьей женщиной, и что она — первая женщина, которую я люблю по-настоящему. Откуда она берет все эти идеи? А у нее голова полна ими. Каждый раз, когда мы встречаемся, у нее полно новых идей, и она их тут же выпаливает — так, что мне иногда кажется, что я ей нужен только для того, чтобы выслушивать

болтовню про ее новые идеи. Но для чего бы я ни был ей нужен, она женщина, а я мужчина, причем мужчина, верный своей жене. Если оставить в стороне общение с другими женщинами, я посылаю домой деньги, работаю сверхурочно по двенадцать — тринадцать часов в день — чем больше, тем лучше, — и не только ради заработка, но и чтобы довести свое тело до изнеможения, чтобы оно меня не терзало желанием. А она приходит сюда со своими собственными целями: говорит, что хочет побеседовать, я ей верю, и она говорит и говорит, и уверяет, что ей ни с кем, кроме меня, разговаривать не интересно, потому что я ее вдохновляю. Она знает про мою религию, но это ее не смущает, а может, наоборот, вдохновляет — вся эта ситуация с тем, что она еврейка, а я мусульманин, и что я по этому поводу ощущаю и что я об этом думаю, а когда я ей говорю, что я ощущаю и что думаю, ей это не нравится. Она старается это не показывать, но я же вижу, что ей не нравится. Но ее это не останавливает, и она задает еще больше вопросов, вытягивая из меня ответы, чтобы мне стало ясно, как глупо во все эти мои принципы верить. Она меня провоцирует на ответы, а потом представляет их в таком свете, что я оказываюсь или расистом, или антисемитом, или просто idiotом.

Что ей дает эта бесконечная болтовня? Что ей дает без конца напоминать мне, что она еврейка? Она что, не понимает, что я чувствую, когда она это говорит, не понимает, что у меня автоматическая реакция на слово «еврей». Никогда не думал, что смогу быть в дружеских отношениях с евреем, что смогу охотно пускать еврейку к себе в дом, что она в самом деле может мне нравиться, что мне даже будет хотеться, чтобы она у меня осталась. Она из тех женщин, которым кажется, что они должны все время говорить и говорить, чтобы не попасться в ловушку молчания, особенно когда они остаются наедине с мужчиной, — то, что нашим женщинам совершенно не свойственно. Но вот так тут жизнь устроена: все свободны, женщины тоже. Но, несмотря на всю эту хваленую свободу, эти женщины боятся сидеть молча и слышать, как пульсирует желание в венах мужчины, а может, и в их венах, потому что они недостаточно свободны, чтобы в этом себе признаться. Какие-

то, возможно, достаточно свободны, но не те, которые болтают без умолку, чтобы что-то предотвратить. Я специально удерживаюсь от ответов, чтобы она услышала тишину, но она в ответ вскакивает и становится на колени возле моей кровати, так что мне ничего не остается, кроме как задать вопрос: вы хотите сесть рядом со мной на кровати? Нет, говорит она, я просто ишу пачку сигарет, которую обронила. Она произносит это, задыхаясь, словно молчание уже оказывает свое действие. Отлично. Напряжение становится невыносимым — что-то должно произойти в следующие пять минут. Я стараюсь встретить ее взгляд, но она все говорит и не смотрит на меня. Однако разговоры уже не работают, и она это понимает. Она же все-таки не дура. Вот тут-то я понимаю, что время действовать. Я никогда в такой ситуации не оказывался, когда так называемая свободная западная женщина ждет, чтобы я это с ней сделал, понимая, что я это сделаю, и тем не менее боясь этого. Довольно похоже на ситуацию с женщинами нашей культуры с той только разницей, что наша женщина никогда не позволит себе оказаться без всякой возможности избежать этого в одном помещении с мужчиной, не являющимся ее мужем. В наших женщинах есть уважение и страх перед мужчиной — страх в хорошем смысле слова, не смесь страха и желания, в которой желания больше, чем страха; здесь страх является ничем иным, как страхом ожидания, кто сделает первый шаг. Вот эта конкретная якобы свободная западная женщина, она все равно хочет, чтобы первый шаг сделал мужчина. Но здесь-то правил нету, границы зыбки, совсем не так, как в нашем мире, где ты всегда знаешь, кто есть кто: вот тут — мужчина, а вон там — женщина. А здесь, вместо того чтобы положиться на проверенную веками формулу, приходится каждый раз что-то изобретать самому — новые мысли, новые слова, даже новые жесты.

Когда я, наконец, говорю заветные слова, она застывает. Мне почти слышно эхо моего голоса в ее голове: «Галия, я хочу вас поцеловать». Она кладет руки мне на плечи, поднимает голову так, что ее губы оказываются в нескольких сантиметрах от моего лица, и мне приходится напомнить себе не касаться губами ее губ, пото-

му что даже в этот момент я не могу забыть о ее происхождении и о том, что целовать еврейскую женщину запрещено — харам. Но она, похоже, не понимает, что все, что мне надо, это попользоваться ею, как мужчина пользуется женщиной: без никаких сложностей, без никаких обязательств — получил удовольствие, и привет! Она видит, что я ее хочу, и думает, что это любовь; она ведет себя со мной как ребенок: ее тело отзывается на мое прикосновение. Я могу делать с ней, что захочу, не беспокоясь о том, что телесный контакт повредит моей душе. Я напоминаю себе, что она пришла сюда по собственной воле, желание привело ее в мою комнату, и, если она этого хочет, она это получит. Есть на свете мужчина, способный устоять перед хорошенькой женщиной, которая так откровенно его хочет? Нет и не было такого мужчины, и нечего мне становиться первым, и с этими мыслями, проносящимися у меня в мозгу, я кладу руку над ее грудью и слегка надавливаю, пока до нее, наконец, доходит и она дает себя подтолкнуть. Полметра назад — кровать прямо за ее спиной. Отлично, мы на месте. Она, похоже, еще не все поняла. Ну прямо как дитя. Мне приходится еще раз ее подтолкнуть, заставить опуститься еще ниже, пока она спиной не ощутит край матраца. Ну все — вроде поняла. Однако она еще сопротивляется. Ей не нравится, когда ее толкают, причем не просто толкают, а толкают на кровать. Она считает это неромантичным. Им нравится быть свободными, этим западным женщинам, но им нужен еще и этот идиотский романтический антураж. Я не знаю, как себя вести с западной женщиной. У меня нет этого опыта. Я делаю ошибки. Почему она сопротивляется, когда я толкаю ее в кровать? Разве она не сама пришла? Может быть, она об этом не думала, когда приходила сюда: женщины не хотят об этом думать, не хотят признать, что есть такой предмет мебели, как кровать, даже если они приходят к мужчине в спальню, которая является единственной его комнатой. Она видит кровать, но не хочет признать, что этот предмет мебели имеет к ней какое-то отношение. Ну что же, придется ее разочаровать. Я не ожидал, что она захочет играть в «ничего не знаю, ничего не ведаю». Я считал, что, если женщина приходит к мужчине домой, она сознает, что делает. Воз-

можно, я не понимаю этих западных женщин, не понимаю, почему они ведут себя так, а не иначе. Зачем им эта их свобода? Куда она их привела? Не туда же ли, куда она привела их несвободных сестер — в кровать к мужчине? Эта так называемая свободная женщина — просто слепой котенок, не понимающий, куда ткнуться. Приходится ею руководить, как я руководил вначале моей женой. Мысль о жене опять приносит мне чувство вины, а я не хочу его испытывать. Я человек надежный, посылаю жене и детям деньги, работаю на износ, вечно один, в вечном страхе, без документов, при постоянном риске, что меня найдут, сломают замок в моей комнате, завалят меня на пол и потащат по нему мое тело с заломанными за спину руками в наручниках. Лучше об этом не думать, что толку, особенно сейчас, когда еврейка снимает с себя одежду. Все, на что ни покажу, снимает послушно: блузку, рубашку, джинсы, лифчик, трусики. Я так и не понимаю, с чего она в меня влюбилась — что она такого во мне нашла? Не знает она, что ли, что мы в состоянии войны? Но ее, кажется, это не волнует. Она хочет меня всего, включая и то, что сейчас произойдет. Мне хочется сказать ей: не вынуждай меня делать то, что запрещено, то, что харам. Но я же все-таки мужчина, и, даже думая про харам, я не могу противостоять красивой женщине, которая лежит передо мной голая и ждет меня. Я кладу руку на ее белый живот и начинаю ее ласкать, забыв о ее происхождении, о вероломстве ее народа, об их высокомерном презрении, о ложности их обвинений, что мы, мол, присвоили себе их пророков и списали их речения в нашей Книге. Я открываю ее как книгу, лист за листом. Я глубоко погружаюсь в эту женщину, и мягкость ее тела, эта подобная маслу мягкость, в которую я захожу, укачивает меня так, что я забываюсь и погружаюсь все глубже в эти воды, и плаваю в них так уверенно, как раньше со мной никогда не бывало. Плыву дальше. В момент высшего наслаждения мне является Фатима. Правой рукой она делает запретительный жест, левая рука ее покоится на головке нашего ребенка. Она умоляет меня остановиться. Но я уже не могу остановиться, она должна это понять. Ее образ тускнеет, исчезает — образ свидетельницы моей неверности. Еще через мгновение я растворяюсь в этом мас-

ляном море, невесомый, покачиваюсь на его волнах, удерживаемый на поверхности одним ощущением блаженства, и тут опять мне является Фатима, на этот раз с обоими детьми, с мальчиком и девочкой, она держит в руке плакат, на нем большими буквами написано: «ХАРАМ». И вид у нее прямо как у Тайного Руководителя, и голос ее я не узнаю — он становится каким-то визгливым, когда она обвиняет меня в измене нашему народу, нашей судьбе, нашему будущему, в забвении миссии, для которой я был избран и обучен — ради чего? Ради того, чтобы спариться с презренной еврейкой, трусливой, коварной, ничтожной зимми. «Остановись!» — кричу я. Но она кричит еще громче: «Предавшие нас в последней решающей битве будут вечно гореть в огне нашей ненависти...» «Нет, — говорю я, — погоди». Или, еще лучше, уходи. Оставь меня в покое. Только что здесь разворачивалась совсем другая битва, и вместо победы она принесла мир — не победу мне и поражение ей, а мир и радость, и прощение.

Евреечка моя, говорю я нежно, положив голову ей на плечо, правую руку — ей под голову, а левую — на ее белый живот.

Галя

Он лежит рядом, его рука — на моем животе. Вдруг он руку убирает, словно в нерешительности, потом как будто позволяет себе опять до меня дотронуться, снова руку отдергивает. Просто смотреть тяжело на его нерешительность. Но тяжело, когда он руку убирает, а когда он меня трогает, мне становится так хорошо, даже когда он делает это грубо — как тесто месит. Когда он руку снова убирает, я гляжу на него и вижу, что он весь в поту. «Вы нездоровы! Надо аспирин принять!» — говорю я. «Да, я нездоров», — откликается он, и мне кажется, что он рад, что я это заметила. Теперь, когда я знаю, что он нездоров, он сможет объяснять то, что между нами произошло, как результат недомогания, а не сознательного поступка. Он встает, пот с него катится градом. Берет полотенце, подносит к лицу, промокает щеки. Садится за стол и угрюмо молчит, похлопывая себя по физиономии.

До меня никак не доходит, что тут не так. Что, в сущности, происходит? Я лежу в постели мужчины. Мужчина этот сидит за столом. Непохоже, что он собирается в постель вернуться. Вывод: надо одеться и сматываться. Где там мое барахло? Вон оно, слава богу. Надо одеться и, скорее всего, уйти. Здесь произошло нечто большее, чем я ожидала. Я ожидала поцелуя. Легкого, воздушного поцелуя, и только. Поднимаю глаза и вижу плакат на стенке. Раньше я его не замечала. Он гласит: «Да здравствует Палестина!» На нем изображены люди в черных носках, натянутых на голову... что-то вроде лыжных масок с прорезями для глаз и рта, но для меня это носки. Я видела такие плакаты на окраине Сан-Кристобаля-де-лас-Касас — города в мексиканском штате Чиapas, на улицах, где царили нищета и мерзость запустения. Что я тут делаю, раздетая, в постели этого арабского работяги, нелегального иммигранта с какими-то темными мексиканскими связями и с еще более темными отношениями со своей женой — или женами — из деревни под Хевроном или еще черт знает где? Вот еще одна проблемка: ведь я так и не знаю, ставить тут единственное число или множественное — одна жена? две? три?

Я наблюдаю, как он вытирает лицо насухо полотенцем, целиком погруженный в свои мысли.

— О чем вы... ты думаешь?

В ответ он издает неопределенный звук.

— Но мне интересно, я хочу знать, — настаиваю я.

Он пожимает плечами. Он не привык, чтобы кому-то были интересны его мысли. Он рабочий, работяга... кому дело до его мыслей? Мне. Когда я надеваю лифчик, резинка застревает над грудью и мне приходится ее с силой дернуть вниз. Наверное, это смешно — как я дергаю за лифчик. Разве ему не смешно? Но он на меня не смотрит. Он уставился в пространство отсутствующим взглядом. Он думает. Я выуживаю из небольшой груды одежды на кровати свою одежду — рубашку, брюки. Встаю, чтобы все это надеть. Он все сидит и думает, не знаю, о чем, но я хочу знать, я должна знать. Теперь, после того, что произошло, я имею на это право.

— Ну, скажи мне.

— Да так, ничего... — мямлит он почти смиренно.

На шее у него цепочка — интересно, что на ней. Я протягиваю руку и выдергиваю цепочку поверх полустегнутой рубашки. Я могу теперь себе это позволить. Имею право. На цепочке металлический кружок диаметром сантиметра четыре. На нем арабские буквы.

— Что тут написано? — спрашиваю.

— Да так, — опять пожимает он плечами. — Слова всякие.

— Какие именно?

— А зачем тебе так много знать?

— Это не много. Это про тебя. Я хочу понять что-то про тебя. О чем ты думаешь. Что ты любишь. Что ты носишь на шее.

Вместо ответа он протягивает руку и застегивает молнию мне на брюках. Я гляжу вниз на его руку, которой он застегивает мне молнию. Я должна оценить этот жест: это единственный знак внимания с его стороны с того момента, как он вылез из постели, добрался до стула и уселся в позе роденовского Мыслителя. Алехандро, то есть, Аммар Мыслитель. Когда его рука заканчивает процесс застегивания на мне молнии, она слегка проходится, поглаживая, по застегнутой части моего тела. Приятно сознавать, что у него сохранились теплые воспоминания о нем.

— Ну ладно... — тяну я, надевая куртку. Я готова к выходу, но все еще надеюсь, что он чего-нибудь скажет, попросит меня остаться, предложит мне место за своим столом, ну хоть что-то. — Ну ладно... — опять говорю я и, повинувшись внезапному озарению, наклоняюсь над ним и целую его в губы.

Легкий такой поцелуй, почти платонический. Как раз такой, которого я ждала, придя сюда. Разве он не сказал «Галия, я хочу вас поцеловать»? А дальше ничего не было, вернее, было все, но только не поцелуй. Его губы реагируют вяло, отвечая поверхностным поцелуем, а мысли его все еще далеко-далеко. Где его носит, под какими он чарами? Заматываю шарф вокруг шеи и ишу глазами свою сумочку. «Где она? А, вот, спасибо».

— А ключи? — осведомляется он с заботливым видом. Я ему как-то сказала, что часто теряю ключи, и поэтому ношу с собой сумочку, чтобы все держать в одном месте. Он открывает передо мной дверь.

Я иду к лестнице и спускаюсь вниз. Останавливаюсь на нижней ступени. Он идет за мной. Я поворачиваюсь. Оставляю на его губах еще один беглый поцелуй.

Он придерживает передо мной выходную дверь в позе старорежимного джентльмена, но проводить до метро не предлагает. Все-таки он болен. Говорю, что позвоню завтра, узнать, не полегчало ли ему. Если нет, принесу градусник, отведу к врачу, дам свою карточку медстраховки, чтобы ему не пришлось платить. Да, я понимаю, что это незаконно и что номер не пройдет, но это детали, они могут подождать.

Я ухожу, и асфальт под моими ногами, как ковер, мягок.

Глава 8

Хасмонейская хроника. Глава VIII

Когда Учитель пришел, Мория спала. Он постучался и долго ждал, но никто не спешил открыть ему дверь, поэтому он толкнул ее и вошел. Он стоял в полутемной прихожей и шаркал ногами по доскам пола. Ноги его в изношенных старых сандалиях были сами жестки, как половая доска, и при этом шаркании раздавался громкий скрипучий звук, что ему и нужно было. Он проделал долгий путь по этому вызову, и теперь кто-то должен был его ожидать. Время от времени он нуждался в прямых доказательствах, что верно понимает свою миссию и что сама миссия не есть иллюзия, и доказательства давались ему как раз через такие вот вызовы, получаемые им посредством внутреннего слуха, а не произнесенного слова. Мория спала в большой постели, которую она делила с Абшаломом так много лет, что его половина ложа еще хранила тепло его тела — так же, как вмятина на подушке сохраняла форму его головы. У входа Учитель долго шаркал подошвами сандалий, размышляя имеет ли он право войти внутрь и прийти к тому, кто нуждается в его помощи. Но пока он размышлял, его взгляд упал на распростертую на полу фигуру.

Лучшим методом поставить пациенту диагноз было для Учителя наблюдение за потоком образов, бесконечно проплывающих в мозгу всякого живого существа, и, поскольку данный пациент был пока еще существом живым, этот метод был применим. Однако, сколько он ни старался оказаться внутри головы лежащего на полу, ему при-

ходило наталкиваться на сопротивление — тем более неожиданное, что оно больше походило на сопротивление материала, чем на духовную преграду. Эту закрытую в область духа дверь он ощущал почти физически. Твердую, холодную, наглухо запертую. Он воздел руки так, чтобы ладони располагались параллельно потолку. Слова сами собой складывались в молитву и изливались из души, словно в просьбе об отводе своей собственной беды, хотя на самом деле все, о чем он просил, было позволить ему проникнуть в сознание больного, лежащего перед ним. Слова просьбы будто обтесывались алмазным резцом, ибо он ясно сознавал, что Отец даст ему ровно то, о чем он просит, ни больше и ни меньше, поэтому он не просил помощи ни в постановке диагноза, ни в излечении пациента. Все это придет потом — в зависимости от плотности потока, его скорости и содержания, а может и не прийти вовсе. Теперь образы стали появляться, мелькая быстро и подряд, и ему пришлось сразу начать за ними напряженно следить. Он вглядывался в поток, но ничего не мог разглядеть, кроме смутных очертаний, проплывающих мимо. Он сосредоточился еще сильнее и, наконец, начал различать строй копий, шлемов, рук, несущих щиты, поле боя, покрытое трупами, толпы крестьян, идущих за несколькими мужскими фигурами, из которых выделялся один, остробородый, окруженный своими братьями. Учитель знал, как их зовут: Ионатан, Симон, Иоанн Гадди и Элизэр. Иехуду Маккавея он узнал сразу, не в последнюю очередь благодаря его походке, специфической из-за отсутствующего большого пальца на правой ноге — именно так Учитель отличил его от братьев. Семейная линия, начавшаяся с их отца, Матафии Хасмона — линия, благодаря которой Иудея добилась нескольких десятилетий независимости, грозила прерваться из-за пошлейшей грызни между братьями Гирканом II и Аристобулом II, сыновьями царицы Саломеи, она же Шломцион, вдова царя Аристобула I и царя Янния, ее второго мужа — самого кровожадного из всех хасмонейских монархов, который, по слухам, знал имя человека, владевшего знаменитым Пальцем Ноги. Поговаривали, что Палец этот хранится в специальном рассоле, который некоторые называли «плевком Ариэля» — того самого, который правит стихиями и которого, не-

смотря на его устрашающих размеров львиную голову, часто путали с Уриэлем, что было непростительной ошибкой, ибо сам Ариэль всем своим титулам типа «дух воздуха», «ангел вод и земли» и «владыка огня», подчеркивающим его связь со стихиями, безусловно предпочитал титул «целителя».

Действительно ли тот, кого считали первым Хранителем Пальца, получил эту реликвию от самого Иехуды, а уж потом передал ее своим преемникам, было не столь существенно, поскольку Палец продолжал жить своей жизнью, плавая то ли в огуречном растворе, то ли в ариэлевой слюне, а легенда о его целительной силе жила и развивалась совершенно от него независимо. Все многочисленные версии этой легенды не совпадали ни в чем, кроме главного вывода, который, хотя и был по-разному изложен в разных версиях, совпадал во всех них вот в чем: законный Хранитель Пальца до сих пор не обнаружился; все три известных Хранителя являлись таковыми лишь временно; законный Хранитель должен быть достойным потомком Иехуды, но, в отличие от самого Иехуды, он будет не делателем, а созерцателем; выпавший ему жребий Хранителя будет от него самого скрыт до тех пор, пока им не овладеет такая болезнь, что он будет полностью обездвижен, после чего некий целитель, известный как Учитель, вылечит его через дар видения внутренним зрением, и только тогда в поле этого внутреннего зрения появится Палец, и его владелец признает Палец своим, примет на себя миссию Хранителя, будет окончательно исцелен и передаст этот дар видения своим потомкам с тем, чтобы в каждом поколении Хасмонеев находился один законный Хранитель, а так как Палец есть предмет не только священный, но и приносящий многие, в том числе неизвестные доселе, блага, необходимо делать все возможное, чтобы и сам Хранитель, и его потомки были живыми и невредимыми из поколения в поколение.

— Ваш муж здоров, госпожа, — сказал Учитель.

Мория уже давно проснулась. Она смотрела, как Учитель помогал Абшалому подняться с пола и как Абшалом, чьи ноги были ослаблены из-за длительного бездействия, сначала оперся о руку Учителя, пытаясь сохранить равновесие, а потом продолжал стоять

уже без поддерживающей его руки. Мория знала, что на этот раз она зрит Учителя не через чье-то чужое сознание, а прямо и непосредственно — и не только потому, что она была в состоянии полного бодрствования, позволяющего ей ясно видеть, что происходит, но и потому, что ей открылись внутренние побуждения других людей. Чувство было такое, словно в нее влилась малая часть силы Учителя, сделав ее чудотворцем подобным Учителю, хотя в то же самое время она сознавала, что только из-за его щедрости ощущает себя равней Учителя, которой она на самом деле не является. Конечно, не являюсь, сказала она себе со смирением. Тем не менее факт оставался фактом: сердца людей были для нее открыты, как минимум тех двоих людей, которые в данный момент находились в одном с ней помещении. И то, что она увидела в этих сердцах, поразило ее до глубины души.

Абшалом был не только объектом чуда. Он был еще и его свидетелем, и теперь, когда сознание полностью вернулось к нему, он горел желанием взять на себя роль свидетеля, оповещающего мир, носителя благой вести, автора повествования о жизни Учителя и о времени, в котором он жил. В его мозгу складывались слова; они требовали немедленной записи, чтобы новые и, как ему казалось, лучшие, более точные слова имели возможность прийти на смену уже записанным. Мория читала эти слова в мозгу мужа, видимые настолько отчетливо ее внутренним взглядом, как если бы уже были записаны: «Он пришел, исцелил, ушел».

— Нет-нет, — сказал Учитель. — Это не годится. Я не хочу, чтобы это было записано.

Но Абшалом был склонен проигнорировать запрет Учителя, считая его проявлением скромности, весьма достойной и внушающей восхищение, но препятствующей знанию будущих поколений о событии, произошедшем сегодня, — знанию, необходимому людям как воздух.

— Нет, — повторил Учитель, на этот раз весьма твердо. — Твои записи возбуждают веру не только в тех, среди кого я живу, но и в тех, кто обитают далеко от нас и ничего о нас толком не знают, и написанное тобой явится единственным источником их знаний о нас.

Используя твои писания, они объявят меня своим богом, и некому будет помешать им превратить легенду обо мне в оружие против моего народа.

— Что ты имеешь в виду под «оружием против моего народа»? — спросил Абшалом.

— Из меня сделают самое чудовищное оружие, — сказал Учитель, — направленное против того самого народа, из которого я вышел. Из меня сделают оружие, которое якобы во имя любви будет из века в век орудием убийства. Так случится неизбежно, если ты все это запишешь. Вот почему я говорю тебе этого не делать.

— Я не напишу ни слова, если ты так велишь мне, — сказал Абшалом, опустив глаза.

— Воистину, — сказал Учитель с явным облегчением, — я так ве-
лю тебе.

— И все же, — не унимался Абшалом, несмотря на запрет от Учителя, которого он мечтал обессмертить посредством того, что он мысленно называл Книгой, — объясни мне, что плохого в том, чтобы поведать людям, что в мире на самом деле есть чудотворец, чья сила дана ему Всевышним?

С большой грустью Учитель осознал, что, какой бы ответ он ни дал Абшалому или другим исцеленным им, рано или поздно этот самый Абшалом или эти другие напишут про событие, которое изменило их жизнь, и написанное ими пойдет по рукам, весть об этом будет передаваться из уст в уста, новость эта разойдется далеко за пределы их маленькой Иудеи. Он хотел повторить, что его могут сделать оружием против своего же народа, но понял, что, чем больше он будет говорить, тем больше он даст Абшалому слов для его будущего писания.

— Если все-таки тебе так уж надо что-то написать, — произнес он почти шепотом, — по крайней мере, не забудь написать, что я принадлежу своему народу. Что я никогда не отказывался от него.

Тут Мория настоятельно потребовала объяснений. Ей необходимо было понять, о чем это он:

— О каком народе ты говоришь?

— О моем, — тихо ответил Учитель.

— А что за оружие?

— То, что он напишет о своем исцелении, те мои слова, которые, как ему покажется, он услышал, те мои мысли, которые, как ему покажется, у меня были и которых у меня на самом деле не было, — все это войдет в его книгу и переживет и его, и меня, и будет неправильно понято человечеством, которое сделает из всего этого новую религию. Меня примут за другого — того, кто придет после меня. Меня назовут именем этого другого и некому будет знать, что мы два совсем разных человека, разделенные годами. Обо мне будут рассказывать те, кто никогда меня не знал, и представят меня как Добро, а мой народ — как врага Добра, и я предвижу такие гонения на мой народ, которые ты не в состоянии себе представить, и длиться они будут тысячелетиями, и все из-за того, что твоему мужу вздумалось написать о своем исцелении. Мне было предсказано, что один из тех, кого я исцелю, окажется человеком, который это напишет, и, если бы я заранее знал, что им окажется твой муж, я бы никогда не пришел сюда, ибо скажи по совести, что, по-твоему, должно быть для меня весомее: долг перед моим народом или долг перед одним пациентом? И пойми: дело не только в долге перед моим народом, но и в моей любви к нему.

— Я сделаю все, чтобы он не написал ни слова, если это тебя так беспокоит, — сказала Мория.

— Да, это меня страшно беспокоит, — подтвердил Учитель, — и я благодарен тебе за обещание удержать твоего вернувшегося к жизни мужа от писания. Это единственная плата, о которой я прошу: обещание не писать про меня.

— Кстати, к вопросу о плате, — вспомнила Мория, но Учитель уже вышел.

Сеанс исцеления был завершен. Учитель уже почувствовал новый безмолвный вызов, и, словно птица, движимая в своем полете на юг одним инстинктом, поспешил в город, где его ждал новый пациент. Первые несколько недель после посещения их Учителем Мория давала мужу послабление: она разрешала ему писать с условием, чтобы он все ей показывал, против чего он не возражал, так как его распирало желание делиться с ней написанным. Но что бы он ни

начинал записывать, все сводилось к его исцелению и к словам Учителя; к тому, что Учитель делал и что не делал, пока он, Абшалом, лежал на полу, не являя никаких признаков сознательной жизни, и как эта жизнь стала к нему возвращаться и что это возвращение значило, и что это была за сила, которая могла полностью исцелить больного, и что это была не просто сила, исходящая от смертного... Но тут Абшалом всегда останавливался, ибо он, как и Мория, помнил о предостережении Учителя. Но останавливался он позже, чем следовало, понаписав столько про свое исцеление, что Мория, читая это, обычно вскрикивала: «Откуда ты это взял? Это совсем не то, что он сказал! Ты не мог ничего вообще слышать — ты лежал на полу без чувств!» Она обычно сворачивала свиток пергамента, надежно укладывая его на колени, положив сверху руки, и говорила: «Ты должен прекратить это, Абшалом. Он же просил тебя не писать про это, а ты, с чего бы ни начал, каждый раз приходишь к этому». Дело в конце концов дошло до того, что она стала прятать от него неиспользованный пергамент, а он, в свою очередь, начал писать на кусках ткани, которые прятал от нее так искусно, что, сколько бы она ни жаловалась на то, что все белье в доме уходит на его запретное занятие, производимые им записи оставались в целости и сохранности; само сознание, что ее собственный дом является тайным хранилищем предмета, который может навлечь неисчислимые страдания на целый народ, придавало ей мрачную решимость вести слежку за своим возлюбленным Абшаломом способами, кажущимися ей самой недостойными и даже непристойными. Сам факт его писательства был положителен в ее глазах, ибо свидетельствовал о полном выздоровлении: ничто в целом мире не было для нее столь важно, чем его здоровье. Но то, что он описывает свое исцеление, было очень скверно, так как подразумевало не только неповиновение Учителю, но и совершение некоего не имеющего пока названия греха, последствия которого для их народа, по слову Учителя, страшно себе представить и которые будут длиться тысячелетиями; она не в состоянии была представить себе эти «тысячелетия». Хотя детство и ранняя юность ее протекали в уверенности, что она самаритянка, за последние двадцать лет она настолько утвердилась в своей еврей-

ской самоидентификации, что не было для нее горше мысли, чем та, что ее Абшалом с его невинной тягой к писательству, той самой, которая так явно отличала его от братьев с их вожделением к власти, большим даже, чем их вожделение к ней, Мории, окажется губителем ее народа, и что это губительство будет длиться и длиться целые тысячелетия. Она не в состоянии была представить, чтобы весь народ подвергался тысячелетним преследованиям, в чем будут выражаться эти преследования и каким образом их может вызвать то, что Абшалом пишет об Учителе. Но Учитель сказал, что так все и будет, а Учителю она доверяла больше, чем кому бы то ни было в мире.

Она следила за Абшаломом до тех пор, пока он не прекратил совсем об «этом» писать. Вместо «этого» переключился на составление списков: одежды; мебели; вещей, которые у него уже имелись и которые он собирался приобрести; вещей жены; предметов домашнего обихода, старых, как сам их дом, и новых, которые он еще только собирался купить, и даже тех, которые он задумал приобрести в качестве сюрприза для Мории. Были еще и списки странных вещей, которые она не могла опознать, но, когда она спрашивала его, что значат эти названия в его списках, он только пожимал плечами и ничего не отвечал или дожидался, пока они, полусонные, будут лежать в постели, чтобы заявить, что она не имеет права копаться в его вещах, а так как Мория уже почти засыпала, она ничего на это не отвечала, только бормотала что-то насчет облегчения, которое она испытывает из-за того, что он больше не пишет про это, имея в виду Учителя и исцеление мужа.

Облегчение это, однако, было недолгим, поскольку вскоре после того, как она обнаружила списки, она стала замечать пропажу числившихся в них вещей, так что единственным местом, в котором они продолжали существовать, были эти самые списки. Любимое медное зеркальце Мории, изящные серебряные серьги — свадебный подарок Рамы, флакончики с дорогими маслами, чаши, кувшины, даже старое одеяло, в которое они много лет назад завертывали новорожденного сына, — все это и многое другое из дома пропало. Ее служанка Кефира предполагала, что это воры, но тройной замок на входной двери был гарантией того, что воры — не более чем по-

рождение Кефириново воображения. Поскольку другого входа у дома не было, пропажа вещей производила впечатление работы кого-то из обитателей дома, обладателя глубоко больного сознания. Потребовалось некоторое время, прежде чем ей пришлось себе признаться, что носителем этого больного сознания был Абшалом, особенно когда она заметила, что предметы пропадали в той последовательности, в которой они появлялись в списках, и хотя она расстраивалась из-за пропажи дорогих для нее вещей, больше, чем эта пропажа, ее беспокоило то, что Абшалом не мог объяснить, для чего он присваивал их; хорошо хоть про это он не писал: повествование о том, как его собственное нездоровое сознание толкало его на ликвидацию домашнего имущества, вряд ли снискало бы ему добрую память потомков.

Пропавшие предметы так никогда и не находились, хотя она велела Эзеру, мужу Кефиры, нанять помощников, которые перерыли весь дом в поисках укромных мест, где их можно было спрятать, и, послушав малоправдоподобную историю одного из этих помощников, который якобы ее от кого-то слышал, даже обследовали всю земляную поверхность двора на предмет обнаружения подземных туннелей, часть которых проходила под их участком земли; в соответствии с этой историей там много лет прятали какие-то сокровища, и кто-то видел по ночам входящих в эти туннели и выходящих из них мужчин со странного вида предметами в руках, напоминавшими кувшины или бочонки с вином.

— Из которых, выйдя из туннелей, они сразу и выпивали, — отреагировала со смешком Мория, когда Эзер попытался продолжить свое донесение, сплетенное из обрывков старинных баек и слухов, чтобы заболтать тот очевидный факт, что доложить ему совершенно нечего, так как найти не удалось ровным счетом ничего.

Как-то раз, когда Абшалом думал, что он один в своей комнате, не подозревая, что Мория прячется за ширмой и наблюдает за каждым его шагом, он вытащил ларец из тайника в стене, о котором она даже не подозревала, и, пока вытаскивал оттуда предметы и складывал их в мешок, она наблюдала за его лицом и увидела на нем выражение, показавшееся ей странно знакомым, хотя оно бы-

до для него необычно; пока она лихорадочно соображала, где она это выражение видела, он завязал мешок и стал выходить из комнаты. Она окликнула его, не выходя из-за ширмы, и мешок выпал у него из рук. Затем, никого не увидав и решив, что ее голос ему послышался, он снова подхватил мешок с видом вора, пытающегося ускользнуть со своей добычей. Она решила, что ей ничего не остается, кроме как выйти из-за ширмы и спросить его, что он собирается делать с вещами, которыми он набил мешок.

— Я ищу важный свиток, — выпалил он, избегая встретиться с ней взглядом.

— Что за свиток, мой Абшалом?

— Ну свиток... со списками... — уклончиво ответил он.

Оба они прекрасно понимали, что его слова были ложью, а если они и содержали зерно правды, то все равно были им сказаны лишь для того, чтобы отбиться от последующих вопросов. Мория достаточно хорошо знала своего мужа, чтобы увидеть, что надо отступить и не задавать ему больше никаких вопросов, но они оба так же прекрасно понимали, что с ее стороны это лишь временное отступление и что она не отстанет, пока не добьется от него полного и правдивого признания, и пусть он в данный момент на него не способен, он будет вынужден его сделать рано или поздно. Ничего, что ей придется ждать, пока Абшалом до этого признания созреет — поскольку любовь к нему из наивного восхищения его даром переросла в зрелую любовь, на три четверти состоящую из терпения, она была готова ждать. Пока мешок оставался в его комнате. Мория внимательно за этим мешком следила, проверяла его содержимое каждое утро, входя для этого в комнату мужа независимо от того, находился ли он там или нет, — так, как будто она наведала саму комнату, а не Абшалома. Мешок лежал открытый на том самом месте, где он его бросил, и, казалось, содержимое мешка не противилось ее ищущим рукам. Мория сама не знала, что все-таки она ищет: знала только, что должна продолжать поиски, потому что где-то здесь скрывалась тайна его загадочного распоряжения их имуществом. Она была отнюдь не глупа и понимала, что дело, скорее всего, не в этом конкретном мешке. Разгадка пряталась в каком-

то предмете, но, так как она не имела представления о том, что это за предмет, ей приходилось постоянно выслеживать мужа настолько, что она становилась его тенью и, как и подобает тени, уже не имела собственных мыслей.

Поэтому она сильно удивилась, когда в один прекрасный день, вернее, в одну прекрасную ночь, лежа с ней в кровати и зарывшись лицом ей в подмышку, он вдруг открыл ей правду. Правда эта прозвучала как глупая шутка. Прозвучала она так, как если бы это были слова или поступки человека, сильно проще ее Абшалома. Палец ноги. Он искал палец ноги, — сообщил муж. Конечно, не любой палец. Это должен был быть царский палец. Палец ноги Иехуды Маккавея, не больше и не меньше! Тот самый палец, который был отрезан на ноге его двоюродного деда, когда Нехора, Иехудина жена, провела свою знаменитую операцию, сохранившую Иехудину ногу, хотя и сделавшую ее частично беспалой.

Мория слушала мужа, как мать слушает болтовню ребенка, давая ему выговориться. Но он так и не договорил до конца. Может быть, он не счел нужным объясниться понятнее. А может, он просто начал засыпать, как всегда делал в это время. «Для чего ты ищешь Иехудин палец?» — хотела она спросить. Еще она хотела спросить, зачем, если он искал только этот Палец, ему понадобилось повыбрасывать куда-то столько вещей, не имеющих к Пальцу никакого отношения. Но она не знала, как спросить его, не обидев, как он может быть таким глупцом, чтобы вообразить, что кусок плоти может не поддаться тлению за такой долгий срок. Мы же как-никак не египтяне, не храним органы наших царей в глиняных сосудах в надежде, что тому, чьей частью эти органы когда-то были, они понадобятся для потустороннего существования. Мы же все-таки евреи и понимаем, что к чему. А уж он, Абшалом, должен тем более понимать, что к чему. А если не понимает, тем хуже. Он ведь как-никак еще и отец. Что их дитя подумает про папашу, который занят поисками пальца ноги давно умершего предка?

— Ты совсем меня не понимаешь, — вдруг буркнул он ей в подмышку, как будто прочитав ее мысли.

Она ждала продолжения, но он уже уснул.

Когда он проснулся на следующее утро и она спросила его про Палец, он сделал такое лицо, как будто бы она несла чушь. «Ты еще не проснулась» — сказал он.

Но Палец уже стал частью их жизни. Он был с ними долгими вечерами, когда они поддерживали друг друга, помогая друг другу не уснуть в ожидании сына Авнера, чье появление в доме всегда было непредсказуемым из-за противоречивых посланий, которые они от него получали. Авнер был, с одной стороны, обязательным молодым человеком, а с другой — молодым человеком внезапных порывов, которые позволяют юношам из хороших семей забывать об обещанных визитах к родителям и освобождают их от сыновних обязанностей, каковое освобождение сопровождается невинным пожатием плечами и ласковой улыбкой, свидетельствующей, скорее, об обаянии данного юноши, чем о его серьезном намерении впредь соблюдать обещания навестить родителей. Тем не менее они всегда ждали его появления, как и подобает родителям. И именно в один из этих долгих вечеров нескончаемого ожидания, коротая которые Мория и Абшалом полулежали каждый в своем кресле в гостиной, где уже начинало темнеть, несмотря на две масляные лампы, зажигаемые ежедневно по такому твердому настоянию Кефиры, словно это ее, а не их сын опаздывал на свидание с родителями, Палец явил себя. Он покружился в воздухе, сперва под самым потолком, где его пируэты выглядели особенно впечатляюще, и все заворуженно следили за его кружением, ничего не зная о планетных орбитах, которые эти круги напоминали, так как подобных знаний в их время еще не существовало. Не знали они и того, что именно способность Пальца путешествовать во времени между прошлым, настоящим и будущим, или, вернее, между разными зонами человеческого знания, и направила его полет в гостиную Мории и Абшалома, наполнив душу последнего страхом и жаждой.

— Страх и жажда! — вскричал он.

Мория подумала, что, может, надо попросить Учителя опять прийти и еще раз излечить Абшалома, но вслух это не сказала, так как не была уверена, что мужу понравится идея подвергнуться лечению теперь, когда он может двигаться и говорить, и сидеть в гости-

ной как будто он вполне здоровый. Не говоря уже о том, что, если ей стольких усилий стоило, чтобы Абшалом перестал писать о первом посещении Учителя, когда он был практически без сознания, можно вообразить, насколько труднее будет удержать его от описания второго посещения Учителя во всех мельчайших подробностях теперь, когда он ведет себя как нормальный человек, не считая навязчивой идеи с Пальцем.

Только раз Мория слышала, как Абшалом обращается к Пальцу. Она лежала в своем кресле полусонная, уже не надеясь, что сын появится сегодня вечером. Масляные лампы прогорели, и, так как она не велела Эзеру и Кефире зажигать новые, они сидели в темноте, что ее ничуть не беспокоило, пока полную тишину не прорезал громкий голос мужа.

— Держи его, — кричал он. — Нет, не так быстро!

Она спросила, с кем это он разговаривает, и он ответил: «Вон! Разве ты не видишь?»

Она ответила, что нет, она ничего такого не видит. Была беззвездная иерусалимская ночь, и она подумала, что то, что он видит, является плодом его воображения, но он дотянулся до нее, не вставая со своего кресла, и взял ее за руку, однако не с целью, как ей показалось сначала, любовного пожатия, или поцелуя, или очередного признания в том, как она ему дорога. Он сжал ее руку с такой силой, что у нее после этого долго сохранялась боль в запястье. Это и то, с какой страстью он выпалил «нет!», было все, что она могла от него удержать за один вечер. Она поднялась со своего кресла и ушла к себе в спальню и не возвращалась до тех пор, пока, наконец, на следующее утро не прибыл Авнер. Он нашел своих родителей в атмосфере полного молчания, в которой ему практически не оставалось места, и он не знал, что с этим делать: непривычно было новое ощущение, что ему как будто не было места в жизни родителей. Как бы ни старался он наладить беседу за обеденным столом или в спальне родителей, сидя на краешке их кровати и сбивчиво рассказывая им про виноградник в Галилее, где он собирался выращивать новый сорт винограда с более крупными и вкусными плодами в подарок своей невесте Хазине, чья мать не может, конечно, похвастаться

столь благородным происхождением, как Мория, но чей отец, по слухам, происходит — нет, не из дома Давидова, как мама, но все-таки из... Наступившее в спальне неловкое молчание мешало ему продолжать.

— Каково бы ни было происхождение родителей Хасины, она найдет в нашем доме любовь и понимание, если будет тебя любить и напоминать тебе почаще нас навещать, — снисходительно прервала тишину Мория.

Абшалом полулежал с закрытыми глазами и, казалось, спал, но, когда сын встал, собираясь уходить, он приподнялся на локте.

— Ее мать происходит из дома Давидова точно так же, как твоя. Женские линии труднее установить, но мы проследили ее родственные связи через тетку ее прапрабабушки, — сообщил он и снова откинулся на подушку.

— Кто «мы», авва? — спросил Авнер. — И откуда ты знаешь про ее семью?

— Твой отец получает сведения от Пальца, — сказала Мория с чуть заметным вздохом. — Поэтому мы должны быть готовы к тому, что до нас доходят время от времени некие суждения о прошлом, настоящем и будущем, которые невозможно получить обычным путем.

Авнер не представлял себе отца в пророческой роли. Писательство Абшалома было единственным, что выделяло его из других людей. Во всем остальном он был обычным человеком — роль, которую он для себя выбрал давным-давно, в тот день, когда отказался от привилегий, на которые имел право как младший сын Иоанна Гиркана. От царских привилегий и царской власти, от жизни в царском дворце и от золота — от всего этого он отказался ради любви и незаметного существования. Он стал рядовым гражданином, которым всегда и хотел быть. И тут на тебе: пророк!

«Да, вот к чему это привело», — снова вздохнула Мория.

И когда Абшалом исписывал свитки своим безупречным почерком, и когда бродил из комнаты в комнату с отсутствующим взглядом, выглядел он как закодированный. Озабоченность будущим своего народа настолько поглотила его и так иссушила его тело, что

вскоре он уже не бродил из комнаты в комнату, а с трудом перебирался с кровати в кресло. А неустанная забота жены о его здоровье так его раздражала, что он перестал рассказывать ей о том, как наследие его народа будет украдено, а писанный Закон будет использован как свидетельство против него. Когда же Мория ясно дала понять, что ей важнее, чтобы он хорошо питался и был тепло одет, чем предотвращать превращение их народа в угнетенное меньшинство, на что этот народ обречен в будущем, если Абшалом ничего не предпримет, он стал с мрачным видом отказываться принимать любое ее попечение о себе, будь это тарелка куриного бульона или одеяло из особой шерсти, которое можно было купить у галилейских пастухов на иерусалимском базаре только в течение нескольких дней в году. Такая это была редкая шерсть, что, когда Эзер наконец приобрел одеяло за сумасшедшие деньги, Морией на это отпущенные, она сразу помчалась показывать покупку мужу, известному знатоку редких сортов шерсти. Но он не выказал никакого интереса и даже руку поднял в запретительном жесте — даже не для того, чтобы дать ей понять, что не возьмет одеяло из ее рук, как она подумала сначала, но явно чтобы обозначить этим жестом физический барьер между собой и любым отвлекающим фактором, с помощью которого она пыталась до него достучаться.

Наконец, наступил день, когда он, казалось, готов был ее выслушать, возможно, вследствие того, что Палец явил ему менее мрачную картину будущего или на время вообще оставил его в покое. Мория воспользовалась этим и спросила, не стоит ли снова вызвать Учителя, чтобы довершить процесс исцеления, который во время его первого визита был завершен не до конца. Он в ответ только хмыкнул, и, хотя сначала смысл этого хмыкания был для нее неясен, она, поразмыслив, истолковала его так: да, можешь пригласить его опять, но вовсе не потому, что я нуждаюсь в лечении.

С тех пор как Учитель посетил их первый раз, его слава разошлась столь широко и далеко, что во всей Иудее вряд ли нашлась бы семья, которая не пыталась бы позвать его к себе. Поэтому для посылного Мории оказалось почти безнадежным делом добраться до учеников Учителя, чтобы передать им свиток с просьбой Мории.

Учитель был настолько занят исцелением недужных, что даже ученики его едва находили время для сна. Сам Учитель мог днями обходиться без сна, но ученики были сделаны из не столь крепкого материала и часто проваливались в сон, пока ждали, когда он закончит лечение очередного ребенка или старика. «Сомнамбулы!» — говорил он им с упреком, и как раз в одной из таких ситуаций он заметил стоящего невдалеке человека. По тому, как этот стоящий поспешно спрятал свиток в складках плаща, было ясно, чем он занимается.

— Вы и вправду сомнамбулы! Этот человек записывал, а вы его не заметили! Не говорил ли я вам, что тот, кто записывает мои слова, искажает их? И что, даже если ему удастся их правильно записать, их исказят в будущем, когда изначальный свиток будет многожды переписан, и, сколько бы переписчики ни старались, в нем будут ошибки, и каждая из них подвигнет новое поколение переписчиков на размышления о каждой измененной строчке и на измышление все новых и новых толкований. Я ведь неустанно твержу вам, что надо соблюдать осторожность, ибо в этом таится главная опасность. Если толкования этих будущих переписчиков превратятся в общепризнанное описание моей жизни и моих дел, будущие мужчины и женщины последуют содержащимся там речениям, якобы моим, но имеющим отношение к моим подлинным словам не большее, чем непризнание этим человеком того, что он только что делал, к тому, что он делал на самом деле. Отдай мне свой свиток, путник, и ступай своим путем.

Видно было, что «путник» расставаться со своими писаниями не имел ни малейшего желания, но свиток Учителю он все же отдал, и тот, даже не удосужившись в него заглянуть, сразу его порвал. Человек этот стоял перед Учителем и его учениками, ожидая наказания, но оно не последовало, так как Учитель сказал, что достаточно того, что тот теперь осведомлен о богопротивности своего поступка, пусть это и будет ему наказанием. После чего они пошли своим путем, а наказанный своим. А когда послание Моррии, прошедшее через столько рук, что слова в свитке были едва различимы, достигло наконец Учителя, он, взяв свиток из рук од-

ного из учеников, на мгновение поднес его к глазам и сказал: да, я пойду к ним.

Мория не знала, будет ответ Учителя «да» или «нет», поэтому была удивлена, когда Абшалом сообщил ей в одно прекрасное утро, что Учитель направляется к ним. Мории не надо было даже спрашивать, откуда это стало ему известно, ибо глаза Абшалома светились тем же светом, который они излучали каждый раз, когда Палец приносил ему очередную важную весть. Учитель в самом деле постучался в их дверь на следующий день и, когда Кефира, которая ему открыла, спросила, впустить ли тех других, что пришли с ним, ответил, что это его ученики и что они охотно подождут на улице, поскольку случай Абшалома требовал неразглашения. На что Кефира ответила, что очень рада это слышать. Так рада, так рада, повторяла она, и через мгновение они уже входили в гостиную, где их приветствовала Мория и сидел Абшалом с сияющими глазами, и Учитель сказал, что в их древнем доме сама идея неразглашения невозможна, и это вызвало улыбки на всех лицах, поскольку было истинной правдой: дом действительно был древним, и какое там неразглашение, когда, даже находясь в одиночестве, любой из его обитателей ощущал присутствие всех остальных.

— Давайте поговорим о том, зачем вы меня вызвали на этот раз, — сказал Учитель.

Абшалом отвечал, что вызвал не он, а Мория из-за своих тревог за него.

— Ну вы же знаете женщин!

— Да, — мягко ответил Учитель и добавил, что тот, кто видит палец ноги Иехуды, действительно обладает пророческим даром, и помочь Абшалому он ничем не может, так как знание будущего не является болезнью, хотя иногда и похоже на болезнь.

Мория давно хотела спросить Учителя о чем-то, но теперь, когда он стоял перед ней, она не могла вспомнить, что именно, и помнила только, что этот вопрос таился где-то в темных глубинах ее сознания, что он был очень важен и имел какое-то отношение к писанию. Наконец, она вспомнила.

— Абшалом продолжает писать, — сказала она. — Ты не велел ему писать, а он все еще пишет.

Абшалом стоял, отвернувшись от них. Сперва он уставился на ближайшую к нему стену, потом на пол. В этот момент его любовь к Учителю была намного сильнее, чем страсть к писанию. Ему хотелось, чтобы Учитель произнес какие-то ободряющие слова, и мысль о том, что тот будет порицать его, а не похвалит, была для него невыносима. Но Учитель сказал, что его предостережение касалось не всякого писания. Он предостерегал именно против того, чтобы Абшалом писал о нем, Учителе, о его словах и делах.

— Когда я покину свою плоть, — сказал Учитель, — от меня останется только это. — Он высоко поднял обрывок свитка так, чтобы все могли его видеть. — Все, что люди будут обо мне знать, написано здесь. А то, что написано, является вещью, которую можно украсть. — Он снова поднял над головой порванный свиток. — Вещь можно украсть у ее изначального владельца, а когда она украдена, вор может утверждать: «Она теперь принадлежит мне», и все ему поверят, ибо воры, крадущие идеи, являются самыми харизматичными из воров, и люди склонны беззаветно им верить, так как они жадны до новых идей. Но в своей жажде большинство людей не в состоянии различать идеи, все они кажутся им почти одинаковыми. Они возьмут украденный свиток и прочтут в нем слова, которыми я обличал мой народ, и будут читать эти слова тысячи раз, и пройдут сотни лет после того, как полностью забудется, при каких обстоятельствах эти слова были сказаны, и вместо того чтобы понять, что они содержат глубокую заботу о моем народе, в них будут видеть только доказательства греховности этого народа. Ваши потомки, которые будут жить через сотни, а то и тысячи лет от сегодняшнего дня, поплатятся жизнями за эти краденые слова. Слова будут их преследовать, слова будут разжигать ненависть к ним. Поколения за поколениями будут обвинять в том, что они когда-то убили меня, и отмщение за это будет страшным, а украденные у меня слова будут подпитывать эту ненависть. Теперь ты понимаешь, почему я просил тебя не записывать, друг мой.

— Но ведь, — стал возражать Абшалом, — если я записываю твои слова точно и аккуратно, никто не сможет ни изменить их, ни истолковать неверно...

— Когда они уже записаны, они принадлежат не мне, но миру, друг мой. Никто не будет просить ни меня, ни тебя растолковать их истонный смысл. О да, они захотят тебя распросить и вообразят, что они это делают. Так же, как им будет казаться, что я говорю с ними... так, как говорит Иехудин палец с тобой, Абшалом. Но это буду уже не я, это будет кто-то другой. В общем, все, что я могу сказать, друг мой, это то, что за твои писания будет страдать неповинный народ. Пепел взовьется к небесам.

— Пепел... — тихо повторил Абшалом.

— Да. Вот почему ты должен перестать писать.

Абшалом хотел еще спросить, можно ли ему писать о чем-то другом, например о своей будничной жизни или о Пальце, но он заранее знал ответ: о чем бы он ни начинал писать, кончится это тем, что он станет писать об Учителе, а он правда не хотел, чтобы пепел взвился к небесам, хотя и не вполне понимал, что имеется в виду. Понимал он только то, что это как-то связано с гибелью и разрушением, а он был человеком мирным.

Аммар

Профессор, он же Тайный Руководитель, спрашивает, как идет дело, а мне нечего ему ответить. Я не рассказываю ему про то, как Галия предлагает меня подвезти или угощает бутербродами, как она расспрашивает меня о моем детстве и как я сначала отмалчиваюсь, а потом сдаюсь под градом ее вопросов и рассказываю то, чем ни с кем прежде не делился, даже про моего брата, который живет в кибуце Кирьят-Анавим и называет себя Элизээр. Не рассказываю ему и о том, что произошло, когда она пришла ко мне домой, и как она для меня разделась, потому что ему это знать ни к чему. Тайный Руководитель хочет от меня только одного, но именно это я ему дать не могу. Он говорит, что объект меня околдовал, и когда я не говорю на это ни «да», ни «нет», он снова спрашивает: «Она

ведь тебя околдовала, да? Ты ведь попал в рабство к западной женщине с хорошеньким личиком, не так ли? Конечно, у нее хорошенькое личико, но ты подумал, что у нее на уме? Обращай больше внимание на ее ум, чем на лицо — и что ты тогда увидишь?»

Профессор говорит и говорит, все больше заводясь от собственных слов. Я жду, пока он скажет все, что думает про то, какое у Галии лицо, так как, раз он уже начал, его никакими силами не остановить, пока не выговорится.

Мне неприятно, когда он говорит про нее такие вещи, потому что хоть он и Профессор, и Тайный Руководитель, он еще и мужчина, а мне не нравится, что другой мужчина так высказывается о ее лице. Я замечаю, что моя правая рука начинает слегка подниматься, как бы сама по себе. Мне нельзя это ей позволить. Я силой укладываю ее на колено. Когда он наконец замолкает, я говорю: «Мне нужны более сильные доказательства тому, что она хочет стать царицей евреев, и всему прочему. А вдруг она ни в чем не виновата?»

— Не виновата? — отвечает он с ухмылкой, которая хуже слов. Он подходит к компьютеру, открывает какой-то файл и жестом показывает мне подойти поближе и прочесть. Это тот же файл, который он мне показывал в прошлый раз, тот самый, в котором он взломал секретный код того, что написала Галия, но теперь файл сильно увеличился — он добавил еще много пунктов к списку. — Вот, читай, — командует он и пододвигает мне стул.

«Хасмоне́йская хроника», глава 3. “Мерцающие”: зашифрованы три игрока (участника) на карте мира: США, ООН и ЕС. Недостающий четвертый — Россия».

Я поднимаю глаза от дисплея и вижу Тайного Руководителя, стоящего надо мной со скрещенными на груди руками. Я хочу его спросить: «А почему вы выбрали этих трех? Почему, например, не включить Россию, а ЕС исключить?» Но в его взгляде я вижу ожидание дальнейшего чтения и предпочитаю промолчать. «Хасмоне́йская хроника», глава 4. “Олимпийские боги”, совокупляющиеся с еврейками = зашифровано демографическое превосходство. Олимпийские боги = нееврейское семя. Наше семя — это причина...» Думаю, как ему сказать, что дальше читать не хочется. Спрашиваю:

— Так как это связано с... ну, сами знаете? С тронном и со всеми этими делами?

— Знаешь, какая у нее фамилия? Козьмин! — заявляет он многозначительно.

— Козьмин, — задумчиво вторю я.

— Именно, — говорит он. — Козьмин. А как называется эта династия иудейских царей? Династия Хасмонеев — от Хасмона. А этот народец в языках ого-го как разбирается. Они говорят, что «к» и «х» в еврейском взаимозаменяемы. И хотя некоторые ученые с этим не согласны, умники эти уверены, что правы. И «с» с «з» взаимозаменяемы. А окончание «он» поменялось на «ин» — как в русских фамилиях: Путин, Ленин, Сталин. Вот почему «Козьмин» — то же, что «Хасмон». Теперь хоть понимаешь?

— Но так... — бормочу я в таком изумлении от откровения по поводу тайного смысла фамилии Галии, что больше произнести ничего не могу.

— Хорошая женщина, — повторяет он с неуместным сарказмом. — Великодушная женщина, добрая.

— Но она и есть такая, — тихо говорю я. — И в синагогу она не ходит, и еврейские праздники не соблюдает — значит, она не настоящая еврейка, она нормальная.

— Они показывают единственную сохранившуюся стену, — Тайный Руководитель показывает рукой на стену позади компьютера, — от их храма и развалины города Давида, и руины Масады, и утверждают, что это доказательства их владения страной до того, как мы туда пришли с Аравийского полуострова или из Сирии и стали выращивать там наши оливковые деревья. Но руины — это только один вид доказательств, а им нужны и другие, им нужны любые факты на свете, которые можно выдать за доказательства, потому что война между ними и нами — я говорю «нами», так как считаю себя одним и вас — ведется не только на земле или на небе и не только в автобусах или пиццериях. Война сейчас ведется в умах журналистов и дипломатов, и на газетных страницах, и в кампусах, и мы явно эту войну пока выигрываем. Но время от времени и им выпадает праздновать маленькие победы, а мы не хотим им позво-

лять праздновать победы — вот эту, например, этот маленький аргумент, который, как они себе представляют, доказывает их права на эту землю, поскольку находятся живые потомки династии Хасмонеев. Ну вот, теперь ты понимаешь, какую высокую миссию я на тебя возлагаю. Речь идет о целых веках человеческой истории.

— Истории, — вторю я, понимая, что никак мне не защитить эту женщину от целых веков истории, на которые она претендует в своих писаниях.

Он нажимает на клавишу клавиатуры, чтобы снова открыть свой файл, напоминая мне, что я еще не со всеми пунктами его списка ознакомился.

«Хасмонейская хроника», глава 5: убийство Птолемеем Симона и его двух сыновей = код нашей окончательной победы над евреями.

«Хасмонейская хроника», глава 6: Иоанн Гиркан вскрывает могилу Давида, чтобы расчитать с Антиохом VII Сидетом = код попыток Америки расчитать с нами в надежде на то, что за эти деньги мы откажемся от наших упований на создание своей государственности».

Там еще много таких пунктов, мне всех не осилить. Во всяком случае не тогда, когда он надо мной стоит, понукая читать дальше. Можно, конечно, попросить его эти пункты распечатать, чтобы я их отнес к Галии и посмотрел на выражение ее лица во время чтения и услышал, как она скажет, что никаких доказательств тут нет, и вообще, где я такую чушь выкопал. Но если я попрошу его сделать для меня распечатку, он посмотрит на меня как на идиота или еще хуже, чем на идиота, — как на изменника. Поэтому я направляюсь к дверям, надеясь, что он даст мне уйти, не заставив читать дальше все его пункты и не вынуждая меня еще раз пообещать выполнить мою миссию к определенному сроку.

— Теперь уже точно к определенному сроку, — говорит он.

— Ага.

— Задание должно быть выполнено.

Он напоминает мне про сроки, про то, как я их все нарушил, один за другим, а я думаю: вы не понимаете, что говорите, ведь, если

бы вы увидели, какая Галия на самом деле, то, может, в вашем списке появилось бы еще один-два пункта, но вы бы думали о ней иначе. Но как бы вы ни изменили свое мнение ней, вы никогда, ни за что не признаете свою ошибку. Но в том-то и дело, что вы никогда не узнаете, какая она на самом деле, потому что вам хочется считать ее воплощением зла, которое должно быть уничтожено, кем бы она там ни была — еврейкой, врагом, Хасмонеийской царицей, кем угодно.

Он перегораживает мне выход. Что-то говорит про «ребят». Не забыл ли я про ребят? И, в частности, не забыл ли я про его обещание добыть мне грин-карту и договориться с ребятами, чтобы они оставили меня в покое и чтобы мне не пришлось расплачиваться за прошлые грехи? Нет, я не забыл ни про грин-карту, ни про ребят и прекрасно понимаю, о чем он. Это вроде игры, в которую он со мной играет, делая вид, что в его распоряжении и «каналы», и «ребята», которые кинутся выполнять его приказ, стоит ему только пальцами щелкнуть. Профессору так здорово удается контролировать мой мозг, что, хотя каким-то участком мозга я понимаю, что это все игра, я ему все равно верю, и, когда он упоминает «ребят», у меня сердце обрывается. Но это не подарок мне, — продолжает он, — его обещание достать грин-карту и избавиться от ребят, а вознаграждение за сделанное дело. А если я не собираюсь сделать дело, ему было бы интересно узнать, что может заставить его соблюдать условие насчет ребят. Он надеется, что я понимаю, что это сделка с обменом: ребята — за сделанное дело. И ему хотелось бы услышать, что я себе думаю. Очень хотелось бы.

Да нечего мне ему сказать. Разве что я уже опаздываю к вечерней малярской работе. И что его каналы получения грин-карты, и его ребята — все это выдумки. И что они вот так прямо сидят и ждут его команды — тоже выдумки. А на самом деле есть он и есть я, его прирученный комнатный террорист, его бравый воин. Да, я есть, но не такой, как он думает. И очень скоро он увидит, какой я на самом деле. Я делаю шаг к двери и ухожу, не оглядываясь.

Глава 9

Хасмонейская хроника. Глава IX

Мория и Абшалом дожили до преклонного возраста, мечтая о внуках, но с каждым приближавшим их к старости годом у них оставалось все меньше при взгляде на элегантно плоский живот своей невестки, не меняющийся со дня ее свадьбы с Авнером, и эта подростковая незрелость сына угнетала их, казалось, гораздо больше, чем самого Авнера. Угнетала эта ситуация их настолько, что в какой-то момент они осознали, что пора ей положить конец. Созерцанию невесткиного живота и мысленному сопоставлению его размеров с его же размерами двухмесячной давности тоже надо было положить конец, ибо все это не только делало их несчастными, но и вынуждало стареть и поддаваться всяческим хворобам. Но как только они оставили всякую надежду и перестали следить за невесткиным животом, он начал заметно округляться.

Через положенное число месяцев, когда вся семья собралась у постели Хасины, молчание младенца Зохара, тянувшего с положенным младенцу первым криком, волновало его родню больше, чем весть о Помпее, вторгшемся в Святая Святых, что вообще-то было святотатством, неслыханным на памяти живых членов семейства, хотя им было хорошо известно, что Помпей — не первый завоеватель, такое святотатство совершивший: Антиох Эпифан, заклятый враг Иехуды, позволил его себе не далее как сотню лет назад. И вот тут-то всему семейству Иехудин Палец и явился. Палец повисел над их головами, и прежде чем он уплыл, Абшалом, который

еще не знал, что Палец его лично навсегда покидает, указал указательным перстом в его сторону и вскричал «вон он!». И ровно в эту секунду младенец Зохар испустил свой первый крик, которого все так ждали. Поскольку эти два события — крик и явление Пальца — произошли одновременно, судьба нового члена семьи стала очевидной: он пойдет по стопам своего великого предка и освободит Иудею от власти римлян точно так же, как его троюродный прадед освободил ее от власти греков.

Однако, как оказалось, Зохар отнюдь не был новым Иехудой Маккавеем, хотя и был благословен его Пальцем. Он подрос и стал юным книжником, чьим главным интересом, не считая интервьюирования Пальца на предмет текущих событий, был тончайшей выделки пергамент, который родители заказали для него у иерусалимского торговца, имеющего выход на знаменитого изготовителя пергаментов из самого Пергамона. Юноша Зохар мог утереть нос любому прилежнейшему студенту: если ученики могли штудировать Тору по двадцать часов в день, он мог свои свитки, на которых пока ничего не было начертано, разглядывать двадцать два часа в сутки. Не заполнены письмена эти свитки были по той же причине, по которой они пустовали у Абшалома, и, хотя никто не говорил Зохару об обращенной к его деду настоятельной просьбе Учителя перестать что-либо записывать, внук так ясно осознавал огромную ответственность, заключенную в акте письменного фиксирования событий, что не позволял себе этого удовольствия, дабы не навлечь неисчислимые бедствия на будущие поколения евреев.

Пока в душе Зохара возникала, развивалась и завершалась вышеописанная внутренняя борьба, внешний мир жил тревожным ожиданием нового приступа Иродова гнева. Никто не знал, чем бывали вызваны эти пароксизмы безумия — разрывами селезенки, большой печени или хроническим недугом почек. А поскольку никто не мог предсказать, кто будет следующей жертвой Ирода, жителей Иерусалима охватывал ужас каждый раз, когда царь не показывался народу в течение нескольких дней.

Среди множества рассказов об Иродовой жестокости самой поучительной была история Мариамии. Мариамия, жена Ирода

и дочь Александроса, известного также как Александр из Иудеи, была из рода Хасмонеев, и Зохар несколько раз встречал ее на семейных торжествах, таких как свадьбы и похороны, но ни разу не беседовал с ней, ибо она была тогда застенчивой девочкой-подростком, всюду следующей за своей матерью, Александрой, как ягненок на привязи. Последний раз Зохар видел Мариамию в суде, куда Мория, его бабка, не могла выбраться, будучи прикованной болезнью к постели. Мариамия казалась все тем же застенчивым существом, только взгляд у нее был совсем другим. Судилище было явным фарсом, и, слушая показания свидетелей, Зохар не испытывал ни толики сомнений в том, что пресловутая вина Мариамии была сфабрикована сестрой Ирода — интриганкой Саломеей. Несмотря на испытываемое им отвращение, он просидел весь процесс до конца. Несколько раз он порывался встать и высказать то, что все видели, но боялись сказать: лживо насквозь утверждение Саломеи, что страсть Ирода и, соответственно, власть над ним Мариамия приобрела с помощью волшебного зелья, которое казалось не более чем метафорой страсти до тех пор, пока евнухи Мариамии, подвергнутые длительным пыткам, не подтвердили перед судом все, что Саломея вложила в их уста. Эти несчастные описали с тошнотворными подробностями, как Мариамия готовила свой любовный напиток и как он вызывал у Ирода такую страсть к его хасмонейской супруге, что он попускал ей все, включая супружескую измену, свидетелями которой они якобы являлись. Когда же этих лжесвидетелей попросили назвать любовника царицы, они не выдержали и, рыдая и запинаясь, стали молить Мариамию о прощении. Все это время она сидела с безучастным лицом, неподвижно, как статуя; однако гнев, вызванный их ложью, заставил ее сменить скромность на гордость. Мать всегда это чувство гордости старалась ей привить, ибо хотела научить дочь держать себя поцарски, но Мариамия слишком погружена была в свою внутреннюю жизнь, чтобы демонстрировать какие бы то ни было внешние проявления, которые не соответствовали бы ее истинным эмоциям. В тот момент, когда был оглашен смертный приговор и стражники направились к ней с недвусмысленными намерениями,

именно эта впервые проявившаяся гордость подвигла ее заговорить с достойной мудреца спокойной ясностью.

«Все без исключения обвинения вымышлены, — медленно произнесла она. — Единственная моя вина состоит в моем Маккавейском происхождении; это та же вина, которая была у моего брата Ионатана: тело его было найдено в царской купальне именно тогда, когда любовь иерусалимлян к своему первосвященнику стала настолько явной, что наполнила страхом сердце моего супруга. Но даже если вам удастся устроить охоту на всех Маккавеев, все равно кто-нибудь из нас выживет, и суд истории будет справедливее вашего судилища».

Именно в тот момент Зохар узрел Палец Иехуды. Он парил над головами судей, не видимый никем, кроме него, — по крайней мере так он думал, ибо ни один из присутствующих не воздел указательный перст и не закричал «палец в воздухе!», или «чудо, чудо!», или хотя бы просто обратил внимание на необычное явление. Он следил за Пальцем краем левого глаза, стараясь не показать своего восхищения виденным. Он глядел на Мариамию и видел тот же отрешенный взгляд, который был у его деда Абшалома, когда тот общался с неким пустым пространством под потолком, не помня по старости, что Палец навсегда покинул его в тот самый день, когда он, Зохар, родился. На мгновение Зохар забеспокоился, не выдает ли и его самого этот отрешенный взгляд, и его снова посетила мысль о том, что этот отрешенный взгляд был свойствен только тем мужчинам и женщинам из Хасмонеев, которые были избраны их знаменитым предком, установившим такой необычный способ общения с живущими поколениями, когда Палец становится как бы передатчиком, эти поколения связующим. В каждом новом поколении приемником избирается кто-то один, не больше. И вот теперь таким приемником стала Мариамия. Получалось, что избранными предком для связи в их поколении были двое — двое дальних родственников, Зохар и Мариамия. С сожалением он подумал, что только сейчас начал ценить эту свою сестру по духу, которую он давно мог бы узнать ближе и которая теперь останется ему навсегда незнакомой:

стражники уже уводили ее, чтобы ее смертью изжить ревность Ирода и порадовать Саломею.

В какой-то момент во время продвижения к выходу Мариамия опустилась на ближайшую скамью, ее ноги оказались слабее, чем ее дух, и все, включая стражу, которой сострадание вряд ли было свойственно, терпеливо ждали, пока хасмонейская царица найдет в себе силы снова встать. И в тот самый миг, когда она уже начала вставать со скамьи, тишину в зале прорезал голос Александры, ее матери. Александра вряд ли была из рода Хасмонеев, да и настоящей матерью она тоже не была, и уж точно ей никогда не являлся Палец Иуды ни под потолком ее прославленного своей роскошью жилища, ни снаружи — между землей и небом. Александра, которой роль матери царицы всегда казалась недостаточной, считала себя более достойной роли царицы, чем ее дочь Мариамия, чьи часы были теперь в любом случае сочтены и чья слабость была видна всем присутствующим: Мариамия была всего лишь осужденной на смерть женщиной, неспособной встать и идти, ибо она знала, что каждый шаг приближает ее к смерти. И тут Александра совершила роковую ошибку, возопив о своем праве на власть именно в тот момент, когда ее дочь поднималась со скамьи, спотыкаясь, медленно распрямлялась опять и двигалась дальше неверными шагами, сопровождаемая двумя стражниками впереди и двумя сзади. Когда присутствующие услышали голос матери, осуждающий приговоренную к смерти дочь, то все они как один человек выразили такое негодование этим поступком, что только благодаря появлению новых вооруженных стражей ситуацию удалось взять под контроль.

И хотя до рукоприкладства дело не дошло, толпа зашикала Александру с такой яростью, что она не осмеливалась с тех пор появляться на людях вплоть до момента своей собственной казни, которой не предшествовал никакой судебный процесс и которая, как казалось, была обязана запоздалой мысли, пришедшей в Иродову голову. Ибо он так яростно тосковал по Мариамии, что любовное зелье, за которое она была осуждена и в реальность которого он верил с еще большей страстью, чем при ее жизни, превратилось в воспаленном

мозгу страдающего тирана в доказательство того, что не было еще на свете любви мужчины к женщине, подобной той, которую он испытывал к своей покойной жене, и что за эту любовь Господь его непременно покарает — ибо любовь царя к покойнице оказалась сильнее, чем его любовь к Господу. И хотя известно, что Мариамия приняла смерть как подобает истинным Маккавеям и что мужество, с которым она сделала последние шаги, отделявшие ее от смерти, превратило рядовую историю царственной особы в подлинную легенду, даже не это, а ее последние тихие слова, которыми она простила и свою мать, и мужа, и даже невестку, подействовали на безумного царя настолько, что он приказал погрузить тело мертвой супруги в мед, дабы хранить его от тления.

А вот что не было известно Зохару, но до чего он мог бы додуматься, наблюдая за последовательностью событий, было то, что он — как один из немногих оставшихся в живых Хасмонеев — теперь следующий на очереди в Иродовом списке. Никто точно не знал, существовал ли в виде материального объекта такой список недругов Ирода или тех, кого он таковыми считал, но это не имело значения, поскольку в любом случае всякий, связанный кровными узами с Хасмонейской династией, попадал в искусно сплетенную сеть интриг, созданную Иродовой сестрой Саломеей или им самим. При этом не имело никакого значения, испытывали ли он или она личную привязанность к жертве или насколько последняя могла быть заподозрена в мечтательных мыслях о власти, каждого потомка Хасмонеев лишали жизни с жестокостью, которая хотя и была свойственна всем тиранам эпохи, не переставала удивлять Зохара, словно он ожидал чего-то лучшего от этого царя, все же обладающего незаурядным интеллектом.

Будучи единственным сыном Авнера, умершего в расцвете лет и ровно в ту же ночь и даже минуту, что и его отец Абшалом — как будто сговорившись избавить Ирода от хлопот по лишению их жизни, — Зохар стал теперь очевидной очередной мишенью. Однако, когда его бабка Мория попыталась уговорить его укрыться в какой-нибудь отдаленной галилейской деревушке, для Ирода мало достигаемой, он отреагировал на это с яростью, ему вообще-то не свой-

ственной и настолько неожиданной даже для него самого, что, по здравом размышлении, он убедительного объяснения этой своей реакции так и не нашел и приписал ее плохо переваренному завтраку, хотя никогда до этого плохим пищеварением не страдал. Мория к тому времени одряхла настолько, что даже Ирод со своими приступами паранойи не мог вообразить ее опасным противником, ввиду чего ей было позволено мирно доживать свои дни.

Зохар же явную опасность игнорировал, бродя где хотел и в любое время дня и ночи с единственной целью — думать. Он говорил, что ходьба помогает ему думать и что без этой ходьбы и думанья он не может жить. Как-то ночью Мории приснилось, что она слышит голос, который она опознала как голос своей родной, а не приемной матери, сообщивший ей, что Зохар переживет не только Иродовы покушения на свою жизнь, но и самого Ирода при условии, что Палец его не покинет. Палец должен оставаться при нем, строго наказала Мории ее родная мать, и, проснувшись, она поведала про сон духу Абшалома, который долго не оставлял ее и после телесной смерти мужа, хотя и выразила некоторые сомнения в том, что могла узнать подлинный голос родной матери, учитывая настолько долгий период времени, отделяющий ее от младенчества, что все ее ранние воспоминания были весьма расплывчатыми. Тем не менее, настаивала она, голос во сне принадлежал именно ее родной матери, ибо нет большей силы, чем материнская забота о детях, передающаяся матерями из поколения в поколение, и никто не может почувствовать опасность, грозящую детям, так, как матери, независимо от того, принадлежат ли они к живущим или являются в снах в качестве теней.

— От меня-то ты что хочешь? — спросил Абшаломов дух с некоторым раздражением. — Когда мы просили его укрыться в Галилее, вон с какой яростью он на нас набросился!

На это Мория заметила, что Абшалом, по-видимому, настолько стар, что плохо слышит и отвечает невпопад — ее родная мать говорила не про Галилею, а про Палец, и уж совсем не про побег, который был всяко бессмыслен, поскольку у Ирода было достаточно способов достать беглеца откуда угодно, а про их фамильного хра-

нителя в лице Пальца Ноги Иехуды. И в конечном счете речь идет о жизни нашего внука, добавила она.

Согласился Абшалом или нет с доводами супруги, он все равно больше сделать и сказать не мог ничего, что защитило бы его внука от Ирода. В конце концов, Абшалом был мертв, но, даже если бы он не был мертв, ему-то Палец перестал являться много лет назад. Теперь он являлся Зохару, поэтому только сам Зохар должен озаботиться своей безопасностью.

Когда за Зохаром пришли, чтобы его увести, Мория спала в своей комнате. Стражник, возившийся с Зохаровыми ногами, которые он должен был заковать в колодки при том, что его неуклюжие действия выдавали в нем новичка в профессии, сперва наорал на Зохара за то, что тот не помещает свои ноги в наиболее удобную для заковывания позицию, вдруг вскочил и издал звук, напоминающий всхлип младенца. Остальные стражники проследили глазами за направлением его взгляда и испустили аналогичный первобытный вопль. Вслед за тем они сгрудились в тесный кружок, напоминающий стадо испуганных овец, прижимаясь друг к другу плечами, и бежали, оставив Зохара наполовину закованным в кандалы. Когда он тоже поднял взгляд, ожидая лицезреть Палец, все, что он увидел, было странное свечение, заполнявшее небо над ним, и, сознавая, что стражники, послушавшиеся Иродова повеления, будут незамедлительно преданы смерти, он понял: ужас, который нагнало на них исходящее от Пальца свечение, был много сильнее, чем страх перед царем. Зохар воздал благодарение Господу за этот их ужас и вернулся в дом. Кандалы так и остались валяться на земле, а небо приобрело свою обычную цветовую гамму.

Галя

В следующий раз, когда он мне звонит, голос у него совсем другой — мягкий и одновременно твердый; тихий, но настойчивый. Он говорит, что есть одно дело... Замолкает и поправляется: есть одна просьба... Продолжай, говорю, я слушаю. Но в ответ я слышу только вздохи и прочие нечленораздельные звуки, и, хотя их все равно приятней слышать, чем индифферентное мычание, которое он

издавал в трубку еще пару месяцев назад, понять, в чем цель его звонка, я все равно не могу.

— Так, может, встретимся где-нибудь, и ты мне объяснишь, в чем дело, — говорю. — Потому что пока я из твоих слов ничего не поняла, а мне правда интересно.

После очередной серии мычаний и вздохов он наконец соглашается. Мы договариваемся о встрече на углу Стейнвей и 28-й улицы, и, когда я его вижу у закрытых дверей магазина, машу ему рукой, но выражение лица у него не меняется, как будто он себя убедил в преимуществе казаться неодушевленным предметом. Некоторое время мы идем рядом молча. Вдруг он произносит:

— Обратись, Галия.

Я не уверена, что расслышала.

— Что ты сказал?

— Обратись в ислам, — уже внятно повторяет он. — Это спасет тебе жизнь.

— С чего это тебя волнует спасение моей души?

— Не души, Галия, — говорит он, и в голосе его слышится нетерпение. — Я сказал «жизнь».

— А мне показалось, ты сказал «спасет душу». Просто обычно имеют в виду душу, когда говорят, что вера спасет.

— Здесь нет «обычно», Галия. У тебя осталось три недели. Точнее две с половиной.

Я хочу спросить, что за чертовщину он несет, но мне надо быть осторожной, потому что такое не каждый день происходит, что мы с Алехандро идем вместе по улице и у него ко мне настолько неотложное дело, что прямо ничего важнее на свете нет. Я не должна разрушить это мгновение грубыми словами типа «чертовщина», даже если я ничего такого не имею в виду: кто знает, как в его религии оно воспринимается.

Он останавливается и поворачивается ко мне. Наклоняется, чтобы его глаза были вровень с моими. Говорит, что хочет знать правду.

— Правду о чем?

— О твоей фамилии.

— О моей фамилии? Что ты имеешь в виду?

Он снова выпрямляется. Не глядя на меня, спрашивает:

— Козмин, верно?

— Да, — отвечаю. — И что? Что там не то с моей фамилией? Ты мою фамилию знал, еще когда у меня в доме работал. Я ее не скрываю. Она у меня на почтовом ящике написана.

— Верно, — говорит. — Она у тебя на почтовом ящике написана. Но я тогда про тебя не знал.

— А сейчас что ты про меня знаешь?

— Ты помнишь, когда я тебя просил больше не писать про твоих Хасмонеев?

— Так тебе-то что до этого? Тебе какое дело до династии еврейских царей II—I веков до новой эры? С чего это ты каждый раз из этого проблему делаешь?

— А ты не знаешь? Ты не знаешь, в чем тут проблема?

— Понятия не имею. Сначала ты мне звонишь и говоришь, что хочешь встретиться, потом — что хочешь, чтобы я обратилась в ислам, и спрашиваешь, помню ли я, когда ты меня попросил больше не писать про древнюю династию еврейских царей. Так как мне все это понимать? Какой я должна из этого сделать вывод? Додуматься до каких-то связей между этим всем? Это что, игра какая-то? Ей-богу, не понимаю.

— Я хочу знать про этих хасмонеицких царей. Как это доказывает, что евреи там всегда были?

— Доказывает что?

— Хасмон, — говорит он. — Послушай, как это звучит: Хас-мон. А твоя фамилия — Коз-мин. Ты же знаешь, в иврите «к» и «х»... как это? — взаимозаменяемы. А «а» и «о» вообще одно и то же, когда они... как это?

— Неударные, — подсказываю.

— Вот-вот. Неударные. Так что объясняй.

— Что я должна объяснять?

— Ты их... э...

Он запинаяется в поисках нужного английского слова, но я не прихожу ему на помощь, хотя понимаю, что он старается вспомнить слово descendant — потомок.

— Если ты из их рода, что тогда? Что ты будешь делать?

— Ты хочешь спросить, не объявлю ли я себя царицей евреев? Не стану ли я править Израилем? Не установлю ли там монархию? Или, как бы это выразиться, женархию? Распушу Кнессет, разжалую премьер-министра и буду все решать единолично?

— Да, — отвечает он на полном серьезе. — Какие ты примешь решения?

— Трудно сказать... Думаю, если б у меня в Израиле была абсолютная власть, я ввела бы там парочку новых законов. Может быть, сделала бы возобновляемый источник энергии обязательным для каждого дома. Понимаешь, панели солнечных батарей там должны хорошо работать. Солнца-то навалом.

— И все? Больше ничего? — вопрошает он с тревогой в голосе.

Если дело тут в воображении, то я вынуждена себе признаться, что чего-то важного не разглядела в своем спутнике, хотя и верю в свою интуицию, позволяющую мне сквозь любые внешние обличья проникать в самые темные глубины человеческих душ. Да, я определенно недооценивала этого маляра. Мне и в голову не приходило, что он способен на такие полеты фантазии. И тем более что он может захотеть со мной встретиться не для того, чтобы уговорить меня пойти с ним к нему в комнату или в какое-нибудь другое уединенное место, а для того чтобы выпытать из меня подробную информацию о том, какие я бы учредила законы, будь я царицей евреев.

— Не знаю... — отвечаю. — По правде сказать, я как-то не очень над этим задумывалась.

Какое-никакое, а это все-таки свидание, говорю я себе, и мне надо, чтобы оно прошло мирно и к взаимному удовольствию, а какой путь к мирному исходу подходит лучше, чем мой вопрос к нему о том, что *он* считает, как мне поступить в той маловероятной ситуации, когда окажусь царицей Израиля.

— Если я тебе отвечу, — говорит он, — мой ответ тебе не понравится, потому что я араб. Мне дело до наших интересов, а не до ваших.

— Что мне уже не нравится, — говорю, — это твои слова «не до ваших». Как-то они, знаешь, звучат... грубо.

— Я же говорил, Галия, что тебе не понравится, что я скажу.

— Но ты еще ничего вразумительного не сказал, а уже позволяешь себе грубость. И говоришь это как раз, когда я была готова тебе ответить про то, о чем ты спрашивал: так вот, я ничего против обращения в ислам не имею, просто чтобы сделать тебе приятное, если тебе это зачем-то надо. Я человек нерелигиозный, поэтому это не тот случай, когда переходят из одной веры в другую, и ради тебя мне это сделать нетрудно. Если носить платок — это все, что для этого нужно..

— Нет, дело не только в платке!

— А для меня только в этом.

— Тогда ты не имеешь права обращаться!

— Разве ты не видишь, что я просто стараюсь быть терпимой, и хотя я мало знаю про обращение в ислам, и вообще обращение в любую веру меня мало интересует, я сочувственно и даже... хм... благожелательно отнеслась к этой идее. Мне кажется, ты должен это оценить вместо того, чтобы проявлять нетерпимость и говорить что-то вроде «мне нет дела до ваших интересов», имея в виду евреев. Я не делю людей на «наших» и «ваших». Для меня важно, что все мы — люди.

— «Наши» и «ваши» будет неважно, когда мы вас обгоним по количеству, — торжественно заявляет он. — Враг растворится среди нас из-за нашей высокой рождаемости.

— Ну да, — замечаю я небрежно. — Пресловутая «демографическая угроза». «Благодаря нашему демографическому росту мы вас одолеем».

— Откуда ты это знаешь?

— Ну читаю кое-что.

— Так, значит, ты и есть координатор Хасмонеиской группы. Ты на самом деле и есть та самая угроза.

— Да, я представляю угрозу для тебя лично, потому что я люблю тебя, и, похоже, это взаимно.

— Нет, ты — другая угроза. Большая, чем просто любовь. Ты — угроза нашему праву на нашу землю.

— Ах, вот почему ты вдруг так стал интересоваться этой династией древних царей? И поэтому ты хочешь узнать, что бы я делала, ес-

ли бы была наследной хасмонейской царицей и взошла бы на израильский трон?

— Слушай, Галия. Про это трудно говорить. — Он многозначительно молчит. — Мне не позволено сказать тебе *все*, понимаешь?

— А я думала, тебе не нравится, когда Том каждую фразу заканчивает присказкой «понимаешь?».

— Галия, мы говорим о серьезных вещах.

— Эти серьезные вещи касаются моих решений, когда я стану царицей Израиля?

— Нет, Галия. Это касается твоей жизни. Твоей жизни, понимаешь?

Когда я ему говорю, что никакой связи между всем этим и моей жизнью не вижу и в любом случае не понимаю, что он имеет в виду, когда связывает это с моей жизнью, он отвечает, что не волен открыть мне больше, чем уже открыл, но что он смотрел некоторые главы про хасмонейских царей, которые я запостила в Сети, и был поражен. Да, поражен, повторяет он. И он должен понять, почему. Почему, Галия?

— Я люблю этимологию, Алехандро. Или Аммар? Знаешь, что такое этимология? Это такая наука о происхождении слов. Мне интересно было происхождение моей фамилии. Одна из гипотез — что Козмин происходит от Хасмон, и я пробую это изучить в моей книге о Хасмонеях. Есть и другие гипотезы, и ими я тоже хотела бы заняться. Ты спрашивал, почему. Вот поэтому.

Он отвечает, что, если я изучаю все это, то должна изучить и вопрос о том, как я могла бы улучшить жизнь моих арабских соседей, и, когда я говорю, что не понимаю, что он имеет в виду, он говорит, что я могла бы приказать снести разделительную стену, запретить контрольно-пропускные пункты, дать приказ армии убрать все еврейские поселения, а землю отдать... ну ты сама знаешь... сделать все то, что ты — вы много лет не хотели делать.

— Я? Я не хотела все это делать?

— Да, ты.

— Но я же не глава израильского правительства, Аммар. Я даже там не живу. Я ничего не решаю.

— Ты это профессору объясни, — мрачно говорит он.

Хочу спросить, о каком профессоре он говорит, потому что речь явно не о профессорах из его университетского прошлого. Но вместо того чтобы решать, стоит ли мне приказать снести этот заградительный забор или нет, я решаю спросить его, чувствует ли он то же, что и я — какой-то электрический ток между нами, — и, если он скажет, что чувствует, спросить, ощущает ли он его так ясно и так сильно, как никогда до этого, и, если он и на это ответит утвердительно, спросить, что мы, по его мнению, должны с этим делать. Но он не оставляет мне возможности задать хотя бы один из этих вопросов. Он останавливается в затененной листвой части улицы, берет меня за руку и говорит: обратись, Галия.

Теперь, когда он меня держит за руку, ток ощущается еще сильнее, и мне снова хочется спросить, чувствует ли он его.

Вместо этого я говорю:

— Хорошо, Александро, я обращусь.

На что он говорит:

— Это не так просто, ты должна быть готова.

— Готова к чему?

— Носить хиджаб весь день, стать настоящей мусульманской женой, взять мою фамилию.

Я отвечаю, что хотела бы узнать побольше про другую женщину или про других женщин, чьи ряды я пополняю в качестве его жены, но что со своей фамилией я расстаться не хотела бы, и не только потому, что она меня, возможно, хотя и не обязательно, связывает с Хасмонейми, которые вызывают у него такой ужас и подозрения. А что касается всего остального, говорю, почему бы нет? Он спрашивает: ты точно готова?

— Да, я готова.

— Иншалла.

Я знаю, что это значит: «если пожелает Аллах!».

— Иншалла так иншалла, — говорю, надеясь, что он не расслышит скептической ноты в моем голосе.

Тут он произносит что-то про «последний срок» тем же тоном, не предвещающим ничего хорошего, которым он сообщал, что наслаждаться этой жизнью мне осталось три недели. Я говорю, что вообще люблю читать, поэтому ничего не имею против того, чтобы прочесть Коран, и языки учить люблю, поэтому не возражаю против того, чтобы выучить арабский, но вот что мне не нравится, это угрожающий тон и чушь про три недели, срок, который мне остался.

— Я тебе жизнь спасаю, — говорит он, — рискуя своей, а больше я ничего сказать не могу, поэтому говорю вкратце. — Чтобы передать идею «вкратце», он использует английскую идиому *in a nutshell* — «в ореховой скорлупе» и объясняет: — Ты же знаешь, почему так говорят? Ореховая скорлупа маленькая, а поместить в нее надо многое. Тебе это может казаться непонятным, какой-то загадкой, но есть в моей жизни такие вещи, о которых я говорить не могу, а рассказать тебе о них могу только «в ореховой скорлупе», и ты должна эти вещи обо мне принимать без вопросов, а если хочешь узнать больше, можешь новости читать.

— Как это новости связаны с ореховой скорлупой?

Он отвечает, что ореховая скорлупа содержит большое в малом, а мировые новости содержат малое в большом, но где-то они соединяются, ореховая скорлупа и мир, а больше этого он не имеет права мне открыть. На это я говорю, что он опять пытается глаголить тайнами, как когда он предвещал мне три недели жизни.

— Это только если ты не обратишься в ислам, — говорит он. — Если обратишься, три недели отменяются.

Я осведомляюсь, сколько мне осталось жить вместо трех недель, и он радостно восклицает: «Всю оставшуюся жизнь!»

На следующий день он мне звонит и говорит, что хочет встретиться после работы. Когда я вижу, как он стоит на Стейнвей, мне приходит в голову, что впервые *он* ждет *меня*, а не наоборот, и это мне нравится гораздо больше, чем когда я его ждала. Не спросив моего согласия, он сообщает, что мы идем к нему. Я вообще-то не возражаю, решив, что это не тот предмет, о котором стоит спорить. Он шагает впереди, а я за ним, как и полагается жене мусульмани-

на. Не произнося ни слова, он отпирает дверь в свою комнату, и я вспоминаю его слова «you are welcome!». Но сегодня у нас явно нет времени на галантности.

— Садись, — говорит он, и я сажусь на стул возле его маленького столика. — Нет, не сюда, — показывает на пол.

Я не понимаю, что ему от меня надо.

— Коврик, — говорит.

Тут я замечаю потертый коврик на полу между столиком и стеной. Он первым на него опускается, и я неловко присаживаюсь рядом.

Он говорит:

— Это называется «шахада», и говорится так: «La ilah illa Allah...»

Я молча на него смотрю и думаю, поймет ли он мой немой вопрос.

— Тебе непонятно, о чем я? — спрашивает. — Я узнавал, как обращаются в ислам, и мне сказали, что надо прочесть шахаду. Так что повтори: «La ilah illa Allah, Muhammad rasoolu Allah».

— Я так не могу повторить, мне надо все слова видеть. Ты можешь это написать?

Он пишет и протягивает мне листок бумаги.

— И что это значит?

— Это значит: «Я свидетельствую, что нет другого бога, кроме Аллаха, и Мухаммад — посланник Бога». Произнеся это, ты вступишь на пастбище ислама, — говорит он торжественно.

— И что именно я должна делать на этом пастбище?

— Ты отдаешь себя в Его руки, и тебе прощаются все прежние грехи. Ты начинаешь новую жизнь — жизнь благочестия и праведности.

— Звучит довольно скучно.

Он переходит на крик:

— Список твоих грехов очистится, понимаешь? А ты говоришь «скучно»! Какое тут «скучно»? Тебе все прошлые грехи простятся! Чего тебе еще надо?

Я объясняю ему, что согласилась только потому, что он меня об этом попросил. К тому, что *мне* надо, это никакого отношения

не имеет. То, что я повторю несколько незнакомых слов, мою жизнь не изменит.

— Твою жизнь не изменит? Ты еврейка! И с такой фамилией! Ты знаешь, что с тобой будет, если ты не изменишься?

— Что со мной будет, если я не изменюсь?

— Тебя ликвидируют, — говорит он.

— Кто?

— Я.

— Ты меня не убьешь. Не сможешь.

— Почему не смогу?

— Потому что ты не можешь причинить мне никакого зла.

— Я выполняю приказ.

— Ты не обязан выполнять приказ.

— У меня нет выбора.

— Чушь. Ты свободный человек и сам принимаешь решения.

— Нет.

— Ты не похож на человека, способного на убийство.

— Верно, не похож. Может, и не похож. Но задание есть задание.

Как у вас это называется... долг!

— Но почему? Ты можешь мне объяснить, почему?

Пожимает плечами. Он и так сказал слишком много.

— Неужели это все из-за того, что я вероятный потомок Хасмонеув? Претендентка на трон, который две тысячи лет стоял пустым?

— Да, — отвечает он твердо. — Потому что ты — все это. Но если ты станешь одной из нас, ты меня избавишь от необходимости тебя уничтожить.

— То есть ты хочешь сказать, что я должна умереть, как все эти тысячелетия умирали родственники царей и цариц. Я должна быть ликвидирована, потому что кто-то боится, что я могу узурпировать трон, на который более двух тысяч лет никто не претендовал, так как неизвестно, куда я поведу свой народ, когда стану царицей евреев?

— Верно, — говорит. — Никому неизвестно. Даже тебе самой. Поэтому и было принято решение тебя уничтожить.

- И кто такое решение принял?
- Этого я сказать не могу.
- Можешь. И должен.
- Нет.
- Кто, Аммар? Ты должен мне сказать.
- Не могу. Правда, не могу.
- Если ты мне не скажешь, я...
- Что? Донесешь на меня?
- Нет, я на тебя не донесу. Но ты должны мне сказать, кто это.
- Не могу. Не могу послушаться приказа.
- Нет, можешь. Ты свободен.
- Не так уж свободен.
- Нет, именно так уж свободен.
- Решение принято. Сначала я думал, что он это не всерьез, но потом понял, что всерьез. Он именно это имеет в виду. Он решил тебя устранить.
- Плюнь на его решение.
- Я долго плевал. Разве не ясно? Если бы не плевал, мы бы сейчас не разговаривали.
- Имя, Аммар. Скажи мне его имя. Ослушайся его хоть на этот раз.
- Не могу. Он решает. Я исполняю.
- Ты можешь решить не исполнять.
- Не могу я просто так взять и решить. Он Тайный Руководитель. Он решает.
- Если ему угодно быть каким-то там руководителем, это его проблемы. Но ты совершенно не обязан выполнять его приказания.
- А чьи приказания мне тогда выполнять?
- Ничьи. Тогда и не будет никаких приказаний.
- А что тогда с тобой будет?
- Останусь в живых.
- Ненадолго.
- Ну, мы все смертны.
- Он тогда пошлет кого-нибудь другого тебя убить.

— Сомневаюсь.

— То есть ты хочешь сказать... что он отменит свой приказ, если я решу его не выполнять?

— Я могу попробовать с ним поговорить.

— Нет!

— Почему нет?

— Он не станет с тобой говорить.

— Не вижу ничего дурного в разговоре.

— Если ты к нему придешь, он спустит на тебя своих людей.

— Ты так говоришь, словно они не люди, а собаки.

— Собаки? Нет!

— Ну, ты же сказал: он спустит на тебя своих людей.

— Это я так говорю, Галия. Мой английский не очень хороший.

— Как бы то ни было, он живет в законопослушной стране, и он, наверное, не идиот. Он должен знать, что его ждет, если он на это пойдет.

— Есть... как это по-вашему? человеческий суд, а есть Божий. Кто верит в Божий суд, для него человеческий суд ничто.

— Этот твой руководитель может человеческий суд не уважать, но вряд ли он захочет его испытать на себе.

— Человеческий суд для такого человека, как он, ничто. Особенно для такого, который не рожден в нашей религии, а обратился сам, по своей вере!

— Ага, значит, он новообращенный. Он не из ваших.

— Вера делает человека сильным. Тебе, неверующей, этого не понять.

— Почему? Во что-то даже я верю. Например, не убий. Десять заповедей, неважно, человеческие они или божественные. Верю в то, что убийство — зло. И я верю в то, что нормальный мужчина не может убить женщину, которая ему нравится, независимо от того, что ему подсказывает его вера относительно возможной опасности, таящейся в ее фамилии.

— Но я и не... я не хочу тебя убить! — кричит он, приложив руку к сердцу. — Почему ты говоришь, что я хочу тебя убить? Я хочу, чтобы ты осталась жить, я хочу тебя спасти, разве ты не видишь? Все,

что я прошу, это шахаду сказать! Разве это так много? Скажи, это много? Мне кажется, нет.

— Я не против того, чтобы произнести шахаду, но я сразу говорю, что я в это не верю. Я просто должна тебе сказать, что не верю.

— Пожалуйста! Я прошу тебя! Сделай это ради меня!

Он прижимает к сердцу обе руки и произносит это с той же неистовостью, которая меня так привлекла в нем при первой встрече.

— Хорошо, Алехандро. Я скажу шахаду, если это тебе так приспичило. Что еще от меня потребуется? Если надо куда-то идти и сделать что-то на людях, какой-то обряд, я не уверена, что выдержу.

— Только скажи шахаду! Прямо тут. Я им скажу, что ты ее сказала, что я сам слышал своими ушами. Может, им этого будет достаточно.

* * *

Он пишет для меня шахаду, я ее зачитываю, и ничего ровным счетом не происходит. Не то чтобы я ожидала, что что-то особенное произойдет: я не отношу себя к людям, верящим в силу магических звукосочетаний, но все же... какое-то событие ведь могло бы произойти, хорошее или плохое, пусть самое незначительное, но не происходит совсем *ничего*, хотя я и повторила все это дело раза два или три, стараясь сделать все как следует ради Аммара, который, кстати, оказался первоклассным перфекционистом. Он даже сам о себе так и сказал: «Я — первоклассный перфекционист!» В связи с этим я заставила его весь текст повторять до тех пор, пока сама не стала его произносить как следует. В конце концов, даже Аммар остался доволен моим произношением: «Как в сирийском арабском», сказал он, добавив, что сирийский отличается от его родного диалекта, уж не знаю чем, также как не знаю, как он называет свой диалект, наверное, «совершенным арабским».

Но все равно толку никакого не было ни от моего неоднократно произнесения шахады, которую я уже наизусть знала, ни от моего замечательного произношения, ни от моей готовности сидеть на его коврике столько, сколько он сочтет необходимым, чтобы дать

возможность священным звукам во мне прорасти, поскольку некоторые люди, по его словам, верят, что когда эти звуки вылетают из уст, они подобны новорожденным бабочкам с неокрепшими крылышками, и лучше всего для того, из чьих смертных уст они вылетели, оставаться на том же месте, пока эти бабочки машут своими крылышками — вверх-вниз, вверх-вниз: учатся летать. А может, дело было не в бабочках с их нетренированными крылышками, а в том простом факте, что не верила я и верить не собираюсь — какие бы священные звуки ни исторгала я из своих уст, как бы ни старалась я порадовать Аммара, как бы сильно я его ни любила. Любовь заставила меня произнести шахаду, но верила я не в шахаду или то, что стояло за ней, а в свою любовь.

Глава 10

Хасмонейская хроника. Глава X

В год 698 по христианскому летоисчислению Мория, последняя из длинной череды женщин, носивших имя Мория, спала в комнате, которую делила с двумя своими сестрами. Это была ее последняя ночь в доме, где она провела все свои ночи все свои 18 лет, и хотя она обещала сестрам всю эту ночь бодрствовать, разговаривая с ними, ибо вместе в этой комнате им уже никогда не спать, она все-таки не выдержала и уснула. На следующий день ей предстояло вступление в брак с неким Сулейманом аль-Нахибом, что должно было прервать долгую линию Морий, которые прежде всегда выходили замуж за мужчин с такими именами, как Абшалом, Симеон или Иехуда. Жених Мории не настаивал на ее обращении в ислам до замужества, проявляя в этом не столько доброе к ней отношение, сколько просто следуя одной суре Корана, согласно которой мусульманину разрешалось взять в жены еврейку или христианку без ущерба для своего духовного капитала, тогда как мусульманке выходить замуж за иноверца строго запрещалось.

Мория последний раз спала в своей детской кровати, и ей снилась другая Мория, жившая за три века до нее, которая, как и она, была не первой Морией в длинной чередке женщин, носящих это имя, но приняла свой жребий до последней капли или до последней соломинки — не так уж важно, капля или соломинка, — и именно эта капля, она же соломинка, явилась причиной того, что

последняя из Морий смотрела свой сон как некое откровение, которым он, в сущности, и являлся. Ей снилась та, другая Мория, ее ровесница, раздающая миски с чечевичной похлебкой измученным бойцам, а так как спящей было открыто сознание той, прошлой Мории, она видела, что эта прошлая Мория сосредоточенно старалась соблюсти все указания своей матери по поводу того, как правильно раздавать миски вымотанным войной бойцам, чтобы не ввести никого в соблазн и не впасть в него самой. «Глаз не поднимай, — звучал в голове голос матери, — смотри только на свои руки, чтобы ни одной капли не пролилось, когда ты передаешь миску из своих рук в его. У нас тут в Бетаре с едой совсем плохо, и каждая капля на вес золота».

Девушка все делала, как велела ей мать, старательно наполняла похлебкой миску за миской, осторожно вкладывая их в протянутые в ожидании руки и ни разу не подняв глаз, пока одна мужская рука не коснулась мимоходом ее руки, опалив ее огнем. Тут она нарушила материнский запрет и подняла глаза. На нее смотрел, улыбаясь, ее дальний родственник и товарищ по детским играм Абшалом. Взгляд она отвела, но было поздно. В этот момент спящая Мория, которая могла видеть, что происходило в душе снившейся ей Мории, поняла, что ту охватило то же мерцание, которое накатило на их предка Иехуду в день, когда он увидел Нехору, женщину с кувшином. Мория из сна так остро осознала свою вину за этот один взгляд, что ее рука дрогнула, и часть драгоценной похлебки выплеснулась из миски, и она издала крик без слов, потому что никаких слов не хватало, чтобы выразить ее ужас: вот они тут, на невысоком холме, окруженные римскими войсками, которые явно достраивают осадную стену, и что при этом она сама делает? Как она помогает своему народу? Смотрит в мужские глаза и разливает драгоценную похлебку — вот что она делает! Она с отвращением отвернулась, встала и ушла. Ее место было немедленно занято другой девушкой, у которой руки не дрожали, поскольку ее взгляд был прикован к работе, которую она делала.

В следующей сцене, приснившейся Мории, она увидела Абшалома, который искал и нашел ту девушку, сидящую на корточках

в кухне, где работали посменно. Она сидела с головой, опущенной в колени так низко, что казалось, что головы у нее вовсе нет. Откуда ей было известно, что Абшалом знаком с этой девушкой с детства — с того времени, когда взрослые поговаривали, что, хотя они не те же самые, первоначальные Мория и Абшалом, которые жили за десяток поколений до этого, каждая девушка по имени Мория должна по семейной традиции быть такой же красавицей, как та, первая Мория, и так же мечтать о жизни вдалеке от борьбы за власть, а каждый отрок мужского пола по имени Абшалом должен вырасти в созерцателя, чья страсть к сочинительству указывает на него как на подлинного потомка самого первого Абшалома — мечтателя, а не воина. Тем не менее, что бы ни говорилось, когда они были еще детьми, сейчас он был именно воином, а она находилась в полном смятении, и речь в данном случае шла не о власти, а о выживании. «Не надо этого стыдиться», — тихо сказал Абшалом. Из этих слов девушка поняла, что сдерживало ее слезы, и теперь они полились свободно, так что она даже не пыталась их вытереть. «Даже в такие времена, — сказал он, — людям свойственно любить». Она, казалось, не расслышала вторую часть его фразы — про людей, которым свойственно любить, и спросила его, что он, собственно, имел в виду под «такими временами», и хотя он подумал, что она прекрасно понимает, что он имел в виду, и просто делает вид, будто не расслышала второй части его фразы, он все-таки ей ответил: «Война. Поражение. Что бы Симон Бар-Кохба ни говорил, нашему восстанию конец. Это наша последняя линия обороны — крепость на холме, которую защищают две с половиной тысячи бойцов. Все, что нам осталось, это ждать и смотреть, как враг достраивает осадную стену, подводит к ней катапульты и камнеметы... и, собственно, все. За римских инженеров можно не беспокоиться: как сделать, чтобы эти штуки работали, они не забудут. А что касается нас...» Тут он замолчал, потому что Мория больше не плакала, а смотрела прямо ему в глаза без страха и смущения. «Ну, — прошептала она, — что касается нас? Что ты хотел этим сказать?» — «Ничего», — сказал он и ушел прочь от кухни, где работали посменно, и прочь от своей невесты, ибо именно ею была для него Мория, хотя

он этого пока не знал, настолько помутилось его сознание в эти дни, предшествующие окончательному поражению и рассеянию евреев, что его разум уже был не в силах принимать сигналы, исходящие от сердца.

Последняя Мория — не та Мория, которая ей снилась, а та, которой снился сон, — все еще пребывала в том мире, который кончился в 135 году христианской эры, только теперь она видела сон, лишенный зрительных образов. Отсутствие образов компенсировалось голосом, повествующим об истории ее народа или о том, кого она считала своим народом. Она была знакома с этой историей, передававшейся из поколения в поколение, от родителей к детям в длинной череде предшествующих Морий, Саломей и Абшаломов. Она знала, что в этой цепи Морий она будет последней, потому что ее будущие дети унаследуют веру их отца, и им будет безразлично, что предки их матери носили такие имена, как Иехуда, или Симон, или Абшалом, и что они восставали против греков и римлян при разных обстоятельствах и с переменным успехом. Голос, который, казалось, читал по книге, которую она не могла разглядеть, поведал, что последнее восстание против Рима закончилось полным поражением. Эти слова — «полным поражением» — голос повторил трижды и один раз сказал «и рассеянием». Дальше она узнала, что война, известная как восстание Бар-Кохбы, длилась три года и что Адриан отправил в Иудею свои лучшие легионы — 22-й, Дейотариану, названный так в честь союзного с Римом галльского короля Дейотара, и 9-й, Испану — и что оба они понесли тяжелейшие потери и были в конце концов расформированы. Спящая Мория понятия не имела, кто такой Адриан и что такое Дейотариана, 22-й легион или 9-й, Испана, и голос терпеливо объяснил, как бы читая по книге, что Адриан был римским императором и что он послал на завоевание Иудеи почти половину римской армии. Голос продолжил рассказ про сторонников Бар-Кохбы, «сына звезды» по-арамейски, которые укрылись в крепости Бетар, а когда после длительной осады крепость была в конце концов взята, «римляне не прекращали убийства, пока кровь не дошла до ноздрей их коней». Это факты, сказал голос, они описаны в книге, и на этом месте спящая отметила про

себя, что ее впечатление, что голос читал по книге, подтвердилось. Голос продолжал перечислять павших. Он сообщил, что было убито полмиллиона иудеев, разрушено 50 городов и 985 деревень. Дальше он сказал, что римляне предали Бар-Кохбу такой ужасной казни, что ее не стоит даже описывать, а за ней последовали казни других вождей восставших, таких, как рабби Акива, «чья плоть была растерзана железными гребнями», и рабби Ишмаила, с которого медленно сдирали кожу, и рабби Ханании бен-Терадиона, «который был завернут в свиток Закона и возложен на погребальный костер из хвороста, а чтобы продлить его мучения, на грудь ему возложили мокрую шерсть».

«Зачем ты все это мне рассказываешь? — хотела возопить спящая. — Я не хочу больше это слушать!» Но голос явно не считал ее девичью слабонервность заслуживающей внимания и продолжал читать по своей книге о том, как Адриан запретил Закон Торы и еврейский календарь, как он повелел сжечь священный свиток на Храмовой горе, назвав именно эту отвратительную церемонию «священной», как он воздвиг статую Юпитеру, и помимо того, памятник себе самому на том месте, которое осталось от святилища Храма, и как, желая стереть даже память о Иудее, дал ей имя Сирия Палестина, а из Иерусалима сделал языческий город, назвав его Элия Капитолина, ибо Элий было вторым именем Адриана, а Капитолий — Юпитера, и как Тиш'а бэ-Ав, девятое Ава, сделал единственным днем, когда евреям, еще остававшимся в стране, дозволялось входить в то место, которое было когда-то их святым городом, чтобы оплакивать свои потери, тем самым заставляя их учить урок покорности.

Голос внезапно замолчал, хотя в книге, из которой он читал, казалось, было еще много страниц, и конец повествования так и остался непонятным спящей девушке. Как только рассказ прекратился, зрительные образы возникли опять — ровно с того места, где они раньше прервались, и она снова увидела Абшалома, выходящего из посменной кухни в Бетаре и отвечающего «ничего» на вопрос Мории «Что касается нас? Что ты хотел этим сказать?». Образ Абшалома всплыл еще много раз, и спящей было видно, как это «ниче-

го» многократно повторяется в его мозгу все последние дни Бетара. Голос вернулся опять, и это был тот же самый голос, но он звучал уже тише, почти переходя в шепот, и сказал он, что все выросло из этого «ничего», так что голосу и не требовалось ни чтобы Абшалом это повторял, ни даже понимать, что это значило, потому что означало это, кроме прочего, плод в Мориином чреве. И этот факт, значащий не «ничего», а «все», возник не в результате их первого свидания, к которому действительно подходило сказанное им в тот день его последнее слово «ничего», и не в результате второго и третьего свиданий, а в ходе четвертого и пятого, когда эти «ничего» оказались самыми плодотворными, так как они не только свели Абшалома и Морию воедино, но и освятили их брак и тем самым узаконили плод этого брака несмотря на то, что брачная церемония обошлась без хупы, а последовавшие в должный срок роды — без повивальной бабки, ибо сразу после зачатия плода их любви они были разлучены, и эта разлучение привело через девятнадцать столетий к тому, что два рода оказались совершенно не в курсе того, что у них общие корни.

Голос продолжал рассказывать дальнейшую историю Мории и Абшалома. Мория, носящая младенца в чреве, оказалась среди тех евреев, кому посчастливилось остаться не только в живых, но и на своей земле, которую она благоразумно больше не называла Иудеей из страха перед карой со стороны римлян. Абшалом был схвачен солдатами Адриана, подвергся пыткам, как и все другие защитники Бетара, но в отличие от остальных был не убит, а доставлен на невольничье судно, направлявшееся в Испанию. Голос, по видимому, не слишком интересовала дальнейшая судьба Абшалома, так как он сообщил лишь, что тот был в Испании продан некоему владельцу земли возле Юлиобриги, римского города на севере страны, работал у хозяина на виноградном прессе, женился на рабыне-еврейке, родил с ней двух сыновей и дочь, а спустя одиннадцать лет, по смерти прежнего хозяина, новый хозяин, его сын, человек просвещенный, читавший своим рабам Сенеку и Эпиктета, отпустил всю семью на свободу, после чего предложил Абшалома работу в качестве учителя еврейского и арамейского языков для своих де-

тей. Больше про Абшалома сказать нечего, подытожил голос, добавив только, что в то время, как в далекой Испании Абшалом обучал сыновей своего бывшего хозяина еврейскому алфавиту, в стране, называемой теперь Палестина, дитя, зачатое Морией от Абшалома в последние дни Бетара, выросло в женщину по имени Емина. И точно так же, как согласно первой книге Торы «В начале...» Аврам родил Исаака, Исаак родил Иакова и так далее во многих поколениях отцов и сыновей, дочь Емины Элишева родила Мариамию, Мариамия родила Морию, Мория — Саломею, Саломея — Емину, Емина — другую Морию и так далее по всей линии женщин-сновидиц, а тем временем страна переходила от одного завоевателя к другому, пока в четвертом десятилетии VII века по христианскому летоисчислению не подверглась завоеванию мусульман под предводительством Умара ибн аль-Хаттаба, чьи войска пронеслись грозой по Персии, Месопотамии, части Византийской империи и по Сирии. Последней из Морий приснилось то, о чем говорили многие поколения Морий, и Емин, и Саломей, хотя у них самих этого опыта не было. Она видела нечто, напоминающее мужскую ногу, вроде как большой палец этой ноги, и это было последним и самым ярким образом ее долгого сна.

На рассвете две младших сестры стали ее трясти, наполнив комнату визгом и хихиканьем и, разбудив, пресекли ее связь с образами и отсекали от знания, внушенного ей во сне. Болтая с сестрами о предстоящей свадьбе, она только смутно помнила палец ноги и слово «Хасмонеи», причем и то и другое не имело для нее никакого смысла, так как она уже не помнила того длинного ряда предков, что придавали большое значение видениям, посетившим ее без всякого объяснения, так как, собственно, никого и не осталось, кто мог бы такое объяснение дать, описав всю эту долгую историю, потому она и стерла из памяти голос, который рассказывал ей эту историю во сне. В тот день ей выпала честь стать первой женой Сулеймана аль-Нахиба, с которым ей предстояло иметь восемь детей — пятерых мальчиков и трех девочек. Она им и не рассказывала никогда о своем сне накануне свадьбы, как не рассказывала и о многочисленных предшествовавших ей Мориях, ибо теперь она целиком

принадлежала новой семье и новой вере, а смутное воспоминание о старом сновидении и длинной череде царей и мечтателей, из которых она вышла, ощущалось ею как некоторое неудобство, от которого она усиленно старалась избавиться. Ей это полностью удалось, так как она понимала, что, для того чтобы быть в безопасности в новой жизни, необходимо отсечь от себя ту свою часть, которая была с этой новой жизнью несовместима. Эта последняя Мория знать не знала о существовании дальней родни в далекой Испании — потомков Абшалома, отпущенного на свободу еврейского раба, а если бы каким-то чудом вдруг об этом и узнала, не проявила бы никакого интереса к тому, что они как раз продолжили семейную традицию называть своих отпрысков мужского пола Абшаломами, Иехудами, Зохарами и Симонами, а женского — Мориями и Саломеями; точно так же они хранили живую память о Иехуде Маккавее и его войне с превосходящей армией Антиоха III и о самом первом Абшаломе — том самом, которого исцелил Учитель, запретивший о себе писать, а также о более позднем Абшаломе, который участвовал в обороне Бетара, был захвачен в плен и доставлен на невольничье судно, направлявшееся в Испанию. Эти предания передавались из поколения в поколение вместе с легендой о Пальце Иехуды и предсказанием, что из их рода выйдет новый Хранитель Пальца, но им не дано было знать и даже догадываться, что пройдут тринадцать столетий и бесчисленное множество поколений, пока Палец не откроется их далекому потомку.

Аммар

Она говорит со мной про свои мысли. Я слушаю ее и не знаю, что сказать. Сказать ей, что я на самом деле думаю про то, что она написала? Что я не понимаю, с чего это какой-то палец, плавающий в воздухе, должен объявляться в каждом следующем поколении Хасмонеев, и что это вообще значит? «Это не следует понимать буквально», — говорит она.

Я хочу спросить, что это значит — понимать буквально, но не спрашиваю, потому что не хочу, чтобы она меня считала придурком.

Она уже не раз показывала, кем меня считает — придурком. Таким вот пентюхом, который понятия не имеет, что такое *настоящая* литература, *настоящее* мышление, *настоящее* понимание истории. Она также ясно дала понять, что любит меня, несмотря на то что я такой придурок. И так же прозрачно намекнула, что я должен еще больше ценить то, что она меня любит, даже считая придурком, как будто ее мнение обо мне как о придурке стоит столько же, сколько ее любовь. Если женщина говорит мужчине, которого она любит, что она невысокого мнения о его умственных способностях, мужчина имеет полное право дать сдачи. На самом деле он просто обязан дать сдачи. И самый эффективный способ дать сдачи — это повернуть против нее ее же оружие: она считает, что мои умственные способности не соответствуют ее стандартам, а я считаю, что ее внешность не соответствует моим. Правда, как бы мне ни хотелось обыграть ее на ее поле, я не могу это сделать, потому что солгу, если скажу, что ее внешность не соответствует моим стандартам. Внешность у нее такая, о которой можно только мечтать. И что бы я ни думал про наши расхождения во мнениях, сам факт того, что женщина с таким лицом меня любит, стоит того, чтобы не ссориться с ней из-за чепухи, настолько для нее дорогой, что она даже обсуждать ее со мной не желает. Не только потому, что, по ее мнению, я не дотягиваю до ее стандартов умственных способностей, но еще и потому, что она считает, что я вообще не достоин того, чтобы читать ее роман про древних царей.

— Ты не понимаешь, о чем этот роман.

— О'кей, о чем же он?

— О более глубоких истинах, чем эти твои «наши — ваши».

— Пока не понимаю. Но все-таки, о чем роман?

— Он о том, что люди не замечают, когда они по уши погружены в свою текущую жизнь и в войну на стороне одного из двух враждующих лагерей.

— Но я как-то не замечаю, чтобы ты была на стороне обоих лагерей. Все, о чем ты пишешь, — все только о твоём народе. Твоя сторона в этом конфликте — вот и все, до чего тебе есть дело. Собственно, как и всем.

— Нет, — отвечает она быстро. — Это только доказывает, что ты ничего не понял, и, если бы не твой Тайный Руководитель с его бредовыми идеями о том, что мой роман угрожает притязаниям палестинцев на Иерусалим, ты бы его даже не стал читать. Да тебе и смысла не имеет его читать. Я его не для того писала, чтобы все эти набившие оскомину притязания шли по нескончаемому кругу, чья земля — наша — ваша, наша — ваша, наша — ваша — до бесконечности.

Опять спрашиваю ее, для чего же она это писала, а она отвечает:

— Чтобы прикоснуться к тому, что намного глубже, чем «ваше — наше». Ну и намного выше.

— Одновременно и глубже, и выше? — В моем голосе столько сарказма, что я сам его не узнаю. — Как это может быть — и глубже, и выше? Ты не видишь тут противоречия?

Она отвечает, что не видит никакого противоречия, и что я это говорю только для того, чтобы показать, какой я умный, а «глубже» и «выше» — две стороны одной медали, и только то, что исходит из глубины души, может подняться до таких высот, как... Она замолкает в поисках подходящего слова, и я ей подсказываю:

— До таких высот, как Палец?

— Да, — говорит она, не глядя на меня.

Хотя я ей подсказал нужное слово, мой интеллект все еще ниже ее стандартов, когда дело доходит до самого главного для нее. Как, например, до ее идей про литературу. Или как до ее идей про «Палец Иехуды» как про какой-то символ, который гуляет по поколениям в хасмонейском роде.

— Нет, это не символ, — говорит она. — Но я все равно рада, что тебе этот термин знаком.

Она устала в пространстве и повторяет, что это не символ.

— Совершенно ясно, что это.

— Ну и что это?

— Это данность — то, что дано.

— Ты хочешь сказать, что это — то, что дано кому-то одному в каждом поколении Хасмонеев? Что это еще может быть?

— Это *мне* дано, — говорит она. — То, что я имею в виду под «данно», на самом деле очень простая вещь. Мне диктует голос — я за-

писываю. Не знаю, верю ли я в Бога, но этот голос для меня... вроде Бога. Что он дает, то я и беру. Вот что значит Палец. Каждый раз, когда он мне дается, я должна это записать. Это приказ, который я не могу нарушить.

— А что, если я тебе скажу, что сам его видел?

Я отворачиваюсь от нее, потому что представляю ее реакцию на мои слова. Когда она что-то остро переживает, ее лицо вроде как светится, что делает ее еще желаннее, чем обычно, но, если я выдам себя и покажу, что в этот момент особенно ее хочу, я упаду в ее глазах.

— Так что же ты видел, скажи.

— Это и видел.

— Аммар, что «это»? Речь шла про...

— Ну и я про то же.

— Ты не мог видеть Палец Иехуды! — твердо заявляет она.

— Может, и не мог. Но видел.

— Как он тебе мог явиться? Ты же не...

— Да, я не из тех немногих, кому он в твоей книге являлся.

Но я все равно его видел.

— Где ты его видел? — спрашивает она подозрительно. — Во сне?

— Нет, не во сне. Я работал стену дома. По контракту, который Том добыл до того, как мы начали в твоём доме работать. Я стоял на лесах, клал штукатурку на стену. Простую штукатурку, не такую, как на твою дверь. Потом хлынул страшный дождь с громом и молнией. Леса зашатались, я схватился за ближайшую доску, но не удержался, свалился вниз. Когда я открыл глаза, дождь уже прошел. Я лежал на траве, а надо мной виднелось что-то вроде ноги или какая-то часть ноги. Я подумал, что это кто-то из наших ребят прибежал мне помочь, но там ничего, кроме этого куска ноги, не было. Думаю, может, у меня головка повредилась, когда я упал, и у меня глюки. Тут я руку протянул и его потрогал.

— Ты дотронулся до Пальца? — спрашивает она, растягивая слова.

— Ну да.

— Тогда ты — Хасмонеи, — произносит она еще медленней.

— Не знаю, про что ты...

— И ты — еврей.

— Нет! Весь мой род, во всех поколениях... мусульмане мы.

— Да, но до этих поколений были другие, а раз твои предки не пришли еще откуда-то, а твой род живет там же, где теперь, две тысячи лет или больше, то вы — потомки евреев. А твои предки — именно те евреи, которых диаспора не коснулась. Когда эту страну в VII веке завоевали мусульмане, они обратились в ислам. Так происходит с завоеванными народами, судя по тому, что мы знаем из истории. Я не выдумываю.

Она мне говорит, что я, Аммар Агбарья, он же Алехандро, должен пройти генетический анализ, чтобы получить доказательства, что я еврей. И я не только еврей, по ее словам, но еще и потомок Хасмонеев. Не забавно ли, говорит она, что твой Тайный Руководитель собирался меня ликвидировать только из-за того, что прочел отрывки из моего неоконченного романа и решил, что я царица евреев. А теперь... кого ему ликвидировать? Теперь, когда я — мусульманка, а ты, Аммар, — царь евреев!

— Ему теперь тебя придется ликвидировать, — веселится она и так хохочет, что ей приходится лечь головой на стол.

Нет, это уже слишком. Я не могу позволить женщине надо мной смеяться.

— Прекрати смеяться! — ору я. Но это вызывает у нее еще больший хохот.

— Ну, согласись, Аммар, это ведь действительно смешно! Мы поменялись ролями! О людях же судят по тому, какой они религии или национальности, а тут вдруг оказывается, что они совсем не те, кем их считали! Ты думал, что представляешь свой лагерь, а на самом деле ты всегда принадлежал к враждебному лагерю. Так кто ты теперь? Сам себе враг?

Я говорю, хватит. Ты меня утомила. У меня был долгий и трудный рабочий день. Она перестает смеяться и говорит, что я прав, день был долгим, и пора уходить. Перед уходом она приближает свое лицо к моему. Не уверен, что мне хочется поцелуев после того, что она мне наговорила, и после всех этих ее смешочков и открове-

ний про то, что я якобы еврей. Но оказывается, она совсем не собирается меня целовать. Она подносит губы к моему уху и шепчет:

— Ты теперь еврей, а я мусульманка, значит, все в порядке, да? Теперь нам больше ничего не мешает.

Когда она уходит, я валюсь в кровать, не переодевшись в домашнее, сразу проваливаюсь в сон и сплю всю ночь без сновидений.

* * *

Звоню ей на следующий день, говорю:

— Галия, послушай.

— Что случилось?

— Я женат. Я люблю свою жену. Я люблю своих детей. Понимаешь?

Она спрашивает:

— Что ты этим хочешь сказать?

— Что я хочу сказать... Тяжело это говорить, но я должен... Я хочу быть верным мужем, любящим отцом и хорошим человеком.

— Ты наемный убийца. Это тоже входит в понятие «хороший человек»?

Я не отвечаю на последнее замечание, потому что это не что иное, как оскорбление, желание оставленной женщины причинить мужчине боль.

— Постарайся понять, — говорю я ей, стараясь звучать построже. — Постарайся понять мое положение. Я люблю свою жену. То, что было между нами, никогда не должно повториться.

— Что ты имеешь в виду под «между нами»? Ты хочешь сказать, между тобой и твоей женой?

— Не придуривайся! — кричу я в трубку. — Между тобой и мной, в моей комнате. Я женат. Мы не имеем права. Мы не должны это делать.

— Я это знала.

— Ну вот, давай останемся друзьями. Вместо того чтобы...

— Да, конечно, — отвечает она моментально. — Меня устраивает оставаться друзьями. Мне это даже лучше. Я вовсе не хочу отнимать тебя от жены и детей.

Мне казалось, что она ко мне равнодушна, поэтому я немного разочарован, что она так легко от меня отказывается. Ведь это она мне всегда звонила, а не я. Пока я делал у нее ремонт, она бегала за мной, как собачка, а не я за ней. Когда работы закончились, она сама ко мне пришла. Когда я на другой стройке работал, она ловила меня по всему городу. А теперь так легко соглашается на «давай останемся друзьями».

Чего я никак не могу понять, это когда западная женщина, которая с легкостью соглашается на предложение остаться друзьями с мужчиной, потом начинает ему звонить еще чаще, чем до этого. Она находит для этого дурацкие предлоги: например, чтобы узнать мое мнение о ситуации в Египте.

— Я не египтянин, мне-то что до этого, — говорю я равнодушно и вешаю трубку.

Проходит неделя — опять звонок. Я не хочу поднимать трубку. Я что, не сказал ей разве, что женат? Разве она не должна относиться к этому с уважением? Она опять звонит, и я опять не отвечаю на звонки, и тогда она посылает мне письмо по электронной почте. В нем полно обычных ее возвышенных слов, которые я пропускаю, не читая, и сразу вижу последнюю строчку: «Ты хотел, чтобы мы остались друзьями, но как остаться друзьями, если ты не отвечаешь на мои звонки?» Я решаю и на письмо не отвечать: что я могу ей ответить? Я думал, что между нами все конечно — главное кончено. Не могу поверить, что эта женщина настолько наивна, чтобы всерьез принимать эту болтовню насчет «дружбы». Она снова шлет мне электронное письмо с ссылкой на какую-то выставку по искусству, предполагая, что мне интересно вместе с ней на нее сходить. Ох, как хочется ей ответить: «Леди, у вас большие иллюзии обо мне. Меня это совершенно не интересует».

Я не отвечаю на ее письма. Я не отзываюсь на ее звонки. Я хочу хранить верность моей жене и моей культуре, вот почему я не пойду с ней ни на какую выставку по искусству. Пусть даже она прочитала шахаду. Пусть даже она думает, что я еврей и потомок Хасмонеев из-за того, что я ей сказал про «палец», который сам видел.

А про палец я не врал. Я его правда видел в воздухе, когда упал с лесов, но тогда я понятия не имел, что мне явилось что-то вроде древней реликвии, которая на протяжении двадцати двух веков являлась потомкам Хасмонеев, и что из этого следует, что я и сам Хасмонец. Мне хочется, чтобы она поняла, что она... не знаю, как это сказать... мое искушение. Из-за нее я предал свою жену и свой народ. А что до народа, так я его уже тем предал, что не выполнил задания, которое мне поручили. Но я не могу с ней это обсуждать. Не могу ей сказать, что творилось в моей душе, когда Профессор спросил: «Так ты отказываешься?» Слово «предатель» он мог и не произносить. Я сам знаю, что предал наше общее дело. И знаю, что не могу больше рассчитывать на его помощь с грин-картой, над которой, по его словам, бьются его «каналы». Она понятия не имеет, скольким я ради нее пожертвовал, да и не поверит, если я ей скажу. Она думает, что сказать шахаду достаточно, чтобы быть в безопасности. Я, когда сказал Профессору про шахаду, он ответил:

— То есть ты считаешь, что произнести пару фраз достаточно, чтобы стать одним из нас?

— Ну а что еще я могу сделать?

— Ты прекрасно знаешь, что ты должен сделать. Ты уже все сроки пропустил.

— Не представляет она для нас никакой опасности. Да женщина она... обыкновенная женщина.

Тайный Руководитель на это сказал, что она меня просто одурманила. И что задание есть задание, и не мне решать, кто представляет для нас опасность, а кто нет. Тем, что я это сам решаю, говорит он, я покушаюсь на его авторитет. Потом он спрашивает, понимаю ли я, на какой риск я иду, нарушая субординации. Да, говорю, понимаю, но поделаться с этим ничего не могу. Не буду я эту женщину ликвидировать. Она всего лишь одна из тех девиц, у которых по любому поводу всегда есть какие-то свои идеи, но идеи не действия, которые могут на что-то в мире повлиять.

— Ха, — говорит он, — много ты понимаешь, как этот мир устроен, маляр ты мой любезный! Бывает, что именно идеи такой вот мечтательной девицы решают судьбы целого народа. Когда эпоха

дозревает до какой-то идеи, неважно, кому она пригрезилась — девице с невинным лицом или матерому политикану!

— Мне правда неловко, — говорю, — что не могу выполнить задание, которое вы мне поручили.

Я хорошо понимал, что меня ждет в случае отказа, и не был удивлен, когда он сказал, что пошлет кого-то другого закончить дело.

Сейчас я думаю, что, наверное, не надо мне было с ним так откровенничать. Что зря я отказался так прямо. Ничего я своим отказом не добился, потому что теперь ей грозит новая опасность. Я и Фатиму с двумя нашими детьми этим подставил, а уж моя собственная жизнь теперь в такой опасности, как никогда раньше не была. Мне всегда казалось, что эти его «ребята» такие же непрофессионалы, как я, но сейчас, когда мне грозит, что они меня прикончат за то, что я отказался ее прикончить, мне начинает казаться, что они могут выполнить его задание лучше, чем я.

Ох, надо было мне продолжать делать вид, что я все еще жду удобного момента, чтоб эту женщину ликвидировать. Не понимаю, зачем я ему правду сказал и почему испытывал от этого такое чувство гордости, как будто я действительно выполнял какую-то миссию, вроде как заменив миссию, которую он мне навязывал, своей собственной, а была она в том, чтобы его миссии сказать «нет».

* * *

Прошло больше месяца, а Галия так и не позвонила. До нее наконец дошло, что я не хочу, чтобы мы «оставались друзьями». Я мужчина, она женщина, и только такими могут быть наши отношения, но этот путь для меня закрыт, потому что я сто раз на дню говорю себе: я люблю свою жену, я люблю свою жену. А когда я звоню Фатиме, мне приходит в голову, скольким я пожертвовал ради нее, и, хотя она ничего про это не знает, я себя убеждаю, что она это ценит или оценила бы, если бы знала. Но, когда я слышу ее голос, не испытываю никаких чувств, а ее разговоры про нашу деревню и людей, которых я давно не видел, навевают на меня скуку. Чем больше я повторяю «люблю свою жену, люблю свою жену», тем меньше я в это верю. Мне хотелось бы больше в это верить, как и в то, что

Галия представляет опасность для моего народа, но ни в то ни в другое не получается верить, и моя присказка про любовь к жене звучит все более слабой и лишённой смысла — настолько, что, как мне ни стыдно себе в этом признаться, я свою жену больше не люблю, а хочу быть свободным. Да, говорю я себе, хочу быть свободным.

Звоню Галии:

— Все изменилось. Я снова хочу тебя видеть.

Она хочет знать, что именно изменилось, и я отвечаю «все», имея в виду, что больше не чувствую себя связанным верностью моей жене и могу быть с Галией, не ощущая себя предателем моего народа.

— То ты говоришь, что любишь свою жену, — отвечает она, — то утверждаешь, что все изменилось. Я не понимаю. Не понимаю, что это значит.

— В голове у меня все изменилось.

Она спрашивает, почему я не брал трубку, когда она звонила, и мне нечего на это ответить. Ведь я не брал трубку потому, что не хотел, чтобы ее голос пробуждал во мне чувства, когда я был решительно настроен с ней порвать... «остаться друзьями», как она это называет.

— Теперь все изменилось, — повторяю я, — придешь ко мне, сама убедишься.

Она отвечает, что не собирается ко мне приходиться, потому что ее ранили мои слова о том, что то, что между нами было, больше никогда не должно повториться. Что я хотел, то и получил. Больше это не повторится. Можешь любить свою Фатиму сколько влезет, говорит, и это замечательно, что ты ей верен, я, говорит, могу только испытывать уважение к мужчине, который верен своей жене, живущей в маленькой деревушке под Хевроном. Меня, говорит, совершенно не устраивает роль разлучницы, мне вполне достаточно иногда поболтать со мной по телефону.

Через неделю она мне опять звонит, и я опять решаю не отвечать на звонок.

Иногда мне кажется, что я люблю свою жену, а иногда — что нет. Когда Галия мне звонит в моменты веры, я не беру трубку, потому

что хочу верить в то, что я до сих пор верен Фатиме и моему народу. А эта женщина пишет про древний мир, когда все были верующими, но что она понимает про веру, про чистую веру — такую веру, как у меня, веру, которой меня учили в детстве. Вот почему я не беру трубку: потому что она *всегда* звонит именно в такие моменты, а не тогда, когда моя любовь к моей жене и моей земле мне самому кажется слабой и бессмысленной, а желание близости с этой женщиной из вражеского лагеря становится настолько сильным, что я не могу дышать.

В конце концов я сам ей звоню. Говорю: привет, Галия, а в ответ ничего, молчание.

Я говорю «Как дела?» — опять не отвечает.

Долго молчит, потом говорит:

— Зачем ты мне звонишь?

— Потому что я...

Из-за ее молчания я настолько теряю уверенность в себе, что забываю английские слова и говорю по-арабски.

— Что? — спрашивает она.

— Я хочу...

Я не хочу говорить это на языке, который она понимает. По-арабски она не понимает, но она должна меня и без языка понимать, потому что, если женщина любит мужчину, она должна понимать все, что он говорит, неважно, на каком языке. Каждый раз, когда она говорит «что?», она показывает мне, что она меня не понимает.

Вдруг она говорит оживленным тоном:

— Меня видеть?

— Да!

— Ну а как же твоя жена?

— Я с ней развелся, — отвечаю и сам удивляюсь, так это неожиданно для меня самого сорвалось с языка. Но теперь, когда я это сказал, отказаться уже невозможно. Это становится почти что свершившимся фактом.

— Ты развелся со *своей женой Фатимой*? — Она делает ударение на каждом слове — так, как будто ничего более невероятного в жизни

ни не слыхала. И особенно подчеркивает «Фатимой», словно до сих пор считает, что у меня не одна жена.

— Да, — отвечаю я со странной уверенностью, что говорю правду.

— Подожди, помнишь, ты мне говорил: «я люблю свою жену, я люблю свою жену!» Мне тогда и в голову не приходило, что ты хочешь с ней развестись.

— Галия, — говорю я спокойно, но очень быстро, — теперь я свободный человек, ты хочешь ко мне прийти?

Она отвечает, что это очень серьезный вопрос, и она не может на него так сразу ответить, и не могу ли я дать ей несколько дней, чтобы все это обдумать.

— Хорошо, обдумай, — говорю я, вкладывая в эти слова больше чувства, чем мог в себе предположить, чтобы произнести такие простые слова, как «обдумай», «все» и «это».

* * *

Она постоянно что-то говорит. Я молчу. Я просто хожу. Это хождение-говорение мне странно, потому что у меня ощущение, что так было всегда, как будто так и должно быть — двое ходят и разговаривают, хотя разговаривает только она, а я только слушаю, но тем, что я слушаю, я становлюсь молчаливым собеседником, дающим ей возможность говорить, то есть без моего молчаливого участия она не могла бы вымолвить ни слова. И она признает необходимость этого моего молчаливого участия; она говорит, что без меня у нее никаких мыслей не возникало бы: это мое присутствие рождает у нее идеи. Мне хочется ей сказать: леди, меня не интересуют твои идеи, но я не хочу ее разочаровывать, поэтому даю ей говорить дальше. И она говорит, говорит, как будто ищет в словах смысл жизни. Я человек действия, а не слов. А она говорит и говорит, как будто слова имеют значение сами по себе, как будто слова без каких бы то ни было вытекающих из них действий могут принести счастье. Но каких вытекающих из них действий мне бы хотелось? Я, наверное, здорово изменился, потому что могу вот так просто ходить и слушать, как она, не умолкая, говорит о своих

мыслях. И это мне нравится. А мыслей у нее много. Не понимаю, как они вмещаются в ее хорошенькую головку, из чего я делаю вывод, что в нее должны бы вмещаться только женские мысли, а не вся эта мура про смысл вещей, которая у нее всегда на языке. Мы ходим и ходим, и ей нет дела до того, что мы вышли, пока еще было светло, а сейчас некоторые улицы, по которым мы гуляем, плохо освещены. Похоже, она не замечает, что, чем дальше мы заходим, тем темнее и небезопасней, как здесь говорят, становятся улицы; она совершенно не думает об опасности, как будто Нью-Йорк — самое безопасное место на свете. Опасности она не чувствует, потому что не прошла через то, через что прошел я. Я могу почувствовать опасность даже с закрытыми глазами, но она вся в своих фантазиях и причудах и не дает мне увести себя на более безопасные улицы.

— Ты уж слишком озабочен тем, что люди могут подумать.

— Что люди могут подумать? — эхом отзываюсь я.

Она отмахивается от этих слов, как будто ожидает от меня чего-то более значительного, чего-то соответствующего силе ее чувств ко мне, как она это называет.

— Но мы не должны забывать о безопасности — твоей и моей, — настаиваю я, заранее зная, что теперь она будет смотреть на меня свысока за то, что я не проявляю интереса к ее глубоким мыслям.

Когда вдруг становится ясно, что опасность не воображаемая, уже поздно. Какие-то парни выскакивают на темной улице неизвестно откуда как раз в тот момент, когда я, размягченный ее близостью, теряю бдительность. Она продолжает говорить, но тут я слышу удивленный вскрик — такой, как будто ей неизвестно, что в мире существует такая штука, как физическая боль, по сравнению с которой боль, которую я ей причинил, не отвечает на ее звонки, вообще за боль не считается. Все происходит слишком быстро. Мне заламывают руки за спиной, и я не успеваю выхватить нож. Когда я слышу жалобный стон, мало похожий на ее голос, до меня сразу доходит: чтобы меня унижить, они ее обесчестят. Чувство стыда включает во мне что-то такое, что дает мне больше силы, чем у двоих, которые

меня держат, пригибая к земле. Я опытнее их, и мне удастся вырваться. Теперь мне бы до ножа добраться, но один из них уже идет на меня со своим ножом. Я слышу, как у него трещат ребра под правой рукой от моего удара ногой, а мягкая плоть проминается от моих ударов. Чем сильнее я бью, тем она мягче — эта плоть, которая говорит мне, что я прав, что я должен и дальше по ней бить, что она заслуживает того, чтобы быть битой, потому что тот, кому принадлежит эта плоть, не прав, а прав я. Второй, видимо, не ожидал от меня такого удара. Там еще двое, один распластал женщину на земле, другой уже у нее между ног, но они не ожидали, что я так быстро вырвусь, и теперь я увечу обоих. И вот я несу ее на руках, как ребенка, голова ее бьется о мою грудь, а ноги свисают, как у безжизненной куклы. Мне надо побыстрее вывести нас с этой темной улицы на безопасный освещенный проспект... Мне бы отнести ее в больницу, но это делать нельзя: у меня нет документов. Отнесу-ка ее к себе. Или отнести ее к ней домой? Да, это лучший выход, чем ко мне. Я же делю квартиру с другими, а у этих других есть глаза и уши, и эти глаза могут увидеть, что я несу на руках безжизненное тело, а уши могут услышать, как она стонет от боли, и их мозги найдут объяснение, ничего общего не имеющее с реальностью. Нет, это не пойдет — стать обвиняемым в преступлении, которого я не совершал. Отнесу ее к ней домой. Надо избегать освещенных проспектов, потому что мне нельзя забывать о моем положении и о том, что со мной случится, если кто-то увидит, как я то ли несу на руках, то ли тащу на себе истекающую кровью полуголую женщину. Когда мы подходим к ее дому, я уже так вымотан, что дальше шага ступить не в состоянии. Женщина она небольшого роста, но после того, как я ее протащил с десяток кварталов, мне кажется, что она весит тонну. Когда я наконец добираюсь до дома и опускаю ее на крыльцо, которое сам сделал год назад, понимаю, что войти мы не можем. Ключ, говорю, ключ у тебя есть? Но она молчит, как немая, безжизненно раскинув руки и ноги, ничего не отвечает, и мне становится страшно, что ее уже не спасти. Вспоминаю ее слова про привычку вечно забывать ключи, из-за чего она всюду таскает с собой сумочку, но где теперь эта сумочка? Ее могли эти гады подобрать, а может,

она незаметно выпала и лежит на этой чертовой улице, где они на нас напали. Роюсь в ее карманах в надежде, что на этот раз она сунула ключи в один из них, а не в эту дурацкую сумочку. Ничего. Соображаю, что мне ее дом знаком от и до — не я ли был в бригаде, которая его строила? Я знаю все ходы и выходы. Думай, говорю я себе. Думай побыстрее. Не было ли там окна в цоколе, которое открывается внутрь? Было там такое окно, говорю я себе, но на ту сторону цоколя можно попасть только через задний двор, а как я попаду на задний двор, когда у меня нет ключа от ворот, которые туда ведут? Когда я там работал, ворота эти были всегда открыты, так как ребята из бригады должны были ходить туда-сюда. Я оставляю ее лежать на крыльце и бегу проверить ворота. Они, конечно, заперты, но там есть лаз между нижней стороной и землей, в который худой человек может пролезть, извиваясь как змея. Я не то чтобы худой, но попытаться надо. Уже протащив внутрь голову и плечи, я слышу крик. Мне не видно, кто кричит, но, когда я уже почти весь пролез, чувствую, как кто-то хватается меня за левую ногу, а потом и за руку. Когда мне наконец удается извернуться и поглядеть назад, я вижу Брэда, соседа Галии, того самого, который вечно крутился рядом во время стройки и отдавал нам распоряжения, как будто он был нашим боссом, а когда мы на него пожаловались Тому, тот сказал: «Лучше иметь на стройке соседа, который ведет себя как босс и ругает твою работу на каждой стадии строительства, чем иметь его в качестве жалобщика на нарушения, понятно?» Я уже почти полностью пролез под ворота, но Брэд держит мою ногу, и я не могу встать. Он вынуждает меня идти на крайности, этот Брэд. Что ж, не моя вина, нечего было ногу мою тянуть. Видно, я его слишком сильно лягнул, что следует из слабого гортанного вскрика, похожего на то, что я этой ночью уже слышал — жалобного вскрика, исходившего от Галии, когда те парни делали с ней это. Но я не могу тратить время на Брэда и говорю себе, что он сам виноват: с чего ему было хватать меня за ногу, неужели он мог подумать, что я вор, пытающийся забраться на задний двор, чтобы стибрить пару кустиков? Мысль о том, что она лежит там на крыльце с раскинутыми во все стороны руками и ногами, заставляет меня промчаться стрелой че-

рез подъездную дорожку общего пользования, настолько заросшую травой, что можно подумать, что до меня никто на нее не ступал. Пригнувшись, обследую все окна в цокольном этаже, пробую каждое и наконец в одном из них разбиваю стекло, не обращая внимание на кровь из порезанной руки. Разбиваю оставшиеся в окне куски стекла, делая образовавшееся отверстие достаточно большим, чтобы весь я мог в него пролезть, и, как только мои ноги касаются пола, делаю длинный прыжок в сторону лестницы. Повезло, что мне так хорошо знаком этот дом, потому что через долю секунды я уже распахиваю входную дверь и втаскиваю ее внутрь. Я испытываю такое облегчение от того, что она все еще на крыльце и никто пока ее не заметил в такой позе — с раскинутыми руками и ногами, что чувствую, как что-то жидкое стекает по моим щекам. Я не из тех западных джентльменов, которых слеза прошибает по каждому ерундовому поводу. Эти слезы не от слабости, а от силы, говорю я себе, и мне нечего их стыдиться. Я втаскиваю ее в дверь, кладу на диван и стою над ней, не зная, что делать дальше. Снять с нее то, что осталось от одежды, и поглядеть, какие она получила травмы? Вот что надо: приготовить компрессы из бумажных полотенец, опустив их в ледяную воду на кухне. Когда я прикладываю к ее лицу первый же холодный компресс, она приоткрывает левый глаз, и я испытываю такое облегчение, что несусь на кухню за новыми компрессами. Я на верном пути, говорю я себе, к утру ей станет легче. Проверяю компрессы каждые несколько минут: если они недостаточно холодные, я их тут же меняю, заворачивая в них новые кубики льда, чтобы бумага была достаточно холодной и на двадцатый раз она открывает оба глаза и пытается улыбнуться, хотя улыбка получается кривой, потому что часть ее лица все еще в затеках после того, что они с ней сделали. Она начинает шевелить руками и ногами, и я говорю себе, что ей больше холод не нужен, а, наоборот, нужно тепло, поэтому готовлю на кухне чашку горячего чая и поддерживаю ее голову, пока она пьет маленькими глотками, как ребенок. Потом иду к ней в спальню, стаскиваю с кровати одеяло и укрываю ее всю так, чтобы ни одна часть тела не оставалась непокрытой, и она дает мне подвернуть под себя одеяло, как будто она — ребенок, а я — заботли-

вый папаша. Она приоткрывает губы и пытается что-то сказать, но только хрипит, и я не могу понять, что она говорит, и тогда я ей говорю «тсс, не разговаривай, тебе к утру станет лучше». Она делает еще одну попытку, и на этот раз я разбираю несколько слов: «Доктор рыбы... помнишь, ты сказал “доктор... рыбы”? Теперь ты мой доктор... доктор рыбы». Я похлопываю рукой по одеялу и говорю: «Да, я твой доктор. Доктор рыбы. А теперь попробуй поспать». Ее глаза улыбаются мне сквозь слезы, и я улыбаюсь в ответ. Закрываю глаза и расслабляюсь в кресле около ее дивана, и следующее, что я слышу — кто-то барабанит в дверь. Вздрагиваю и просыпаюсь в недоумении от того, что уснул, когда должен был быть начеку, быть бдительным, быть ее медбратом в этой гостиной, из которой я сделал что-то вроде пункта скорой помощи — она ведь сама назвала меня своим доктором, а что это за доктор, который засыпает возле койки своего пациента? А стук такой громкий, что и она просыпается. И глядит на дверь с таким ужасом в глазах, какой я видел на лицах людей в видеокдрах, которые мне показывал Профессор, — в те времена, когда я верил Профессору больше, чем самому себе, — видеокдрах несчастных, убегających от солдат. Но теперь, когда я стал себе доверять больше, чем Профессору, я не хочу больше видеть этот ужас в чьих бы то ни было глазах. Стук на секунду прекращается, и я слышу голос, говорящий слова, которых я боюсь больше всего, — слова, которые преследовали меня во сне и наяву все годы моего проживания в этой стране: «Полиция! Открывайте!» Галия приподнимается на локте и шепчет мне, что у нас нет выбора — дверь придется открыть. «Тебе нечего бояться, — шепчет она. — Ты меня спас». Она хорошая и добрая, но она не жила той жизнью, которой живу я. Она понятия не имеет, что такое быть нелегалом в этой стране — без документов, без защиты, и теперь, когда полиция уже тут, ее слова о том, что мне нечего бояться, — всего лишь благонамеренная чушь в устах человека, который не прошел через то, через что прошел я, и который ничего про это не знает. Но в одном она права. Дверь придется открыть. Я открываю ее ровно на столько, на сколько нужно, чтобы показать, что я подчиняюсь, потому что мне совсем не хочется, чтобы меня обвинили в сопро-

тивлении власти вдобавок к тому, в чем они меня все равно будут обвинять. В дом врываются четверо в форме и один в гражданском. Те, что в форме, орут мне, чтобы я стоял смиренно и поднял руки вверх, и, поскольку они навели на меня стволы, я, естественно, так и делаю. Человек в гражданском — Брэд, сосед Галии, тот самый, который издал этот жалобный писк, когда я его лягнул пару часов назад. Он стоит в сторонке и ухмыляется, очень собой довольный. Хорошо, что у меня нет при себе моего ножа, наверное, я его оставил на кухонном столе, точно не помню. Они бросают меня на пол — точно как в моих кошмарах: лицом вниз, на запястьях наручники, и я не сопротивляюсь, так как мне незачем, чтобы лишняя статья добавилась к моему положению нелегала и еще к чему-нибудь, что они могут на меня навесить. Я слышу, как они разговаривают с Галией, и хочу им сказать, что она еще слишком слаба для разговоров, она только чуть-чуть стала в себя приходить, так чего они от нее хотят, она же не знает, что произошло и кто были те парни, которые на нее напали, она вообще ничего не знает. Но они ее не спрашивают про тех парней. Они ее про меня спрашивают. Что я ей сделал? Она отвечает: он мне жизнь спас. Как это он мог вам жизнь спасти? Он незаконно проник на вашу территорию и территорию вашего соседа, а также ударил этого соседа ногой, чуть не сделав его инвалидом. «Он должен был войти в дом, — говорит она так тихо, что я едва ее слышу. — На нас напали какие-то люди, я была без сознания. Он меня всю ночь отхаживал. Не держите его на полу. Он достойный человек. Он доктор». Они смеются: «Доктор, да? А если мы попросим его предъявить документы, что доктор на это ответит?» Им это кажется настолько забавным, что они забывают меня держать, но я продолжаю лежать лицом вниз — незачем ухудшать ситуацию, она уже достаточно плоха. «Для меня он доктор, он мне помог», — шепчет она, но они не обращают внимание на ее шепот. Один из них набирает 911, и через несколько минут появляется бригада санитаров. Они ввозят каталку, но мне не видно, когда и как они туда ее кладут, так как как раз в этот момент копы получают приказ меня уводить. Они грубо меня хватают и толкают к двери. «Отпустите его! Он ничего плохого не сделал! Он мне помогал!

Он мой друг!» Не знаю, откуда у нее берутся силы, чтобы так кричать, но на них это никак не действует, и в промежутках между их переговорами по рации они обмениваются шуточками по поводу того, что я ее друг или ее доктор, и в слово «доктор» они вкладывают столько презрения, сколько можно вложить, говоря о психически больном или о нелегальном иммигранте. Они ведут меня в полицейский фургон. Мне ничего не остается, кроме как туда залезть, и двое из них забираются туда вслед за мной. Там они вынимают бланк и спрашивают мое имя, год рождения, место рождения. Когда я говорю «Хеврон», они не реагируют. Когда я уточняю «Хеврон, Палестина», они обмениваются взглядами. Спрашивают: «Гражданство США? Право на жительство?» Хотя я этого вопроса жду годами, когда они мне его задают, я удивлен. Они действительно должны его задать, чтобы заполнить предварительную анкету? Отвечаю, что я должен проконсультироваться с адвокатом, прежде чем отвечу на следующие вопросы, но они повторяют вопрос, требуя, чтобы я на него ответил тут же. «Гражданство США? Право на жительство?» — «Нет», — отвечаю наконец. Дверь фургона захлопывается. Лучше бы мне умереть, чем ехать туда, куда они меня везут.

Галя

Я была слишком слаба, когда они его увезли. Если бы они меня спросили, что он тут делал, я бы сказала, что он мне помогал, он меня лечил, он делал все, что мог, но они меня не спрашивают об этом, и, как только я собираюсь с силами, которые еще во мне остались, я кричу «Отпустите его! Он ничего плохого не сделал! Он мне помог! Он мой друг!» Но они не обращают внимания на мой крик, потому что для них я просто некое тело, которое надо закрепить на каталке и отвести в больницу, где настоящие доктора решат, что со мной делать. Тогда, может, я перестану орать всякую чушь вроде «он ничего плохого не сделал!» про мужика — явно нелегального иммигранта, а то и что-нибудь похуже, чем просто нелегала, например, типчика, который замышляет убийства и разрушения: исламский террорист, враг нашей страны.

Должно быть, я была несколько дней в отключке в этой больнице, потому что следующее, что я помню, это мужской голос, говорящий, что меня лечат от пневмонии, которая у меня образовалась, пока я тут лежала, и они занимались моими травмами, полученными при нападении с применением насилия, но при правильном лечении все со мной будет в порядке. Хочу открыть рот и что-то сказать, но губы у меня не шевелятся, потому что у меня что-то торчит во рту, и оно лезет еще глубже, в горло. И до меня медленно доходит, что я в больнице, в интубации, а это означает, что за меня дышит аппарат, и я хочу, чтобы из меня его вынули, и хочу закричать «Хватит! Я в полном порядке! Мне эта штука во рту на фиг не нужна! Выньте ее немедленно!» Но я не могу сказать ни слова. В интубации я, и все тут. Мне надо им доказать, что я могу дышать сама, чтобы они это вынули, но как, пока эта штука за меня дышит, начать их убеждать, что с моим дыханием все в порядке?

Я хочу сказать им, что это было простое изнасилование — не всякое изнасилование можно считать простым, и что травмы, с которыми им приходится иметь дело, с моим горлом никак не связаны, поэтому добрым эскулапам нет абсолютно никакой необходимости мучить меня этим ужасным аппаратом, который не дает мне дышать самой и заставляет меня страдать от этой дыхательной агонии, которая даже хуже, чем то, что произошло на той темной улице, потому что, какому бы насилию я ни подверглась, оно было кратким, а эта штука уже торчит в моем горле целый день, если не два, и некому меня от этого избавить, потому что Аммар далеко, а я даже не могу раскрыть рот, чтобы спросить, куда его забрали.

В конце второго дня или в начале третьего из меня эту штуку вытаскивают. Я испытываю такое огромное облегчение, что не хочу тратить свою возвращенную способность говорить на то, чтобы с ними лаяться. Я хочу только узнать про Аммара.

— Где он?

Я имею право знать, куда они его дели, но сестра, стоящая у моей койки, отвечает мне только «тсс». Не волнуйтесь, говорит она, если вы не будете слишком много разговаривать, все обойдется, я всего лишь медсестра, а вот мужчина рядом со мной — доктор, а вы —

пациентка. Мне ничего не остается, кроме как быть пациенткой, потому что я не могу выбраться из этой больничной койки и из этой больницы, пока они не решат, что мне можно выписываться. Выписка зависит от моего разумного поведения, а у них есть определенное представление о том, что такое разумное поведение, и, пока я не заткнусь с вопросами о местонахождении какого-то там нелегального иммигранта и со своими требованиями, чтобы его освободили откуда-то, куда его забрали, на меня эти сестры и врачи не будут смотреть как на лицо, как говорится, в здравом уме и твердой памяти, предположительно заслуживающее того, чтобы его выписали.

Мне приносят поднос с ужином, а может, это обед. Там размятая картошка вроде пюре и размятая курица, и еще что-то размятое, и я соображаю, что мне предписана мягкая пища, так как они считают, что я не могу жевать и глотать нормальную пищу, и они в этом ошибаются, но, опять же, с врачами скандалить — себе дороже. А еда, хоть и размятая, ничего, вкусная, во всяком случае вкуснее, чем я когда-либо сама себе готовила или заказывала в ресторане, но главное — не еда, а ощущение, что что-то ешь, а не валяешься тут с дыхательной трубкой в горле.

Когда они наконец решают, что мне уже можно встать и даже немного пройтись по коридору, ко мне присылают психолога. Он начинает мне рассказывать про то, что такое психологическая травма в результате изнасилования. Но я не хочу про травму. Я хочу про моего друга: хочу знать, куда его забрали; хочу иметь возможность ему позвонить, поговорить с ним и убедиться, что с ним все в порядке. А психолог упорно допрашивает меня про травму, и, когда я отвечаю, что единственная травма, которая меня волнует, это то, что я не знаю, где мой друг, он добросовестно все это вписывает в мою больничную карту и говорит, что отказ об этом говорить — типичный симптом постшокового эффекта, следующего за изнасилованием. Я отвечаю, что он мелет чушь, и он это тоже записывает в карту, сопровождая объяснением, что моя агрессивная реакция находится в прямой пропорции к испытываемому мною чувству гнева — стадии, через которую проходят все жертвы насилия. Что, впрочем, является вполне естественной реакцией, добавляет он.

Помимо психолога, меня посещает и адвокат. Сообщает, что участие адвоката обязательно в делах, связанных с изнасилованием: преступников надо поймать. Расспрашивает меня, как выглядели эти типы, которые на меня напали, и, когда я отвечаю, что не могу их описать, так как не смотрела на их лица, он говорит «да, обычно так и бывает, жертва никогда не смотрит». Я спрашиваю его про моего друга, который был со мной в ту ночь, который меня унес и донес до дома и ухаживал за мной, пока не появилась полиция и не забрала его. Куда его забрали? Адвокат пожимает плечами. Он здесь с заданием получить описание преступников. Он здесь не для того, чтобы разговаривать о моем друге. Его время дорого. Мне не надо ему платить, его агентство отправит счет городу, но он здесь, в моей палате для того, чтобы получить описание преступников. Если, говорит он, мне надо поделиться моими чувствами к моему другу, он уведомит больничный персонал, что я нуждаюсь в консультации психолога.

И вот наступает день, когда сестра приносит мою одежду и сообщает, что я готова к выписке. Я ее раньше не видела, к чему уже привыкла: здесь каждый день новая медсестра. Она пытается помочь мне одеться, и я говорю, спасибо, мне помощь не нужна, я с пяти лет уже сама одеваюсь. Но она упорно пытается мне помогать, и, когда я уже одета и готова уходить, говорит: «Вы не можете просто так уйти, кто-то должен вас отвести домой», на что я отвечаю: «Что за бред? Прекрасно могу доехать до дому сама». Она говорит «больничные правила» и притаскивает мне кучу бумаг на подпись, которые я подписываю, не читая. Подписываю бумагу за бумагой, так как понимаю, что, если стану их читать, у меня возникнут вопросы по поводу этих бессмысленных текстов, которые я, как пациент, задавать не должна, если не хочу попасть в категорию «не соблюдающих указаний врача», а после всех этих дней и ночей, что я здесь провела, представляю, к чему это может привести. Когда все подписано, она сует мне еще одну бумагу, и я уже открываю рот, чтобы сказать, что мне, мол, надоело бумажки подписывать, она говорит: «Если вы хотите добираться до дома самостоятельно, подпишите этот отказ от сопровождения». Я подписываю, не глядя, и стою, жду такси. Когда оно наконец приезжает, меня сопровож-

дают до входа в больницу — или до выхода из нее — две медсестры, как будто мне нельзя доверять, что я сама дойду. Спасибо, говорю. И, пожалуйста, говорю, садясь в такси, не надо мне помогать, со мной все в порядке. Но пока я еще на территории больницы, не все со мной в порядке: я пациентка и вести себя должна, как пациентка.

Когда такси останавливается у моего дома, я вижу Брэда, торчащего на улице и наблюдающего за мной. Он смотрит, как я выбираюсь из машины и иду к дому. Я хотела бы ему сказать пару слов, но теперь, когда я поняла, что он за типчик, мне вовсе не надо, чтобы он думал, что я что-то против него имею. Напоминаю себе больше никогда с ним не разговаривать, но потом до меня доходит, что игнорирование соседа может обернуться проблемой, что он может черт знает что усмотреть в моем молчании, и значит, в следующий раз, столкнувшись с ним, надо будет поздороваться. Не потому что хочу, а в качестве тактического приема.

Я понятия не имею, как узнать, куда увезли Аммара, поэтому на обзвон всех отделений полиции уходит три дня, пока в конце концов я не получаю название места заключения, где он содержится. Мне не нравится слово «содержится». Он не вещь, которая может «содержаться», всеми забытая, и уж мною он точно не забыт. Надо продумать, что сказать этим «содержателям», но вот единственное, что мне приходит в голову: он мне помогал, он мой друг. Если мне не удастся найти способ, как его оттуда вызволить, надо придумать что-то получше. Если его там держат только за то, что он нелегальный иммигрант, можно это исправить, и сделать это могу только я. Но в ту же секунду вспоминаю, что он уже женат, что его жену зовут Фатима, что у нее от него двое детей в деревне под Хевроном.

Когда я дозваниваюсь до места заключения, мне отвечают, что человек с этим именем у них не содержится, а когда я настаиваю на том, что он должен там находиться, мне говорят, что именно сегодня утром его перевели в больницу.

— Почему? — спрашиваю.

— Из-за депрессии. Он отказывался есть.

— В какую больницу?

Через сорок минут я уже в огромном здании больницы. Заглядываю в общее неотложное отделение, и сестра за столиком велит мне ждать: я что, не вижу, что люди ждут очереди? Стою в переполненной комнате ожидания, пока не начинаю терять терпение. За столиком уже другая сестра, и, когда я спрашиваю ее, в какой палате Аммар, она отвечает: «подождите, я занята». Еще куча времени проходит, пока я снова ее не спрашиваю и, не дожидаясь, чтобы она велела мне подождать, напоминаю ей, что она мне это уже говорила и я терпеливо ждала, а ведь мне только надо узнать, в каком состоянии Аммар Агбарья; не будет ли она так любезна, чтобы выяснить, много времени это у нее не отнимет. Имя-фамилию по буквам, говорит она, не глядя на меня, и, когда я это делаю, она долго пялится в компьютер и наконец сообщает: психиатрическое неотложное отделение. Спрашиваю, где находится психиатрическое неотложное отделение, но она уже со мной покончила, уделив мне внимания больше, чем я заслуживаю, поэтому мне приходится приставать к другим работающим здесь — обслуге, сестрам, врачам. Кто-то меня не слышит, кто-то слышит и не отвечает, но один — санитар, везущий каталку с заросшим щетиной стариком, останавливается и доброжелательно и подробно объясняет, куда идти. Иду, оказываюсь в узком коридоре, заканчивающемся тупиком и дверью. С одной стороны тупика стоят три бака, переполненные больничным мусором.

— Это психиатрическое неотложное отделение? — спрашиваю я у проходящего мимо мужчины в белом халате. Он, не останавливаясь, одновременно кивает головой и пожимает плечами. Дверь заперта. Стучу. Никакого ответа. Стучу опять. Гигант с кольцом в ухе приоткрывает дверь и помещает свое тело между дверью и стеной, так что у меня пройти никаких шансов.

— У меня тут друг, — говорю.

— Имя?

— Аммар Агбарья.

— Нет тут такого.

— Нет, он здесь. Мне сказали в общем неотложном отделении. Там его поглядели в базе данных и сказали, что он здесь.

— Эй! — он орет в пространство позади себя. — Есть тут такой...

— Аммар Агбарья, — подсказываю.

— ...тут Аммар Агбарья?

То, что кричат в ответ из глубин отделения, я не разбираю, но ясно, что это положительный ответ: Аммар действительно там.

— Так... я могу его видеть?

— Время приема посетителей — с одиннадцати до двенадцати, — отрезает он и захлопывает дверь.

Смотрю на часы. Без пяти одиннадцать. Жду пять минут и опять стучу в дверь. На этот раз он тянет с открыванием еще дольше.

— Что такое? — вопрошает он обвинительным тоном, как будто я нарушила его сон или еще какое-то не менее важное занятие.

— Одиннадцать. Вы сказали, прием посетителей...

Он слегка кивает в сторону отделения за своей спиной. Но стоит мне сделать пару шагов в ту сторону, как он рычит «сумка!» и стучит костяшками пальцев по столу.

— Мне сумку положить на стол?

Он снова стучит по столу, на этот раз ладонью. Я кладу сумочку на стол, чтобы он мог ее проверить, и думаю: если тут все такие, как те, с кем я сегодня утром имею дело, необходимо Аммара из этого жуткого места вытащить. Гигант с кольцом в ухе роется в моей сумочке без каких бы то ни было признаков уважения к неприкосновенности моей частной жизни. Он вываливает содержимое на стол и без всякого стыда выхватывает из кучи предметы, которые я не стала бы никому демонстрировать.

— Это что? — спрашивает, поднимая средних размеров бутылочку с лекарством. — Таблетки?

— Витамины.

— Таблетки нельзя.

— Но это же... я же вам сказала. Это витамины. Я просто их в бутылочке из-под лекарства держу.

— Что витамины, что лекарства — одно слово: таблетки. Таблетки нельзя. Правила есть правила.

— Дурацкие правила, — говорю я громко.

— Вы мне тут голос не повышайте. Полицию вызову.

— Ну и вызывайте! Плевать я хотела!

Вся моя ярость на охранника и его idiotские правила исчезает сразу, как только я выпустила пар, согласившись на вызов полиции. Оставляю бутылочку в его владениях на столе; заберу ее по дороге обратно. Как только вхожу в психиатрическое неотложное отделение, которое намного меньше, чем общее неотложное, и в котором не толпятся пациенты, сестры и врачи, я вижу его, сидящего в позе роденовского Мыслителя: локти на коленях, подбородок на ладонях. «Аммар», — зову. У него отросла борода, что делает его слегка похожим на русского писателя XIX века. Говорю, что ему надо подписать брачный договор со мной, чтобы он мог подать на гражданство и выбраться из этого места и из того, другого — места содержания. Он моргает, как будто услышал что-то неприличное. Молчит долго, как когда-то во время стройки, когда я пыталась его разговорить, и я начинаю думать, что сказала что-то не то. Конечно, не то: я ведь только что предложила ему взять меня в качестве второй жены. Но больше я ему ничего не могу сказать в данный момент, хотя у меня много есть чего сказать. Нет ничего подлинней, чем молчание, которое окутывало его так долго, что стало его второй кожей. Не поднимая глаз, он спрашивает, могу ли я ему одолжить монетку в 25 центов, и я отвечаю, да, конечно, возьми несколько. Он спокойно говорит: «Спасибо, одной достаточно». Идет к больничному телефону, опускает монетку и набирает номер. На том конце явно никто не отвечает, и он вешает трубку.

— Кому ты пытаешься дозвониться?

— Адвокату.

— Так что насчет моего предложения? Это лучший способ тебя отсюда вытащить.

— Большое спасибо, Галия, но у меня уже есть жена.

— Я знаю, что у тебя есть жена. Я всего лишь пытаюсь придумать, как тебя отсюда вытащить. Чтобы у тебя был в этой стране легальный статус.

— А ты как, Галия? Ты в порядке?

— Я в полном порядке. Я неделю провалялась в больнице, что было совершенно бессмысленно, так как ты гораздо лучше меня лечил в ту ночь своим холодными компрессами. Ты гораздо лучший

врач, чем эти дипломированные врачи в больнице. Доктор рыбы — вот ты кто.

— Доктор рыбы, — повторяет он тихо. — Да, я помню.

— Так какой твой ответ, — спрашиваю, — на мое брачное предложение?

— Я не знаю, — отвечает. — А ты что думаешь?

— Думаю, что нам надо через это пройти, а когда ты получишь гражданство, можешь со мной развестись, если захочешь.

— Если захочу, — повторяет он еще задумчивей. — Или не захочу.

— Я просто хотела сказать, что это будет зависеть от тебя. Я только хочу, чтобы ты освободился.

— Да. Чтоб я свободился. Освободиться — хорошо. Я тоже этого хочу.

— Так твой ответ «да»?

— Да, — говорит он с сомнением в голосе. И через секунду уже тверже: — Да.

Он опять сидит в позе роденовского Мыслителя, и я сижу на стуле с ним рядом, пытаюсь не нарушить его мрачное одиночество. Приемное время заканчивается. Когда я выхожу, охранник у выхода возвращает мне мою бутылочку с таблетками. «Ваши таблетки», — говорит он, и хотя это всего лишь витамины, а не таблетки, я не нахожу нужным его поправлять.

В день заключения нашего брака я иду к большой стойке регистратуры в больничном лобби и, когда служащий за стойкой вопросительно на меня смотрит, говорю: «Агбарья». Я тут не в первый раз. Я знакома с процедурой: служащему нужно только назвать фамилию больного, и я не собираюсь вдаваться в объяснения по поводу того, что сегодня больной по фамилии Агбарья подпишет брачный договор, в результате чего станет свободным. Чем меньше говоришь, тем лучше. Порывшись в ящичке с разноцветными пластиковыми карточками, человек за стойкой вручает мне лиловую, на которой напечатано 5А, а рядом, на прозрачной полоске маленькими буквами — имя пациента. Прохожу через длинное лобби к шести лифтам. Когда один из них останавливается, захожу, нажимаю на кнопку с подсветкой и номером 5, выхожу из лифта, оказываюсь на пятом

этаже и ишу стрелку с буквой А и надписью: «Психиатрическое отделение». Прохожу по коридору с палатами по обеим сторонам, стараясь не заглядывать в них, но не могу не замечать обитателей отделения, лежащих, полулежащих и сидящих на своих койках, и ясно, что эти люди — не психические больные, так как они могут входить в палату и выходить из нее и могут нажимать кнопку лифта, если хотят, и могут убраться из этой больницы, чтобы больше сюда не возвращаться. Когда я останавливаюсь перед запертой дверью со сложной системой звонков и сигналов тревоги, знаю, что я у цели. Вот оно, отделение 5А, хотя никаких опознавательных знаков, указывающих на это, не видно. Нахожу звонок для посетителей, жму на него — никакого эффекта. Но я не новичок в проникновении в запертые отделения; я знаю, что надо запастись терпением, прежде чем раздастся жужжание и дверь откроется. Когда я уже потеряла всякую надежду, дверь открывает дородная санитарка с огромными серьгами в ушах, болтающимися до самой шеи. Она спрашивает, к кому я пришла, и я называю имя больного. Подождите тут, говорит она, и я продолжаю стоять между двумя дверями, одна, массивная — за мной, другая, из пуленепробиваемого стекла — передо мной. Через стекло вижу Аммара со спины, потерянно сторбленной, вышагивающего по коридору вместе с другими больными. Помахать ему я не могу: не только потому, что он обращен ко мне спиной, но и потому, что я пока еще не узаконена в качестве посетителя. Когда тетка с огромными серьгами возвращается, я уверена, что она откроет мне стеклянную дверь, но вместо этого она садится за конторку у стеклянной двери и начинает болтать с другой санитаркой. Я слегка постукиваю по стеклу, чтобы напомнить ей о моем существовании. Вторая санитарка поднимает глаза и медленно отрывает задницу от стула, всеми своими телодвижениями красноречиво выражая только одну мысль: что за назойливая баба к нам приперлась. Я вынуждена согласиться с ее молчаливой оценкой, и, когда она меня в итоге впускает, я извиняюсь за свое постукивание по двери, потому что хорошо усвоила, что меня ожидает, если я, входя в запертое отделение, не продемонстрирую раскаяние за сам факт своего существования. Покажите, что у вас тут, говорит

она, и я вынимаю томик стихов Халиля Гибрана в английских переводах и коробку печенья. Санитарка ни на стихи, ни на печенье не реагирует: ей только надо убедиться, не припрятала ли я какой-нибудь острый предмет между страницами — бритву или ножик. Отдаю ей свой пластиковый пакет и, когда она говорит, что я получу его обратно на выходе, отвечаю, что он мне не понадобится, так как мне туда нечего будет класть: книгу и печенье я передам своему другу, который вряд ли будет пытаться покончить с собой с помощью натянутого на лицо пластикового пакета. Она говорит, что больных в холле ждать нельзя, и указывает на комнату для посетителей, где мне положено своего больного ожидать, но поднять задницу, чтобы пройти через холл и отпереть дверь, ей лень, поэтому мне приходится ждать, пока другой санитар, молодой парень вполне дружелюбного вида, возьмет ключи, отопрет дверь и вызовет больного.

Сажу за столом в комнате посетителей и вижу Аммара, ждущего, когда санитар отопрет стеклянную дверь. Борода у него отросла так, что уже закрывает шею. Когда он садится рядом со мной, я говорю, погляди, что я тебе принесла. И пододвигаю к нему книгу и коробку с печеньем. Он слегка кивает, но не меняет позу, чтобы взглянуть на принесенное.

— Мы с тобой сегодня женимся, — сообщаю бодрым тоном. — Не забыл?

Он снова слегка кивает и спустя минуту отвечает еле слышно «да».

Подписание брачного договора происходит в конференц-зале больницы. За долгие годы здесь много юридических документов было подписано, но брачный контракт, я думаю, впервые. После того как мы его подписываем в присутствии двух свидетелей, социального работника и директора больницы, наша отважная церемониймейстерша — пожилая дама, рекомендованная мне Обществом этнических культур, — произносит негромко: «А теперь вы можете поцеловать невесту», и я понимаю, что эти слова только добавляют еще одну психологическую травму к целой серии травм и оскорблений, которые выпали на долю моего новоиспеченного мужа за то, что он ради меня сделал в ночь нападения. Я прошу церемониймейстершу воздержаться от указаний, когда нам следует целоваться, это

дела интимные, пусть даже мы подписали в больнице бумагу, лишаящую нас неприкосновенности личной жизни и достоинства. Она понимающе кивает головой и желает нам удачи.

В тот же день я заполняю заявление на грин-карту для Аммара. Все, что от него требуется, это подписать бумагу, как он уже сделал с брачным договором. Он подписывает молча, без возражений, как будто, оставляя за мной право все решать за него, он покоряется неведомой судьбе. Я отправляю копию заполненного ходатайства о гражданстве в место заключения, и, когда звоню через несколько дней, чтобы узнать, получили ли они документ, мне дают другой номер телефона. Я звоню по разным номерам, и после долгих мытарств кто-то на том конце сообщает, что он будет освобожден *со временем*. Брак с гражданкой США меняет его статус и ставит его на путь к гражданству или как минимум к праву на жительство.

— Эти парни, которые на нас напали в ту ночь, — говорю я, чтобы его подбодрить. — Теперь, когда все плохое кончилось, спрашивается: чего они добились? Тебе — гражданства, нам — официально-го брака. Ни того, ни другого не произошло бы без их подачи. Тебе надо послать им благодарственное письмо.

Он улыбается в ответ на предложение послать им благодарственное письмо. Он как бы хочет сказать, что идея нелепая, но что он уже начинает различать, когда я шучу, а когда говорю серьезно, и позволяет себе молча над этим посмеиваться.

Мы настолько уверены, что он на пути к получению гражданства, что у нас уже выработался целый набор шуток по этому поводу.

— Я не знаю, что такое быть гражданином. Никогда раньше им не был.

— Думаю, что нет никакой разницы в ощущениях между гражданином и не гражданином. Не считая того, что тебе уже не надо жить в страхе перед тем, что тебя депортируют. А все остальное будет таким же. Ты остаешься тем же, кем был, но только с бумагой, что ты тут живешь легально.

— Нет, не тем же. Нет. Всю жизнь я жил без гражданина.

— Без гражданства.

— Да, без гражданства.

— Ну вот ты его получишь — и что? Что в тебе самом изменится, кроме того, что у тебя не будет страха депортации?

— Ты не понимаешь! Потому что ты никогда не жила, как я. Всю жизнь без гражданства. Всю жизнь в страхе, всю жизнь в ожидании — в ожидании, что за тобой придут и тебя уведут. Когда ты всю жизнь так живешь, страх из тебя делает монстра. Каким я и был. Я был как монстр.

— Знаю, знаю. Ты даже собирался меня прикончить, но у тебя не очень получалось. С холодными компрессами у тебя получается лучше.

— У меня был приказ, миссия, Тайный Руководитель.

— А, вот еще что изменится, когда получишь гражданство США. Ты больше не будешь зависеть от этого типа. Ты даже можешь поспособствовать тому, чтобы *его* депортировали. Если ты сообщишь властям о его деятельности.

— Нет-нет. Этого я не могу сделать. Я могу с ним порвать, но вредить ему не буду.

Похоже, тот, кого Аммар называет Профессором, таким же благородством не отличается. Когда ходатайство Аммара о легальном статусе было отклонено и я попыталась узнать причину, все, что мне ответили: полученная новая информация, касающаяся его прошлого, делает его неподходящим для гражданства. И посоветовали больше в эту ситуацию не втягиваться. Не знаю, что они имели в виду под «втягиваться», поскольку я уже замужем за этим мужчиной. Я каждый день его посещаю в этом жутком месте заключения, куда его вернули после выписки из больницы. Бригада его врачей решила, что депрессия полностью вылечена в результате правильного медикаментозного лечения, хотя я-то знаю, что лекарства к этому никакого отношения не имели: он от них впал в такое заторможенное состояние, что и в дневное время его клонило в сон. А вот что имело отношение: у него появилась надежда, мечта о жизни, свободной от Профессора и его «ребят», и от больницы, и от места заключения, и от страха, в котором он жил все эти годы. Я не полностью уверена, что настучал на него именно сам Профессор, но сильно сомневаюсь, что кто-то из его подручных пошел бы на это без разрешения шефа.

Когда я Аммару сказала, что все-таки донес на него, скорее всего, Профессор, он ответил: нет, это не может быть он, он не предатель.

— Ты так хорошо знаешь своего Профессора?

— Я его знаю.

— Но насколько хорошо?

Бесполезно. После того как он, по его выражению, «порвал» с Профессором, он больше мне не позволял развивать тему моих подозрений по поводу профессора. Какая разница, сказал он, кто на меня донес, ведь теперь уже ничего не изменишь. Держать его в заключении будут до дня депортации, которая откладывается по каким-то хитрым и недоступным нам мотивам, и хотя наш адвокат эти мотивы нам объяснял, всякий раз, когда депортация откладывается, мы готовы были поверить, что с него все обвинения будут сняты, он получит временное право на жительство и будет освобожден. Но каждая отсрочка просто приводила к увеличению срока заключения, и хоть Аммар и говорит, что депортация лучше, чем тюрьма, я продолжаю надеяться на хэппи-энд. Чтобы не потерять бодрость духа, я написала несколько вариантов нашей будущей совместной жизни. Вот один из них.

Спустя несколько лет

После получения Аммаром грин-карты нам пришлось выдерживать еще одну юридическую баталию, на этот раз в связи с его разводом с Фатимой. Это заняло больше времени, чем обычно, так как Аммар настаивал на том, чтобы размер алиментов был выше, чем требовалось по закону и чем затребовала Фатима. Когда все наконец закончилось, Аммар сказал, что хочет устроить настоящую свадьбу, и я согласилась, поэтому закупила салаты в русском магазине — оливье, свекольный и все остальные, — и мы устроили в нашей гостиной «свадебный ужин», на который пригласили несколько его дружков со стройки, подрядчика Тома, моих родителей и кое-кого из моих друзей обоего пола. Мы продолжаем жить в моем доме, несмотря на воспоминания, плохие и хорошие, обо всем, что с ним связано. У нас две дочери-близняшки, Нехора и Мория, десяти месяцев отроду, которые уже, как считает Аммар, настоящие хасмонейские принцессы. Я посмеиваюсь, когда он говорит, что они похожи на Хасмонеев, так как выглядят они как любые десятимесячные младенцы, и еще потому, что никто не знает, как выглядели Хасмоней, не считая картинок в энциклопедиях и книгах по истории, которые мы облазили в поисках информации о наших общих предках. Этим картинам, написанным художниками, жившими через много веков после их природы, вряд ли можно доверять, и поэтому правильной считать, что неизвестно, как на самом деле выглядели Иехуда, Симон или Иоанн Гиркан. А что касается женщин из рода Хасмонеев, кроме царицы

Шломцион, она же Александра Саломея, о них вообще никаких сведений не сохранилось, поэтому даже об их именах можно только гадать.

В прошлом году я заказала бронзовую копию аммаровского большого пальца ноги, и с тех пор он покоится на верхней полке нашего книжного шкафа в прозрачной коробке с небольшой пластинкой, на которой написано «Палец Иехуды». Мои «Хасмонейские хроники» были опубликованы в день нашего бракосочетания; продолжение, действие которого происходит в XII веке до нашей эры, продвигается медленно, так как забота о близнецах не оставляет мне достаточно свободного времени. Профессор, он же Тайный Руководитель Аммара, исчез, и мы уже не живем в страхе перед его «ребятами», охотящимися за Аммаром, чтобы отомстить ему за то, что он отказался меня убить. У Тома теперь заказов больше, чем он может выполнить, и последнее, что мы о нем слышали, это то, что он задействован в строительстве двадцатидвухэтажного здания в Манхэттене... Мы за него рады. Что касается Аммара, я настояла на том, чтобы он пока отложил свою малярную деятельность и вернулся к ихтиологии. Он свою степень получил так давно, что ему надо записаться на дополнительные курсы, чтобы дойти до современного уровня. Я гляжу на своего мужа, сидящего за письменным столом над своими пособиями, и вспоминаю взъерошенного маляра, возникающего из-за угла со шпателем в одной руке и кистью в другой. Он поднимает глаза от своих учебников, улыбается мне и вынимает из верхнего ящика конверт.

— Иди сюда, царица евреев, — говорит он и протягивает мне отпечатанную записку, полученную им от «доброжелателя». Указывает на слова «забыт, но не прощен».

— Старая вражда не умирает, ведь так? — говорю я. — Мстительность — слишком сильное чувство, чтобы от него отказаться.

— Если мы на это сильное чувство плюнули, вообще-то и им бы давно пора.

Он кладет записку обратно в конверт, а конверт — в ящик.

— Забыт, но не прощен, — повторяет он задумчиво. — Эй, ребята, вы чего? Столько времени прошло. Миссия-то выполнена.

Он закрывает ящик, толкнув его, как мне кажется, сильнее, чем необходимо.

Вот такой я представляю себе нашу будущую жизнь, пока мой муж отбывает свой срок заключения. Мечты, как всегда, опережают реальность.

Эпилог

Аммар

Теперь, когда все в прошлом — не только сама драка, но и все остальное, — я думаю, что было бы, если бы я в тот вечер просто повернулся и ушел, предоставив ее самой себе? Что бы ни случилось с ней в тот вечер, это было бы ее дело, не мое. Но я сам сделал это своим делом, и вот я здесь. Стоило оно того? Ответ всегда один и тот же — нет. Моего времени оно не стоило. Я имею в виду не какой-то краткий и незначительный промежуток времени. Я имею в виду содержание под стражей, без солнечного света, без свободы идти куда хочешь, в любое время суток.

Свобода. Это не просто слово. «Содержание под стражей» — это стены, охрана, это когда тебе указывают, когда надо сесть, встать, ходить. Единственная разница между стенами и палачом в том, что стены имеют глаза и уши, а палачи нет. В палачах нет ничего человеческого, в стенах есть. В худшем смысле этого понятия. Тем не менее я учусь любить стены моей камеры. Кроме стен, в ней еще есть стол, стул и кровать. Я сижу на стуле. Я гляжу на стены. Я стал настоящим мастером дзена: могу глядеть на стены весь день. Когда охранник выкрикивает «обед!» и отпирает мою камеру и я вижу целую шеренгу бедолаг, марширующих в место кормежки, я не двигаюсь с места. Я могу обойтись без обеда. Мне достаточно есть раз в день. Мне достаточно спать три часа в сутки. Я хочу понять, почему я здесь. Мне кажется, что у моей стены есть ответы на все вопросы. Чем дольше я на нее смотрю, тем лучше понимаю то, что мне не да-

но было понять прежде, когда я слушался Профессора и жил ради мести. Теперь у меня остался только один друг, который мне больше чем друг, и, когда меня депортируют, я этого больше-чем-друга потеряю. Я знаю это, и тем не менее мечтаю о депортации, потому что небо лучше, чем стена. Я смотрю на свою стену целый день и говорю себе, что мне больше ничего не надо, потому что здесь не на что больше смотреть, кроме этой стены. Меня пока не известили о дате депортации, но мой адвокат говорит, что ждать осталось недолго. Я говорю ему, что мне все равно, в какую страну меня вышлют, главное, чтобы там было небо. У меня одна цель в жизни, одна миссия, одна задача: увидеть небо. Мой адвокат кивает, смеется, недоверчиво качает головой. «Вы мне только дату назовите, — спокойно говорю я. — Больше мне ничего не надо». На это он снова улыбается. Он всего-навсего адвокат. Я не настолько глуп, чтобы ожидать от него понимания.

Оглавление

Пролог	3
Двумя годами ранее	5
Глава 1	21
Глава 2	42
Глава 3	73
Глава 4	98
Глава 5	128
Глава 6	149
Глава 7	192
Глава 8	229
Глава 9	252
Глава 10	273
Спустя несколько лет	312
Эпилог	315

